

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал

Том 32
2017

Институт Восточно-Славянской цивилизации
г. Харьков

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем:
e-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>
тел./факс +38 (057) 700-40-25

Леонид Мачулин

«Действие должно быть бесплатным...»

Скромно отметив выход 30-го номера, редакция журнала энергично устремилась в неизведанное будущее. К юбилею принято подводить итоги, что мы не успели сделать, и строить планы, которыми мы с вами ниже и поделимся.

Прежде всего, представляем подборку поэзии. Она полностью состоит из работ молодых харьковчан, которых в 2016 году приняли в Национальный Союз писателей Украины. Молодые лица, на наш вкус, достойные продолжатели славных поэтических традиций отечественной литературы. Вот Ася Шевцова:

*Постзакатное небо оттенка опала
наклонилось устало над киевской трассой.
Мы за тысячу жизней его покупали,
чтобы позже уснуть на казённых матрасах.*

Разве не слышен бунтарский шаг? Да и как не проникнуться протестом, если вокруг царит хаос:

*Ампутація душі та синдрому фантомного болю.
Легітимність заліза і фізика списаних тіл.
Переплуталось все — конспірація, явки, паролі,
волонтерські підгони, вінок на могильній плиті...*

Молодежная поэзия – это не только подходы к попытке решения «вечных» вопросов, как у Светланы Рынкевич:

*Боятися жити, страшитися смерті.
Написане — поспіхом знову затерти.*

*Зітерти до дірки рядок недолугий.
І, зціпивши зуби, почати удруге...*

это еще и лирика, например, как у Анастасии Перевозник:

*Моя любов
викидається на берег —
так роблять великі кити.
Найчастіше їх вже не врятувати.*

*Моїй любові
тісно в моїм тілі,
вона вихлюпується назовні
сльозою і словом...*

Но – достаточно о поэзии, её нужно читать, а не пересказывать. Тем более, что проза в номере достаточно интересна. Накануне святого праздника Пасхи уместно появление рассказа «Великдень» Виктора Тимченко. С его поэзией мы уже знакомили читателей в нескольких номерах. Проза В. Тимченко, как и стихи, эмоциональна, с легкой грустью — по ушедшему детству, молодости, жене, по тем временам, о которых уже мало кто знает, и, что еще печальнее – вряд ли будут они (те времена) контекстом для современных и будущих прозаиков...

До последнего времени редакция не обращалась к жанру фантастики. Может быть, потому что её и так много вокруг нас — от приборов, применение которых в быту еще 10-20 лет назад казалось фантастикой, до событий в общественной жизни, словно срежиссированных из неопубликованного продолжения романа Герберта Уэлса «Война миров»...

Тем не менее, фантазируя, человек мечтает о будущем. И раскрашивая разными цветами это будущее, иронизирует над тем, что хочет оставить, как Валерий Румянцев в рассказе «Большое искусство», или показывает его холодно-прагматичным, словно предупреждая о последствиях, как Сергей Яковлев в рассказе «Искренность» .

Игорь Павлюк в философском романе «Выращивание алмазов» идёт дальше. Или выше? Рассуждая на тему «Почему одни рождаются гениями, а другие преступниками», он вводит в сюжет таких героев как Лоа (Бог), Время, Случай, Судьба, Пространство ... Управляя человечеством посредством Компьютерного Центра, Лоа рискует загубить собственное детище. А мы, здесь, на Земле, порою удивляемся: почему наши молитвы не доходят до Бога? Да потому что...

Отдел «Литературоведение» и его ведущий Игорь Михайлин предлагает поспорить о журналистике, которая, по его мнению, выполняет одновременно функции мудреца и клоуна при дворе, задуматься о коммуникативном смысле свободы в изложении Сёрена Кьеркегора, и принять понятие «мораль» в изложении Поля-Луи Курье: «...мораль абсолютная, вечная, общечеловеческая; нет буржуазной и пролетарской морали, нет французской или китайской морали. Есть просто МОРАЛЬ».

Четырнадцать авторов, девять городов, шесть подборок молодёжной поэзии, семь рассказов, философский роман и портфель литературоведа — и всё это в 32 номере литературно-художественного журнала «Славянин».

Приятного чтения и до встречи в 33-м номере!

Ася ШЕВЦОВА

«Сердце — не просто мышца...»

* * *

Талантище, Богом даденный,
Какие твои грехи?
Ты йодом замажешь ссадины —
И будешь писать стихи.

Когда в тишине и темени
Четвёртые петухи
Поют, как клюют по темени, —
Ты будешь писать стихи.

В трезвом уме и здравии,
Больной со своим «апчхи»,
Плевав на людские правила,
Ты будешь писать стихи.

В то время, как где-то в Азии
Разгул четырёх стихий,
Давая разгул фантазии,
Ты будешь писать стихи.

Когда поуходят близкие,
Застенчивы и тихи,
Прощаясь с тобой записками,
Ты будешь писать стихи.

Когда от любимой мебели
Останется горсть трухи,
Про всё, чего так и не было,
Ты будешь писать стихи.

* * *

Тихо, как будто мышка,
Люба подкралась сзади.
Дышит курносый носом,
Кажется очень хрупкой.
Сердце – не просто мышца,
Сотни ударов за день
Беспрекословно сносит.
Так говорила Любка.

Вере темно и страшно.
Смотрит на мир сквозь щёлку.
Стоит толкнуть немного,
Чтобы открылась дверка.
«Вот вам кураж вчерашний,
Не убивайте только!»
Людам бросаясь в ноги,
Слёзно просила Верка.

Что до вселенской стройки,
Там безнадежно дело.
Надя растворы месит –
Дыры в кирпичной кладке.
Мальчик в больничной койке
Знает, что жить – неделю.
Спросит: «А можно месяц?»
«Можно!» – ответит Надька.

Щупай рукой упруго
Долгий-предолгий ящик:
Нет ли письма в конверте?
Поздно. Уже светает.
Пишут тебе подруги:
Верка – вперёд потащит,
Надька – сильнее смерти,
Любка – вообще святая.

* * *

Чувствуя мир, и даже мигрень его,
которая станет сильнее поближе к вечеру,
банным листом прилипнешь к окну холодному
и открываешь свой город как будто заново.

Кажется всё однотонно-сиреневым,
когда отключают нам свет весь веером.
Стены во тьме белеют под стать исподнему,
так что тушите свет и опускайте занавес!

Всё как в святые голодные девяностые:
мы жмёмся друг к другу, радуясь даже малому.
Нас не пугают горе, невзгоды, бедствия,
пожар, наводнение, засуха, вирус ли.

Разнеся мироздание вплоть до остова,
греемся теми дровами, что наломали мы,
как-то не очень думая о последствиях.
Мы ведь в такой обстановке росли — и выросли!

Ведь хорошо: имеется даже ванная,
в ванной имеется даже вода горячая.
Разве что громко позвякивать стеклотарою
с нашей гордыней мы ещё не приучены.

Это не жизнь, а гонка на выживание,
где побеждают сильные, злые, зрячие.
Так и бывает: растили как пролетария,
а получился внезапно поэт и мученик.

Вот и звени, будто струна натянутый,
чувствуя остро и радость, и горе времени.
Нам запрещают звёзды, тем паче — алые.
Наш гордый профиль не будет в граните высечен.

Вот и полазь, как раньше, в задворках памяти,
там, где влюблённые пары и старики с мигренями.
И, осознав, что жизнь никого не балует,
пишешь о том же, только уже в двухтысячных.

* * *

Не успехами — так успешками
будем хвастаться всем с усмешками.
В шрамах пояс весь плечевой.
Раз не собственный дом — так сталинки,
не сапожки из замши — валенки.
Это лучше, чем ничего.

Это лучше, чем одиночество
тех, кому умирать не хочется
ни за принципы, ни за Че.
Это лучше святого, грешного
и приевшейся каши гречневой,
ведь по сути, они зачем?

Достижения наши скромные —
это разве что съесть скоромного
в заключительный день поста.
А на большее разве хватит сил?
В ослепительно-белой святости
распишись и печать поставь,

будто след на снегу от обуви.
Разве ты никогда не пробовал
за собою сжигать мосты?
Чаша горя, до дна испитая,
заставляла тебя испытывать
за страну свою жгучий стыд.

Потому — откажись от имени
и в прихожей одежду зимнюю

как тяжёлый сними доспех.
Загадай: будет вечным лето пусть,
будет длинной-предлинной летопись,
где напишут про твой успех.

* * *

Вдыхать ноздрями запах первых лип,
тех самых, до которых не дорос.
Как липовый листок к тебе прилип
годами тебя мучивший вопрос:
ну сколько на душе ножом скрести
короткое словцо одно — «прости»?

Нести с собой багаж своих грехов,
разрушенный на четверть Колизей,
два тома нечитанных стихов,
полученных в подарок от друзей.
Взгляд, жаждущий тепла, к словам приник,
попав случайно на страницы книг.

И, будучи счастливым, не считать
воронами летящих лет и зим.
Тебе и зеркала-то не чета,
поскольку ты вполне в них отразим.
И мысль пронзает острая, как гвоздь,
что жизнь твоя прошла уже — насквозь.

Пока идёт цветочная пурга,
гулять по небу снова допоздна
и не бояться, будут ли ругать.
Пускай немного поздно — да познать
все тайны мира — сразу, до основ,
значения коротких летних снов.

* * *

На личном фронте идут бои.
Любовь опасна для молодых.
Почувствуй резкий удар под дых —
тебя убили. Причём, свои.

А ты кричишь им: «За что? За что?»
Они с насмешкой тебе в ответ:
«Нам спать мешает твой яркий свет.
Ты лучше окна плотней зашторь.

А то заметят в тылу врага
святого слова стеклянный блеск —
и нас повалят, как валят лес,
и жизнь нам станет не курага.»

Ты рухнешь оземь, как будто ты —
сухие стебли свободных трав,
терпеть не в силах подобных травм.
Они — уходят: светлы, чисты.

Проходит время — а ты жива,
покинешь город, который жмёт,
с трудом, но вспомнишь, как пахнет мёд,
и сушку с чаем пойдёшь жевать.

И дождь всё так же идёт в четверг,
и горек шёпот степной травы.
А ты лежишь всё — лицом наверх.
А ты на небо идёшь на вы.

* * *

Я прошу растворимую грусть
в придорожном ларьке продавца.
«Если быстро растёшь, будто груздь,
в кузов лезь и езжай до конца.

Значит быстро, не морщась, испей
эту горькую жидкость до дна,
становясь всё грубей и грубей
от дорожного полотна.

И у бога в лице продавца
я прошу и прошу одного:
в этом длинном пути сквозь тоску
чтоб ни камешка мне под ногой,
чтобы легче шагать по песку.

А потом я, конечно, упрусь,
буду всё до конца отрицать.
Я прошу: раствори мою грусть.
Раствори мою грусть до конца.

* * *

Постзакатное небо оттенка опала
наклонилось устало над киевской трассой.
Мы за тысячу жизней его покупали,
чтобы позже уснуть на казённых матрасах.

Постсоветского китча отсутствие стиля
переходит на мебель, одежду, посуду.
Мы ещё никого ни за что не простили,
чтобы взять и так просто убраться отсюда.

Пост-издание книги заезженных истин,
от которых так резко несёт скипидаром,
нам подарит наш бог, и он так бескорыстен,
что готов нам отдать весь тираж даже даром.

Посттравматика шока от сложных условий,
тех, в которых нам жить за неделей неделя.
Но на что не сподобится слабое слово —
то получится сразу у сильного дела.

Постмодерная юность смеётся над нами.
Её путь белоснежными нитками вышит.
Про успехи солдат нам вещает динамик,
только сами солдаты его не услышат.

Поствоенное время наступит нескоро.
Сколько новых истерик нам небо закатит?
Кто-то, сидя в автобусе, тронется с горя.
Мы останемся, молча любуясь закатом.

* * *

Если петь осанну — значит только хором.
Значит, даже в школах возводить бойницы.
Всюду ощущаем стойкий запах хлора,
словно в коридорах близкой психбольницы.

Осень поперхнётся новым эпизодом,
нежности звериной повторится приступ.
Так что до начала следующей оды
выживут в итоге лучшие хористы.

Ну чего ты ноешь? Ведь рубец-то зажил.
Ты на всё, что видишь, смотришь с укоризной.
Нету перспективы в городском пейзаже.
Нету перспективы в нашей глупой жизни.

Так тогда откуда мы всё время слышим
нам самим во славу радостные гимны?
Всё, что мы имеем, нам даётся свыше,
В комнатухе тесной холод полужимний.

Ведь у нас ни пуха, ни пера — да к чёрту!
Всё что мы имеем — это пара коек.
Всё, что нам осталось — лишь писать да чёркать
грустные баллады о своём покое.

Сколько слов хвалебных в воздухе повисло,
как на стенах дома — виноград неспелый.
И неважно, что там будет в наших мыслях.
Песни мы напишем. Только бы их спели.

Віктор ТИМЧЕНКО

ВЕЛИКДЕНЬ

«Кляті реклами! Щоб вам заціпило! Прости, Господи, що скажеш!» — Дмитро Гнатович перехрестився. Останнім часом це стало у нього звичкою. Отак-от лайнеться подумки чи вголос і — наче сам від себе відхрептується...

Ганнуся, царство їй небесне, усе підряд дивилася й слухала. Та ще, було, як почує, що хтось там душу ладен віддати за бідолашну Україну, печене й варене кидає:

— Ну, чого ти сердишся, Дмитрику? Вони ж наче не дурні. Може ж, воно розгодиниться якимось.

Розгодинилося, кат їх забори! Уже й сама п'ятий рік під хрестом, а вони, як розпиналися, так і розпинаються на кожному перехресті. А Україна... Їй, щоправда, не звикати. Скільки віків мордували і чужі, й свої.

Раніше Дмитро Гнатович підсідав до телевізора лише на Різдво та на Великдень. Коли ото службу просто з храму показують. Та як лишився сам, таким холодом, такою пусткою війнуло, ніби душу з хати вийняли. От і не вгаває «Берізка» з ранку до вечора, і ніби то вона, Ганнуся, тутечко, близенько, по-хатньому порається.

Ще до того, як побралися, Дмитро (бо в голову вже казна-що полізло) одного вечора не втерпів, присікався:

— Ти щонеділі у Вільшану бігаєш. На базар, чи що?

— А ти звідки знаєш?

— Сусідка ваша Халайдиха матері моїй розказала.

— Он воно що! — Голос затремтів чи від обурення, чи від переляку, не добереш. — Ні, Дмитрику, не на базар.

— То куди ж? Чи, може, до когось?

— До Бога, Дмитре. У церкву ходжу.

— З глузду з'їхала!

Спробував сам себе розсердити, не вийшло, бо, правду кажучи, від серця на хвильку відлягло. Але замість колючки підозри вгородилися пазурі страху.

— Ти ж бібліотекарка! Комсомолка! Та як довідаються, знаєш, що буде?

— Знаю.... Добре знаю, Дмитрику, — відповіла втомлено і, що вже зовсім спантеличило Дмитра, спокійнісінько, ніби тільки-тільки повернулася звідти, з Вільшанської церкви. Як виявилось згодом, про Ганнусине богомілля всі довідалися давно, але удавали, що ніхто нічого не знає. Ніяка падлюка (а їх же було не одне й не двоє) не донесла. Дмитро не сказав їй більше ні словечка. Після одруження сам проводжав до Вільшани. В церкву не заходив, відсиджувався у скверику. Не заходив саме тому, що хотілося зайти, часом нестерпно. Він же не Ганнуса. Таке йому не подарують. Та й віруючий із нього, як із нічого щось.

За всі свої вісімдесят п'ять років Дмитро Гнатович побував у храмі всього-на-всього один раз, як хрестили. Бабуся розповіли. Церкву, що майже сто років хрестом зі своєї маківки благословляла їхнє село, розібрали на цеглу, бо то був тисяча дев'ятсот тридцятий. Вільшанська якимось чудом уціліла. П'ять кілометрів. Усю дорогу — «янгелочок», не дитина. А в храмі розрепетувався, аж у вухах ляцало. Батюшка наполохався. Ще б пак! Лементує дитя, ніби його живцем ріжуть. Хутенько охрестив, поблагословив с'як-так і, певне, зітхнув полегшено, що благополучно спекався.

...Рекламами таки заціпило. От якби назавжди. Де там! Та реклами що? Півбіді. Бува, таку гидоту показують — не відплюєшся. Слава Богу, нарешті! Спочатку, як завжди, Володимирський храм, потім Успенський. І все б гаразд, коли б воно по-Божому, по-доброму. А то, бач, і святійшиства один на одного косують і гріха не бояться. Бог їм суддя. Он кадила дзеленчать. Он уже чути: «Христос воскрес!», і увесь храм одним подихом: «Воістину воскрес!» Вчулося, ніби і її голос там, Ганнусин.

Кольнуло в грудях, і неначе хтось по голові його погладив, як маленького. Бабуся. Вони завжди на Великдень згадуються. Скільки це вже, як їх немає? Господи, півсторіччя! А наче ж учора ота перша крашаночка. Йому тоді весь час їсти хотілося, дуже хотілося.

Серед ночі прокидався, плакав. А вранці того дня бабуся дали йому повнісіньку чашку молока. Тепле, солодке.

— Наша Зорька бичка в снінці знайшла. Чудний такий! Увесь чорненький, а на лобикі зірочка біла. Випив? От і добре. Трошки згодом я ще наллю. А це ось тобі крашаночка. Не бійся, не розіб'ється. Її дідусь зробив.

— А чого ви плачете?

— То здалося тобі. Це я так... Очі запорошила.

Бабуся казали, що то в тридцять третьому було. Хрестів на кладовищі, позначених тим роком, іще й зараз не злічити.

А про сорок другий Дмитро і сам би розповів сусідській дівторі, коли б слухали. Всю зиму і весну трималися на смердючих макоржениках із мерзлої картоплі. Що там кладовище! В селі глухо. Віконні рами хрестами здавалися. Ні собачого перегавку, ні півнячого перегуку — німці восени вистріляли.

Таких іще не бачили. У чорних шинелях. Здоровенні, білобрисі. Розгулювали по дворах і хатах, гелгочучи та сміючись, ніби там ні єдиної живої душі. Ковзне по тобі поглядом і не зачепиться. Лантух пшениці, зв'язаного кабанця у фуру, Зорьку налігачем до фури, та ще й регочуть. Мати, було, кинулася благати, бабуся зупинили: «Не смій! Хіба не бачиш?»

Про хліб він старався не згадувати, бо тоді макорженики смерділи зовсім уже нестерпно. Та якось попрокидалися вранці — на столі манюнька, темненька, але ж пасочка, і крашанка. І як тільки бабуся втерпіли, вберегли ту жменьку борошна і те яечко?

...У суботу перед Великоднем, коли він уже овдовів, сусідка забігла. Він її ще з пелюшок знав. Шмаркاته таке, неоконирне дівчисько було. А зараз — молодиця-грим. І подивитися є на що. А вже хазяйка!.. Принесла миску холодцю, пірижків, чвертку домашньої слив'янки, дві крашанки, паску.

— Свячену вранці занесу після церкви.

— І чого ти клопочешся, Маню? Я й сам іще впораюсь.

— Тітка Ганна наказували. А їх, Дмитре Гнатовичу, ви ж самі знаєте, усі слухалися.

Так звідтоді й пішло щороку.

...«Берізка» тихенько гомоніла й гомоніла різними голосами. Дмитро Гнатович слухав і слухав. Ні, не ті голоси. Хату свою слухав. Тут усе її. І подих останній тут. Налив дві чарки слив'янки, відрізав дві скибочки паски, обчистив дві крашанки. Підняв чарку, підождав хвильку.

— Воїстину воскрес! — відповів тій болючій хвильці. Поцокався. Випив.

— Із Великоднем, Ганнусю!

Анастасія ПЕРЕВОЗНИК

«Моя любов викидається на берег...»

* * *

Напевно, я – акваріум думок...
На дні – пісок, над ним зелений мох,
В воді прозорій риби золоті
Солодкі мрії носять на хвості.

Веселий Бог бере до рук сачок
І риб нових пускає на пісок,
Щоб поміж стінок із тонкого скла –
То та, то інша часом пропливла.

І вже в мені мільйони різних риб
Шукають власний ритм, пірнають вглиб,
Так крутяться у мене в голові,
Аж поки всі потонуть, неживі.

І в тиші, у сповільненій воді
З піску вилазять равлики надій.

* * *

Це твій наркоз – рядки, слова і рими.
У круговерті продуктових черг,
дірок зашитих, придбаних речей,
поміж новими бідами й старими
без нього душу часом обпече.

Це як молитва раптом серед ночі,
коли зірки зриваються з орбіт
до рук твоїх в серпанку голубім...
І мариш наяву, і щось шепочеш,
і боляче, і радісно тобі.

* * *

Ти, певно, не знаєш,
що коли я засинаю,
то перетворююся на рибу
і пірнаю в тебе, як в найглибше море;
я стаю чайкою
і літаю над білою піною і синьою водою,
де пливе срібна риба;
я перекидаюся на вітер,
що тримає крила швидкої чайки
і здіймає хвилі над щасливою рибою.

Я певно, не знаю,
що коли ти засинаєш,
то стаєш морем –
повітрям і домом для наляканої риби;
ти обертаєшся на рибальський човен
і шукаєш рибу, одну-єдину на всі моря;
ти перетворюєшся на сітку,
яка чатує на неї в глибині води
і ловиш мене в свої хиткі обійми,
щоб підняти догори,
де хвилі,
де вітер,
щоб прокинутися разом зі мною
від крику чайки.

Wild, wild East

Ми – діти дев'яностих –
зачаровано дивилися американське кіно
про Дикий Захід,
про мужніх ковбоїв,
і мріяли вбратися у шкіру і замшу,
мати власного коня і власний кольт.
Але до Техасу було так далеко...

Тепер кожен з тих невдалих ковбоїв
має шанс побувати на власному Дикому Сході
у таких же рівнинних степах.
Дике поле – чим тобі не романтика?
Тут можна поїздити на залізних конях
і навіть отримати власний автомат.
Так, мої хлопчики,
Схід – це не завжди рахат-лукум
і танці напівоголених жінок.
Українська екзотика – ростові окопи
та нічні обстріли по коліно в багнюці.

А в цей час твій Захід – дикий, первісний, –
їжачиться карпатськими горами,
тече джерелами,
смереково пнеться до неба...
Лише тепер ми вчимося мріяти про власне.

Це дика країна від краю до краю.
Ми – дикуни з гарячим серцем,
що б'ються на щирій землі
під відверто пекучим сонцем,
і коли ми помиратимемо
на власному Дикому Сході,
за нами заголосять трембіти
з нашого Дикого, Дикого Заходу.

* * *

Постмодерністи кажуть,
що світ – це текст,
що ми в ньому – літери,
що наш сенс – це зайняти правильне місце в слові.
Моє ім'я починається з А,
і це моя карма:
гостроноса,
схожа на готичну церкву буква,
що пнеться до неба,

але міцно стоїть на двох ніжках,
така ж прямолінійна,
впевнена,
самовдоволена.
Твоє ім'я починається з О,
кругленької, повної,
гармонійної.
Це літера-сансара,
літера-сонце,
літера – моє рятівне коло.
Постмодерністи навчають мене тому,
що не варто колоти голкою своєї А,
ніжність твоєї О,
що наша доля – це стояти поруч,
як прадавній дифтонг.
І все, що я розумію, –
лише те, що ці Альфа та Омега
розпочинають і завершують
наш особистий світ,
де жодна теорія
не в змозі навчити нас кохати.

* * *

Я винувата, винувата,
що стелить килим падолист,
що ти схотів поцілувати
ту жінку, як мене колись,
що в поцілунку тім – отрута,
що сон не збувся наяву,
що досі не зумів забути
ані очей моїх, ні вуст...

* * *

Не обіцяй загоєних прощань.
Не обіцяй блаженного покою.
Бо осінь вже торкається плеча
холодним вітром, зливою нічною.

Мигтить мені перед очима сад,
в бузковій піні марево цілунків.
Та лиш оцей шалений листопад
мені слугує ліками і трунком.
Не обіцяй нічого, не проси
і так нервово не закусуй губи.
Калейдоскоп зі слів і голосів
мене зчарує і водночас згубить...

ЛИСТ

...А як там у тебе? Чи вітер, чи дощ,
чи сонячний ранок, чи роси вечірні?
Учора приходив їжак на ночівлю,
і місяць світив на доріжку його.
Я вчуся мовчати – тут зайві слова,
бо хочеться світ увібрати на дотик,
тут медом бурштиновим повняться соти,
і дух різнотрав'я, мов хвиля, сплива.
Тут вітер хвилює поля золоті,
і місяць на ріжках колише дрімоту.
Лягає широка горіхова тінь,
мов крила, розкриті уже для польоту.
В саду осипається «білий налив»,
і запах пливе у повітрі серпневий.
З-під хмар обважнілих – ні клаптика неба,
і тоскно траві од незбувшихся злив...

* * *

Моя любов
викидається на берег –
так роблять великі кити.
Найчастіше їх вже не врятувати.
Моїй любові
тісно в моїм тілі,
вона вихлюпується назовні
сльозою і словом...

Моя любов
виходить з піни морської,
народжується на світанку,
ніби Венера,
і помирає, коли заходить сонце,
немов самотній кит,
що викинувся на берег.

* * *

І знову навколо лиш тиша і стіни.
Не спи і пригадуй події колишні,
і грузни у споминах, як в павутині,
гортай в підсвідомості місяці й тижні.

Бо тільки слова, нерухомі і темні,
до тебе приходять, єдині коханці...
Ти їх розкладаєш, ці карти даремні,
й ворожиш на їхньому вічному танці.

Забула, як боляче сни із корінням
із пам'яті, як із землі, виривати?
Це самопожертва найвищого рівня,
найкращий різновид безкровної страти.

Аж душу виймають ці звуки і барви,
ці спогади дивні, цей біль і тривога.
Та кажуть, душі у жінок не буває...
Лиш тиша і стіни. Навколо нікого.

* * *

...Якщо мені судилася тюрма,
то "обшир мій чотири на чотири"
я попрошу в однім конкретнім місці:
одна із чотирьох просторих камер
в твоєму серці лагіднім і ріднім
нехай мене приймає на довічне.
Якщо мені судилася сума,
хай в ній лежить твій сум, щоб я носила

Його завжди за тебе, мій коханий.
Бо кажуть "за плечима не носити"
лише про розум, а про сум пекельний
ніхто ніколи не сказав ні слова.

Якщо мені судилися слова
(а їх Суддя залишить небагато),
я їх зречуся всіх, окрім одного,
і на вустах носитиму єдине
твое ім'я, як вирок і молитву,
любов і смерть, прощення і причастя.

Суди мене. Я суду не боюся.

* * *

Лиш прийди, лиш прийди – я тебе упізнаю.
Я напнута струна, лиш прийди – і торкнись...
Ця кімната – світи без кінця і без краю.
Лиш прийди, лиш прийди – я тебе упізнаю,
бо донині кохаю твій голос сумний.

Я нікому, крім тебе, любов не довірю –
її вогник, мов свічка, нечутно тремтить.
На межі, де людське переборює звіра,
я нікому, крім тебе, любов не довірю,
бо прийняти повинен її тільки ти.

Не вдивляйся в самотні, засльозені очі –
що побачиш для себе нового ти в них?
Мої руки тонкі, мої вірші пророчі.
Не вдивляйся в самотні, засльозені очі –
лиш прийди, лиш прийди, лиш прийди – і торкнись...

* * *

Десь наше щастя – в шкаралущі днів,
поміж трамвайних ліній та базарів,
в багаття життєдайному вогні,
в далекім сьйві чарівних Стожарів.
Десь наше щастя – рештки молока
на денці кружки, зранку недопиті,
липнева прохолода нетривка,
осягнення чогось святого в світі.
Коли буденність не дає спочить,
коли гризуть неспокій і тривога,
десь наше щастя – сонце і бурштин,
а ми – піщинки на долонях Бога.

* * *

Я мовчу, бо не знаю початку слів.
Я босоніж на мокрій стою землі,
я із неї росту крізь мовчання й сни
до пісень і до віршів, таких ясних.
Я тебе збережу від війни і ран,
я тебе проведу крізь гіркий туман,
я вітрів не боюся, не вмру в огні,
я не квітка іще, та цвісти мені.
Я корінням сягаю підземних вод,
я пізнала всю тяжкість земних скорбот.
Я босоніж на мокрій стою землі
і мовчу, бо не знаю початку слів...

* * *

Не рвати б, де тонко, і ран не солити,
дверима б не грюкати, крил не рубати...
Так важко даються високі політи,
напевно, тому, що гріхів забагато.

З одної краплини не витече моря,
а з грішника важко зробити святого.
Прядеться на кожного ниточка в Мойри
і рветься, де тонко...

Олександр ЛИСАК

«Готівкою дзвенить війна в кишені...»

* * *

Життя – це сніг, іде собі й іде,
і ти вже звик примружувати очі.
Пихата Муза більш тебе не хоче,
не вириває серця із грудей.

Життя – це біль, бо кожен день – війна,
де п'єш до дна «гірку» капітуляцій,
а заживає, наче на собаці...
Але ж пусте, от тільки ти сумна.

Життя – це крок від мрії до мети
крізь натовп, проти течії, до неба...
Ходімо, люба, не лякайся – треба
цей збайдужілий світ перемогти.

* * *

... Тож вростатиму й далі,
як ніготь, у м'ясо доби.
Буду йти навпростець,
як у нирку непрохане шило.
Ну, а ти хоч сказись,
відкохай, відстраждай, відлюби –
для земних подушок
я свої не обпатраю крила.

Хай свитина душі
розповзлась, як бацила війни,

а мій янгол добра
йде збирати недопалки тиші –
на своєму стою
і не лізу у щирі пани,
до моїх україн
не чіпляй своїх праг та парижів.

Б'ю об землю біду,
не ведусь на «пророчі» слова,
бо життя перспектив
має безліч – не згаяти б часу...
І, можливо, це дурість,
а вірю-таки у дива,
тож вростатиму й далі
в добу, де палають донбаси...

* * *

...І небо не впало, коли святкували поразку.
І сонце не згасло, коли ти звивав до ганьби.
Розіп'ято волю. Згвалтовано дівчинку-казку,
а ти не повстав, не обурився, навіть не вбив.

Не втрутився Бог, а диявол – йому не звикати...
І вітер у вітті буденних пісень не спинив,
коли край села запалала твоя крайня хата,
але здогадайся, з чиєї це сталось вини?

І хай йому грець, але як тепер жити на світі?
Хіба молитвами загоїш Батурина душу!?
Панам не до нас, бо вони при державнім кориті
забули, чи гострі бувають народні ножі.

То ми нагадаєм. Час прийде – усім нагадаєм,
і спалену хату, і казку, і давню ганьбу.
Бо падає небо і сонце поволі згасає,
коли не повстав на одвічну святу боротьбу.

* * *

... То стиглі абрикоси – не бомблять.
Новий врожай об дах, не бійтесь, мамо...
Це завтра, кажуть, будуть визволять –
лаштуйте краще погріб кожухами.

А я по хліб і годі вже квилінь.
Ну, перестаньте... Добре, помолюся...
Майдан он «підійняв страну з колін»,
тому давайте далі без ілюзій.

Спіймають ці або застрелять ті...
Яка різниця – двічі не вмирати.
Летять додому в «цинках» молоді.
Летять по нас чиїсь дотепні «гради».

Та ми ж не малазійські літаки –
за нас ніхто, зітхнувши, не згадає...
Давайте, мамо, ваші копійки,
тут тільки на хлібину вистачає.

* * *

... Аж ось і сніг – незайманий, легкий
освячує згвалтовану Україну.
Зраділи б Лев і Юз, Харко і Кий,
спустошуючи келих чи чарчину.

А він би йшов, як зараз, в тім «колись» –
нечутно так, неквапно та відверто.
Сьогодні ти радій, втрачай, молись,
коли навкруг так холодно від смерті.

Сивіє день і клякне на очах,
бере в полон, з якого не звільнити.
Коли осколки грають у квача,
їм байдуже – жінки, старі чи діти.

Рахуй хрести, неси безсилий крик,
в розбиту склянку наливай любові.
... Аж ось і сніг. І шлях. І черевик
лишає слід на прозі вечоровій.

* * *

Ампутація душ та синдроми фантомного болю.
Легітимність заліза і фізика списаних тіл.
Переплуталось все – конспірація, явки, паролі,
волонтерські підгони, вінок на могильній плиті...

«Інтенсивність зростає» – фіксують ведучі-статисти.
«Героїчно відбили» – радіє якийсь «брехунець»...
А за фразами хтось попадає то в «200», то в «300».
Гоїть рани Луганськ та ковтає снаряди Донецьк.

Кажуть, гроші не пахнуть. Війна, кажуть, чинник прогресу.
А мені по цимбалах – де вбивство, там правди нема!
Ампутація душ. Без наркозу. Під наглядом преси.
Легітимне залізо. Ідейно добірنا пільма.

* * *

... А той, хто вірив – тиснув на гачок,
і падали чи люди, чи потвори.
Ні храму. Ні молитви. Ні свічок.
В серванті трісне склянка. Певно, горе.

А той, хто знав, – платив хмільну ціну,
не гаючи століть на теревені.
В сусідську хату ніс свою війну,
мов дикий жар у задубілій жмені.

А ти мовчав. Ти рахував тіла.
Радів паскудству ворога зухвало.
Чи радість та комусь допомогла?
Чи хоч когось від смерті врятувала!?

Але мине доба кривавих жнив,
бо день завжди чекає після ночі.
Я хочу, щоб ти жив, земляче. Жив!
Нехай Сірко тобі позичить очі.

* * *

«Вузька щілина між гардин –
ото і вся твоя держава...»
Павло Вольвач

Від помилок до істин прописних –
кривава прірва, легітимна зрада.
Майдан надій. Опудало війни.
Розірвані та спалені солдати.

Від формул неба до земних твердинь –
мільйони доль і сльози материні.
Одеса, що пройшла свою Хатинь.
Донбас, який не вірить Україні.

Від А до Я. Від «потім» до «пора» –
тривожна ніч, дитя осиротіле.
Крик півня перед зреченням Петра.
Гвіздок, забитий в розіп'яте тіло.

Та годі – часу божевільний плин
несе усіх під нетверезе «слава».
Оця вузька щілина між гардин –
ото і є, брат, вся твоя держава.

* * *

Готівкою дзвенить війна в кишені,
тріщать чуби на втіху хазяям.
А десь зроста Тарас, десь зріє Ленін,
десь рубаями мудрствує Хаям.

І кров холоне, і не йметься віри,
що бійня ця скінчиться врешті-решт.
А десь свинець виконує злий вирок,
а десь полон, неволя та арешт.

І за борги забрали крайню хату,
і все гниє з отої голови.
А десь млинцями ласують з лопати
щасливі вірнопіддані Москви.

Отак би знявся й рушив світ за очі
у пошуках захованих скарбів,
бо тут і мавка вже не залоскоче –
потрапила під обстріл, далєбі.

* * *

...І буде так – осінні небеса,
на чарці з «оковитою» – окраєць.
Пом'янемо. «Затянемо пояса».
Забути б. Та, на жаль, не забувається.

І буде дощ, і крик німий, і лють,
безсила лють і... Боже, скільки болю!
Давай свою порожню – знов наллю,
пий, голубе, а щастя не вимолюй.

І буде день – не віриш!? – мирний день.
Час, кажуть, гоїть, і життя триває.
Тулитимеш світлину до грудей,
де погляд промовляє «та жива я»...

Ще буде нам і сорому, і сліз,
а, врешті, ні – скінчились, сліз не буде.
...Була війна. Давно була. Колись.
Її, напевно, вигадали люди.

Валерий РУМЯНЦЕВ

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО

Когда Зая (так звали Зайцева со студенческих лет) протянул мне почтовый конверт, внутри которого обнаружили синие глянцевые билеты, я не смогла ему отказать. И не потому, что глянец манил блеском и обещал посещение мероприятия, о котором через несколько дней можно будет прочитать в модном журнале. И даже не потому, что, посетив это мероприятие, с гордостью можно будет сказать, что культурный градус повышен, а галочка в уме напротив графы «самообразование» будет проставлена.

А просто потому, что мужчина, протянувший билеты в театр, был мне по-человечески дорог. Как память о юности, той поре жизни, когда на сложные вопросы, кажется, существуют волшебные простые ответы. И о студенчестве, прошедшем в музыкальных закоулках под трели Моцарта и грохот октав Рахманинова. Когда мокрые ладошки, соскальзывающие с клавиатуры инструмента, можно было высушить с помощью побелки, осыпающейся в длинном коридоре, а нечаянная россыпь нотных листов на полу за пять минут до выхода на сцену была приметой, сопоставимой с чёрной кошкой, переходящей тебе дорогу.

Итак, Зая протянул мне конверт. Я сказала «да» и, условившись о времени и месте встречи, мы расстались до вечера.

Не могу сказать, что ожидание посещения театра для человека, вступившего в зрелую пору жизни, является ах каким событием. Скорее, отличным от повседневной рутины. Но она, рутина, меня настигла даже в тот вечер.

Зая опаздывал.

Зая опаздывал всегда, сколько я его знала, и, возможно, именно это его качество не связало нас узами Гименея. Мы так и остались добрыми друзьями.

— Где же ты, чёрт тебя побери? Уже без десяти семь, а нам нужно еще дойти до театра! — кричала я ему в трубку телефона.

— Мася, я еду, — булькнуло в ответ, — скоро буду.

За три минуты до начала спектакля Зая явился во плоти и стал бубнить что-то про своего начальника, который требовал «выдать результат по максимуму» за пять минут до окончания рабочего дня. Как и мои, Заины руки больше не касались слоновой кости белоснежных клавиш, а перебирали макулатуру, на каждом втором листе которой гордо выделялся синий оттиск со словами «Копия верна».

Как мы ни старались преодолеть законы физики, расстояние до театра за три минуты нам не покорилось. Ничуть не пасуя перед точной наукой, Зая авторитетно заявил:

— Ничего, зато у нас места в партере.

Я подумала о том, что если бы ещё и места были не в партере, то соответствие студенческой тусовке было бы стопроцентным, с той лишь разницей, что нынче моё тело упаковано в костюм от кутюр, а под макияжем нанесен инновационный крем, стоимость которого обязывает чувствовать себя юной.

— Ваши билеты? — спросила старушка на входе, сама как незыблемый реквизит здания искусства, имя которому «театр».

Миновав контролёршу, мы ступили на полированный мрамор пустынного холла.

— Да, а на что мы идём? — на ходу снимая пальто, спросила я Заю.

— На «Три товарища»... Ну, по Ремарку, — уточнил он, заметив мою оторопь.

«По Ремарку!», — с отчаянием подумала я, и предстоящая встреча с искусством не показалась мне такой уж и заманчивой.

Дело в том, что я не люблю Ремарка. Даже не так. Я его патологически не выношу. Я его не смогла перенести в семнадцать лет, не смогла вынести в двадцать восемь, и третий подход в возрасте, который женщины не имеют склонности называть, не дал мне ощутимых результатов в этом нелегком для меня деле покорения классической немецкой литературы. Ремарк стоял как Эверест жизни, покорить который моему мироощущению не удавалось. Он меня раздражал рублеными фразами, угнетал отсутствием декоративной красоты, прямо-таки бесил своей простотой и правдой жизни, которой в избытке на улице за стенами того же театра. На третий раз покорения литературной вершины под названием «Ремарк» я поняла, что у меня завелся кровный враг. Его же

месть преследовала меня каждый раз, когда разговор касался Ремарка, и у меня не было желания поддерживать светскую беседу. Когда афиши пестрели его именем, в моем мозгу вырисовывались убогие картины жизни, и, на мой взгляд, так жить люди не имеют права. И когда, наконец, я пришла в театр, он подставил мне свою подножку и тут.

«Зая-Зая», — тоскливо подумала я, зная, что дружба требует жертв, но слегка успокаивало то, что наш путь лежит в партер.

Однако старушки, незыблемый реквизит фундаментального здания искусства, имели на этот счет другое мнение.

— Вам в бельэтаж, пройдите наверх.

Мы не согласились с предложением реквизита.

— Вы опоздали, — последовал презрительный ответ, — поэтому вам в бельэтаж.

О, в этот момент я не знала, кого больше ненавижу: Заю, его начальника, старушку-реквизит или даже самого Ремарка.

Но я улыбнулась кроткой улыбкой, которую умеют примерять на своё лицо женщины, способные приносить великие жертвы во имя благородного нечто, и мы покорно двинулись на ярус бельэтажа.

Немногочисленные ступеньки бельэтажа были усеяны сидящими на них зрителями, другие театралы шпалерами подпирали стенки.

Мне повезло. Я опустилась на ближайшую ступеньку, тем самым застолбив за собой право просмотреть первое действие не стоя на ногах. Зая примкнул к шпалерному ряду и растворился в темноте.

А на сцене тем временем разворачивалось действие.

Роберт буянил, его друзья заливали за воротник, скороговоркой выпаливая наболевшее, а я подумала, что сценарист взял на себя слишком много, пытаясь втиснуть в два с половиной часа историю дружбы и любви с избытком возможных подробностей. Но потом появилась Патриция, и внимание зрителей сконцентрировалось на ее нежном образе. В Пат я узнала актрису, недавно скандально засветившуюся в бульварной прессе, где в деталях оглашался ее разрыв с мужем и дележка двух общих детей. Оглядев девичью фигурку, с завистью отметила про себя поразительную способность актрисы к быстрому восстановлению.

Погрузившись в свои богатые бульварные впечатления, я

рисковала пропустить фразу:

— Что Вы, Робби, жизнь — это так прекрасно!

Рисковала, но не пропустила. Фраза прозвучала просто, но вместе с тем сильно и глубоко, поразив меня искренностью прямо в подкорку головного мозга, туда, где сходится тотальная человеческая рациональность и древняя сила чувств. Туда, где мысль уступает место эмоциям. Именно туда, где живет зародыш чувства прекрасного.

Нечасто, совсем нечасто чужому таланту удастся поразить эту цель, сокрытую наростами повседневности, монотонности и желанием никогда не открывать эту дверцу, потому что подобно приносящему сплошь беды ящику Пандоры, открыв его, рискуешь увидеть только убогую обыденность, которая вцепилась мертвой хваткой, не оставляя и шанса на миг встречи с прекрасным.

Но актрисе Пат удалось поразить эту цель. Она была проста, естественна, обаятельна; она не тянула за собой шлейф скандальной славы, пачкающей страницы новомодных журналов. Актриса Пат растворилась где-то там в глубине сцены и моей подкорки для того, чтобы отчаянно шагнуть навстречу жизни, заодно прихватив с собой ключик от дверцы, которую я старательно подпирала с другой стороны тонной макулатуры с оттиском «Копия верна».

Актриса Пат исчезла для того, чтобы появилась просто Пат. Хрупкая и сильная одновременно, рожденная жить, но подстерегаемая старухой с косою, с переполненным сосудом любви, который, тем не менее, дал течь раньше, чем зародилась сама потребность в чувстве.

И я с интересом углубилась в созерцание сплетения человеческих жизней, пасуя перед натиском ее таланта.

— Нет, нет и нет, — кричал Робби, — я не хочу, чтобы ты видела эту убогую комнату. Ты создана для роскоши.

— Робби, что ты говоришь? Это самая прекрасная комната, которую я когда-либо видела. Это твоя комната, — нежно отвечала Пат.

И я верила, что эта часть стены с полкой муляжей книг — самая прекрасная комната на всём белом свете.

— Нет, я не достоин даже твоего мизинца, — не унимался Робби. — Я всего лишь плебей, любящий аристократов.

— Что ты, Робби, — успокаивала его Пат, — никакой ты не плебей. Ты самый благородный человек, какого я только знаю.

И я тоже искренне верила, что истерзанный жизнью Роб-

би — человек благородных кровей и помыслов, не запятнавший себя ничем.

Я готова была верить каждому произнесенному её слову и дальше, если бы не одно «но»; и иначе как прозой жизни это «но» назвать не получается.

Здесь придётся вернуться к тому самому моменту, когда я застолбила за собой право посмотреть часть спектакля в сидячем положении, примостившись на ступеньке. Думаю, вы согласитесь, что вряд ли можно сравнить мягкость покрытия театральных кресел и жесткость паркетного пола. Поэтому если скажу, что прочувствовала искусство нервом, я не солгу. Сидалищным.

С каждой минутой, приближающей меня к вожделенному антракту, нерв мой, не будем повторяться какой, трепыхался как птица в клетке, настойчиво требуя воли. Каждая фраза Пат, пронизанная чувством и желанием жить, отзывалась во мне не менее жизненным желанием встать и подвигаться.

Тем временем, действие продолжалось. Робби казнил себя за убогость бытия, словно его воля могла что-то изменить в его биографии. Пат томилась, а я жаждала антракта как избавления от бельэтажа. Однако, признаюсь, от встречи с большим искусством у меня пропало желание ускользнуть со второго действия, как это было задумано, едва я услышала о Ремарке.

В то же время неутомимая проза жизни порождала в этот вечер новые детали. И имя новой маленькой заковырки был Большой голод. Заин начальник на время лишил меня не только купленных мест в партере, но и возможности своевременно заморить червячка.

Чем ближе минуты приближали меня к антракту, тем больше шалил сидалищный нерв, голод громче стучал в барабаны, и наконец я почувствовала, что Заин начальник повинен еще и в том, что лишил меня возможности посетить дамскую комнату загодя.

О, как я ждала этого антракта!

И как я ненавидела Заиного начальника!

Оставшись наедине в неравной схватке с прозаической стороной бытия, я почувствовала, что поэзия чувств и хитросплетения человеческих жизней закономерно померкли и отошли на задний план. Поэтому, когда занавес опустился и я обрела легальную возможность подняться с обжитой ступеньки, меня переполняло счастье от этого факта.

Выходящий из дверей бельэтажа и хромающий на одну ногу Зая согласился, что тоже впервые в жизни прочувствовал искусство тем местом, на котором люди традиционно предпочитают сидеть.

Я вам уже говорила, что рутина настигла меня даже в тот вечер?

Так вот, эта настойчивая дамочка допекла меня по полной. Первой мыслью, когда я среди наплыва женских декольте и мужского парфюма пробилась к табличке с нарисованным женским лицом, была мысль о том, что театр заключил договор франчайзинга с Макдональдсом. Ибо все знают, что в царстве гамбургеров трепетно относятся к человеческой нужде и за реализацию оной mzды не берут.

Но встав в очередь без конца и края, я поняла: тут дело совсем в другом. Просто все женщины мегаполиса в этот день дали себе зарок посетить уборную только после первого действия спектакля. Прямо так утром проснулись и с утренней зорьки до антракта проявляли чудеса выдержки и женской логики.

О, как я ненавидела женскую логику!

И заодно Заиного начальника, который фактом своего существования не дал мне подготовиться ко встрече с искусством должным образом. И заставил проявлять чудеса выдержки.

Но и в этой нелегкой схватке с прозаической стороной бытия я снова вышла полноправным победителем и гордо пронесла свой облегченный профиль мимо таблички с женским лицом.

Поджидая меня, Зая переминался с ноги на ногу и жалостливо смотрел куда-то вниз, где значилась многообещающая надпись: «Буфет».

— Маша, давай перекусим, — выпалил он, едва увидев меня. — С обеда маковой росинки во рту не было.

В очередной и десятый раз вспомнив Заиного начальника, которому икота в этот вечер обязана была испортить жизнь, мы понеслись вниз на пленительный аромат кофе и колбасы.

Когда от вожделенного бутерброда нас отделяло человека три, прозвучал призывный звонок, и театралы неспешным потоком потянулись наверх. Все, кроме нас и тех трёх упрямец впереди, претендующих на остатки съестного в буфете. Второй звонок застал нас, раскрасневшихся, в блаженном состоянии пережёвывания пищи и внезапно оформившимся

вопросом: «Где же мы будем сидеть, если снова опоздаем?».

Подгоняемые мыслительным процессом и бурлящим желудочным соком, мы с Заей ворвались в партер и, о чудо, погрузили свои тела в гостеприимную мягкость театральных кресел раньше, чем сцена ожила. А это значило, что проза жизни на мгновение прекратила свои художества.

Занавес открылся, и под натиском искусства, я окончательно рухнула в мир, где не было сцены, декораций и актеров.

— Дорогой Робби, — мечтала Пат, — давай немедленно поедем в деревню. Там хорошо, там свежий воздух, там настоящая жизнь.

— Обязательно! — воскликнул Робби. — Мы обязательно поедем в деревню.

И, располагая техническими возможностями сцены, мгновение спустя, они уже были в деревенской комнатухе, наполненной ароматами сельских трав, бриза и счастья.

— Пат, почему ты так бледна, ты плохо себя чувствуешь? — тревожился возлюбленный.

— Робби, это усталость, просто усталость, мне нужно отдохнуть, — говорила Пат тем особенным шёпотом, который был слышен даже на последних рядах галёрки, и который призывал в свидетели скорее силу воли девушки-Пат, чем физические возможности голосовых связок Пат-актрисы.

Девушка сотрясалась в душераздирающем кашле — и красное пятно на ее лице расплылось и заняло всё пространство вокруг, застилая собой и сельскую комнатуху, и море за окном, и предчувствие, что жизнь прекрасна.

Мне, сидящей в партере, в двенадцатом ряду, захотелось жить. Отчаянно, страстно, наперекор всему и всем, назло старухе с косой и красному пятну на белой простыне. Дикий кашель, терзающий тело Пат, в одночасье стал моим кашлем и болью. Теперь руки доктора сжимали рентгеновский снимок моих пораженных легких и приговор «осталось жить от силы несколько месяцев» затянул мертвую петлю на моей стремительно угасающей жизни.

Потом Робби отвёз меня в санаторий в горах, где разрешил носить то роскошное красное платье, из-за которого он прежде устраивал мне сцены ревности, а на улицах тем временем процветала фашистская свастика, голосили немецкие овчарки и поблёскивала кожа длинных пальто. Лучи прожектора стремительно меняли дислокацию, выискивая противников режима, а меня, ту, что в двенадцатом ряду, забила мелкая

дрожь страха.

«Только не меня, только не меня», — шептали остатки разума, подгоняемые генетически заложенным ужасом перед свастикой и гортанными фразами немецкой речи.

Меня не тронули.

Тронули Готтфрида...

Отто...

Робби...

...

Всех моих друзей, разом, словно их и не было в живых и в моей жизни.

А потом я умерла. От меня, моей любви, моей дружбы осталась одна-единственная чёрно-белая фотография, где мы все вместе с развевающимися волосами на ветру в автомобиле Кестера улыбались, улыбались, улыбались...

— Маса, — твердая мужская рука трясла мое плечо, — Маса, очнись. Уф, наконец-то закончилось. Какое длиннущее второе действие, правда? Тебе как, ничего так?

— Ни-че-го, — медленно согласилась я, унимая мелкую по-смертную дрожь и вытирая мокрые холодные пальцы о костюм от кутюр.

В отличие от Заи я не имела иммунитета к Большому искусству. Только к той его части, которая имеет потуги на великое. Так меня когда-то учили.

А еще мне говорили, что все мы — дети, воспитать которых под силу только одному учителю — Большому искусству.

Мар'яна ДАНИЛЕНКО

«Важко бути важливим для когось, отак, назавжди...»

* * *

Ця історія, яку ти зараз почувеш, доволі таки проста.
Вона, щоб заснути, щовечора, без кінця рахує до ста.
Хоча, все добре, наче, і не спати вона не має жодних підстав.
Але, якимось так.

Ні вівці білі, з чорними ніжками, ані сотні рудих слоненят.
Не зрушують цю проблему нікуди – ані вперед, ні назад.
Вона знову серед ночі глухої створює «дуже важливий» чат.
Для кількох дівчат.

Що важливого? Тиша тільки. Десять по третій. Треба лягти хоча б.
Світло підступне. Ранок хворий, невчасно все псувати почав.
Всіх слонів із вівцями... цифри і зорі... чорні ноги... важливий чат...
Все в одне звінчав.

Ця історія, яку ти зараз почувеш, доволі таки дурна.
Вона, щоб здаватися сильнішою всім, глибше кудись пірна.
Може, в себе. А, може, в прірву, але — бам — головою... десь тут стіна...
Шкода, ніч тісна.

* * *

З цього все починалося. Ліжка. Стіл.
Сніг за вікном лапатий. І тихо-тихо.
Аркуші білі та олівці прості.
Ранок ще сонний в теплій кімнаті диха.

Сплять біля ліжка в скрині дитячі сни.
Пахне ялинкою — диво різдвяне близько!
Наче ніколи тут не було війни.
І не було потреби збирати військо.

Просто і тихо. Сніг угамує все.
Білим застелить, скорить усі печалі.
Правди-неправди спокоєм занесе.
Марні тривоги геть прожене подалі.

Все починається з дива, отам, вгорі.
Хочу, щоб янгол сьогодні тебе обрав.
Хай він назавжди прийде на твій поріг.
Хай він стоїть на сторожі твого добра.

* * *

Трохи сиру, хліб і вино.
Ця вечеря проста.
Ти не бачив її давно,
а сьогодні згадав.

Дрібку солі на чорний хліб.
Перший келих до дна.
Ти від світла тоді осліп,
як з'явилась Вона.

Пам'ятаєш волосся хміль
і очей глибину..
Щоб забути — мільйон зусиль,
смак гіркий полину.

Трохи сиру, хліб і вино,
так подобались їй.
Сльози висохли вже давно.
Залишилася сіль.

* * *

Зміями розповзаються серед високих трав,
губляться і ховаються, щоб ніхто не вкрав.
Щоби ніхто не підслухав і не зловив,
Бо не зносити з тобою нам голови.

Зміями розповзаються серед високих трав
наші стежки, що кожен сам собі обирав.
Дим від вогню, глянь, як стелиться по землі?
Мудрість залишиться зморшкою на чолі.....

Пісню зачни, для мене, почую і прилечу.
Вітер-дивак на скрипці грає так ніжно, чу?...
Завтра подумаєш: це ж була просто гра?
Бачиш, заходить місяць. Тобі пора.

* * *

Тане віск у теплих долонях
від свічок.
Зачиняє безсоння двері.
На гачок.

І сідає в глибоке крісло
до вогню,
щоб спалити усі тривоги.
І брехню

Наливає у філіжанку
чорний чай.
П'є без цукру, але з лимоном,
зазвичай.

Я ще трошки отут посиджу,
тільки — цить!
Утомилось моє безсоння,
тихо спить.

* * *

Вона казала: я довго хворіла і через те не могла прийти.
Він погляд ховав, нервово курив у бік і питав: як ти?
Тепер мовчить і думає про своє минуле.
То ж був він?
То була вона?
Ні, ні.. не забула....

Він високий такий, вона пом'ята. Так притискав міцно до себе.
Щасливі, смішні, як діти. Тепер крутить туга між ребер.
Вечір довгий. Зима холодна. Куди ж їй іти?
Бо у вухах болить, не вщухає: як ти? як ти?..

І вже на побачення квіти несе вона сама. Троянди білі.
А скільки інших, кого не знайшли після першої хвили?
Постое на протязі з вітром (він теж пом'ята)
«Як ти? Ну, як ти?»... тссс... чує вона біля хреста.

* * *

Світлі очі та біль. Дивні смисли написаних літер.
Крізь потертість речей. Споміж сотень однакових днів.
Наче хлопчик загублений, той, з Небувалії Пітер.
Саме той, що приходив до тебе із доньчиних снів.

Поза обрієм марно шукати вчорашнього щастя.
Завтра буде. Ти знаєш. Минулі згубились сліди.
Тільки хрестик на згадку. Обійми. Іди, попрощайся.
Ти не вернешся більше. Я знаю. Ніколи. Сюди.

Ген за обрій, до самого ранку. Ти ж знаєш маршрути!?.
Серед болю. Образ. І затертих однакових днів.
Тільки очі дитячі блакитні тобі не забути.
Серед тисяч мільйонів інакших яскравих вогнів.

Кораблі... кораблі... так далеко! На завтра, навіки...
Залишайся! Піду... залишайся... лишайся... іди...
Важко бути простим... важко бути земним чоловіком...
Важко бути важливим для когось, отак, назавжди.

Сергей КРИВОРОТОВ

ЧЁРНЫЕ ПОЛУБОТИНКИ

Вынесли его тело. Всё чин по чину. Подержали открытый гроб на подставленных табуретках, лежал он спокойно с восковой умиротворённостью, словно взирая закрытыми глазами на доступное лишь его внутреннему взору. Совершенно безразличный к окружающему. Затем погрузили в катафалк, и пришлый народ проводил в последний путь, разместившись на втором уже большем автобусе. Его, всю жизнь считавшегося правоверным атеистом, согласно порядкам прежних времён, хотя был он при рождении крещён, но креста не носил и не соблюдал церковных правил, кроме ритуального поедания блинов на масленицу да ежегодного празднования пасхи, напоследок отпевали в церкви при кладбище.

Всё это время до момента, когда опускали гроб в отрытую экскаватором яму, последнее прибежище в промёрзлой кладбищенской земле, слёзы неожиданно приходили ей на глаза. Единственное, что Мария Егоровна вполне осознавала – ничего не останется по-прежнему. Рядом никогда уже не будет его привычного мужского плеча. Взрослые дети, сын и дочь, вполне достойно по среднестатистическим нормам страны, поддерживали мать с двух сторон, она также в чёрном платке, он с неутешным видом, вполне искренним, да иначе и быть не могло, с непокрытой взлохмаченной шевелюрой. Придерживали, будто она могла кинуться за мужем в развёрстую пасть могилы.

Всё в прошлой жизни казалось теперь очень даже неплохим: и редкие ссоры, и вечерняя скука, и молчаливое непонимание в минуты, когда нестерпимо хотелось общения, но, в целом, смерть всё сровняла и сделала прочее незначимым в её глазах. Он умер, и это навсегда. Большая часть её жизни, быта, интересов оказалась в один момент вырезана, на этом месте обнаружилась ничем не заполненная пустота и теперь, вероятно, ничто уже не сможет заполнить образовавшуюся огромную каверну.

Потом были поминки в снятом кафе, бесконечные соборования приходящих и уходящих. Только далеко за полночь, когда зять увёз дочку последней, Мария Егоровна осталась совершенно одна в опустевшей квартире. Ей было страшно, но просить переночевать у неё кого-то из близких, она не решилась. Лежала в оцепенении на показавшейся теперь слишком широкой кровати и вспоминала, вспоминала... Так и не разделась...

Под утро он ей приснился. Вполне живой и очень недовольный. Что-то хотел ей сказать, но не успел, только укоризненно покачал головой, в чём-то упрекая. Мария Егоровна проснулась в испуге с гулко бьющимся сердцем, трясущимися руками накалила себе, не жадничая, корвалол, но сомкнуть глаз уже не смогла.

Что значил странный сон? Что он хотел сказать, в чём она провинилась перед умершим? Лихорадочно пролистала потрепанную брошюру с толкованиями сновидений, но не нашла в ней ничего путного. «Покойник – к перемене погоды» – вот и вся недолга. Потом потянулись знакомые, приехал сын, Мария Егоровна уже ни на минуту не оставалась одна, и воспоминания приснившегося поблекли, отошли на задворки сознания.

Но пришла неизбежная ночь, снова она увидела умершего мужа. Причём, он выглядел ещё более рассерженным, чем накануне.

– Как там? – она смогла заставить непослушные губы произнести всего два слова.

– Мне плохо! – ответил такой знакомый голос и, немного помолчав, ворчливо укорил: – Как ты могла так поступить, Маша?

Она просто похолодела. Что он имеет в виду? Что узнал там про неё такого, чего не ведал раньше? Мария Егоровна лихорадочно постаралась припомнить мнимые и действительные старые грешки... Но ничего существенного, что могло бы задеть его, не могла найти при всём старании. Что же он хочет предъявить? И вдруг чётко осознала: это сон, всего лишь сон!

– Чем я виновата? Что я могу сделать для тебя? – нашла она силы для разумного вопроса.

– Мне нужны мои ботинки, – веско, со значением произнёс умерший. – Мои новые чёрные полуботинки. Мне без них плохо. Почему ты не отдала их мне? – Он всерьёз обвинял её, это вовсе не казалось розыгрышем! Мария Егоровна просну-

лась, и сердце опять гулко билось в пустой ночи, подкатывая к самому горлу.

Она действительно то ли пожадничала, то ли забыла про купленные месяц назад лакированные штиблеты, которые он и одевал-то всего ничего – когда ходил в последний раз за пенсией и на приём в поликлинику. Форма их застыла в промежуточной фазе между востроносой и прямоугольно-тупорылой, соответственно последней моде. Покойного облачили в другую обувь, вовсе не старую, но приличную и привычную для обоих. А чёрные полуботинки, ещё не разношенные, представились ей тогда чуждыми, не имеющими никакого отношения к умершему. Неужели, действительно это могло оказаться столь важным? Бред какой-то!

Весь последующий день, что бы она ни делала, с кем бы ни говорила, пугающие сны не шли из головы. Мария Егоровна снова вспоминала привидевшееся, при дневном свете оно казалось нелепым и бестолковым. Но с приближением ночи её начинал охватывать страх.

И снова, как она ни боролась с подступавшим сном – пила крепкий кофе, пыталась звонить знакомым, смотреть бессмысленные передачи по телевизору, оказалась побеждена дремотой, и заснула внезапно, не раздевшись, при включённом экране.

И тут же он явился снова, живой и реальный, будто не умер совсем недавно. С тем же недовольным и раздражённым видом. Упреждая попреки, она спросила, не надеясь особо на вразумительный ответ, сознавая, что всего лишь снится сон:

– Чем я могу помочь тебе, как всё исправить?

– Я не успокоюсь, пока не отдашь ботинки.

Что за странный фетишизм! Но расспрашивать сейчас или спорить не имело смысла.

– Как же передать? Ты сам не можешь забрать их?

– Нет, конечно! – возмущённо, едва не фыркнув, оборвал он.

Всё же Мария Егоровна признала, что в целом её муж выглядел спокойнее, отрешённое от всего, чем при жизни, будто постиг нечто недоступное её пониманию. Сны не возникают из ничего, что-то наверняка скрыто за их ускользающей дымкой.

– Как быть? – спросила она, внутренне не переставая удивляться бессмысленности разговора во сне. – Не могу же я разрыть твою могилу!..

– Сделай так, – терпеливо объяснил он, словно говорил с несмышлёной девочкой, только она действительно не имела ни малейшего понятия, как ей поступить дальше. – Отвези их с коробкой по адресу... – последовало название улицы и номер дома. – Попроси там передать, просто положить в могилу... В их могилу, – тут же уточнил он уже раздражённо. – И больше ничего не надо. Ты поняла?

Мария Егоровна торопливо кивнула, не зная, что думать, боясь переспросить и, тем более, не согласиться.

– Это важно для меня. Понимаешь? Я прошу сделать именно так... Обещай мне, Машенька!

– Да, – выдавила она и озвучила непослушными губами. Он так редко называл её «Машенькой»! Скорее всего, она не поймёт, пока не окажется там сама. Когда он просил её о чём-то в последний раз? Даже не припомнить. Раз это значимо для него, так оно и есть, хотя выше её разумения. Неужто порядки на «том свете» не менее бессмысленные, чем в здешней жизни? – Да, обещаю...

Он ласково совсем по-прежнему кивнул на прощание, и снова Мария Егоровна проснулась с гулко прыгающим сердцем. Полежала, приходя в себя, приняла ставший привычным корвалол. Сколько ещё он будет так её мучить? Надо сделать, как просил. Странно, впервые услышанный адрес чётко отпечатался в памяти.

На следующее утро Мария Егоровна упаковала полуботинки в коробку, повязала чёрный платок и поехала по воле усопшего. Улица находилась на другом берегу реки, на противоположной стороне города.

Пока ехала на маршрутном такси, пока искала табличку с нужным названием и номером, Мария Егоровна чувствовала себя последней дурой. Не менее полутора часов прошло, пока она добралась до неказистого одноэтажного домика с давно некрашеным деревянным забором. Ничем особенным не выделялся он среди подобных же осколков минувших эпох.

Сердце ёкнуло, сомнения испарились, когда она увидела автобус с чёрной каймой на борту и понурых людей у калитки. Белые снежинки бесшумно кружились и падали с неба, не нарушая торжественности знакомой траурной картины.

Мария Егоровна не знала, с чего начать разговор, долго не осмеливалась войти внутрь. Только завидев вышедшую во двор заплаканную женщину в чёрном, внешне гораздо моложе её самой, решила подойти.

Та с изумлением, но, не перебивая, выслушала Марию Егоровну, на её широко раскрытых глазах навёртывались крупные слёзы и тут же скатывались по проторенным на щеках дорожкам. Она тоже хоронит мужа, с которым прожила почти тридцать лет. Незнакомка выглядела приличной здравомыслящей дамой и необъяснимо вызывала расположение, без малейшего намёка на злую шутку или розыгрыш.

Мария Егоровна не удивилась бы отказу, но хозяйка поверила и сочувственно выслушала необычную посетительницу.

– Вы действительно можете сделать так? – с тревогой спросила Мария Егоровна, заканчивая торопливые объяснения.

– Оставьте, я верю вам. Почему же, не помочь? Неизвестно, что ждёт там нас самих... Только, как лучше сделать? – уже деловито поделилась вслух женщина и пояснила: – Ведь, в гроб-то, наверное, не получится...

– Просто положите в могилу, он так, вроде, просил... Не знаю, как и благодарить...

Они помолчали, Мария Егоровна с внезапной признательностью, новая знакомая озабоченно обдумывая дальнейшее. Мужчины курили у забора, женщины тихо переговаривались во дворе. С улицы подходили новые посетители с цветами и без. Время выноса приближалось.

– А как вы объясните своим? – забеспокоилась Мария Егоровна.

– Сейчас не стану. Это потом. Давайте коробку, и будьте спокойны, сделаю как надо.

Испытывая облегчение, Мария Егоровна передала посылку из рук в руки.

Подруга по несчастью исполнила, что обещала, в чём и отчиталась при встрече. Больше им говорить оказалось не о чем, всё происшедшее воспринималось теперь обеими само собой разумеющимся, будто иначе и быть не могло.

Больше муж не беспокоил её в снах, хотя Марии Егоровне теперь этого очень хотелось...

Світлана РИНКЕВИЧ

«Червивий червня у черешень сум...»

* * *

Сльотавий вечір. Павіття безлисте.
Асфальтним небом деркачі беріз
ганяли гайворонь. На повний зріст
снували тіні на землистих лицях
сутулих вулиць. Вітер, як сказився —
і на Московський вискочив проспект,
і наскрізь місто простромив, як спиця.
Допоки дощ ряднину розпростер.

* * *

Боятися жити, страшитися смерті.
Написане — поспіхом знову затерти.

Зітерти до дірки рядок недолугий.
І, зціпивши зуби, почати удруге,

утреє, усьоме, вдесяте... Укоотре
від себе ховатися, наче під ковдру,

у білість паперу. Насупити брови,
побачивши, — слово пульсує нервово,

ламається в почерку, гнеться судомно,
допоки відчує себе, наче вдома.

Зведеться на аркуші владно на ноги,
щоб заживо віршем упасти на нього.

* * *

На диво травень видавсь дощовим,
Засмага не пристала до шоки.

Хотів тепла — сховалось на горищі.
День у долонях — яблуком торішнім.

Червивий червня у черешень сум,
дощ по обличчю косо полоснув.

І з завіконня гордий молочай
до мене знову цілу ніч мовчав.

* * *

Яйце розбите. Глянцева підлога.
Колишній сніг — з-під ніг брудна вода.
Метався люд, на касу стадно човгав.
І кожен, як сліпого, удавав.

Сліпі чи ні?.. Невже — за Сарамаго?
Стерильний сніг. Взуття. Рипіння. Рух.
Собака, до тепла людського спраглий,
поплентався аж на трамвайний круг.

На площі Привокзальній пахло хлібом.
У слух ритмічним гупанням вдаряв
старий, на Миколая схожий ніби.
Й жовтком лежало світло ліхтаря.

* * *

«Про що цей день?» — Спитаєш, як про книжку.
Обкладинка – потертий плащ на вид.
Стовбичив дощ, наповнював сади,
мов келихи. Всього було з надлишком.
Нерівний крапель пульс. Дірява тиша.
Поля сумні. Нескінчені жнива.

Пожухлі соняхи. Дорога нежива,
як закладка зміїлася. А нижче
до обрію холодного ножа
тулилась захмеліла вкрай нужда...
Дощ був усюди, контури всі нищив,
стояти у в очах не полишав.
Й металось серце, як дурне лоша.

Сергей ЯКОВЛЕВ

ИСКРЕННОСТЬ

1

Лифт медленно поднимался на последний этаж высокого здания военного ведомства. Через прозрачное серое стекло открывался отличный вид на исторический центр города. Мощеная потемневшей от времени брусчаткой площадь, изящное здание городской ратуши с остроконечным флюгером, благородного оттенка слоновой кости вековой мраморный фонтан в окружении пластичных фигур nereid.

Картина действительно впечатляла. Полковник Фортейн не преминул воспользоваться этим поводом, чтобы завязать разговор:

Неплохой вид! Вам чертовски везет, если можете любоваться на город отсюда каждый день, а? — он легко кивнул головой к прозрачной стене лифта и широко улыбнулся молодой девушке в стандартной голубой блузке и длинной серой юбке — одежде, принятой для женщин в военном ведомстве. Кристен считал, что его улыбка очаровательна и в то же время немного лихая, как у бравого вояки. Он много раз тренировал её перед зеркалом и был убежден, что именно такие улыбки от мужчин в форме больше всего нравятся дамам. А вместе с пронзительным взглядом его голубых глаз и гладко выбритыми ровными скулами она просто обязана производить ошеломляющее впечатление.

— Да, сэр, вид действительно очень хороший, — ответила девушка и тоже улыбнулась.

«Не больше тридцати, подтянутая, в руках, кажется, личные дела старшего офицерского состава. Но знаков отличия нет, да и выправка не военная — референт или секретарь из гражданских», — подумал полковник, — «здесь их слава богу полно. Не то, что на моей базе ВВС, где допускался только военный контингент».

— Надеюсь, и я теперь тоже смогу получать удовольствие от него каждый день, — все также улыбаясь ответил полковник Фортейн и вроде бы ненавязчиво смахнул пальцами чел-

ку со лба. Светлая челка была недостаточно длинна, чтобы вызвать неодобрение генералитета, но Фортейн был уверен, что женщины из штабов её замечают и отдают должное его индивидуальности и чувству вкуса.

Лифт издал мелодичную трель и остановился. Двери разошлись, девушка снова мило улыбнулась полковнику и зашепила в один из бесконечных коридоров военного ведомства. Фортейн неторопливо вышел вслед за ней и в отличном настроении направился прямо к секретарю.

Полковник Фортейн к генералу Ларссону, — представился он.

Девушка кивнула, указала на кожаный диван и попросила немного подождать.

«Эта тоже очень хорошенькая», — подумал Кристен, присел и откинулся на мягкую спинку. Он снова удовлетворенно обвел взглядом уютный холл, светлый дубовый стол секретаря и коридоры со снующими по делам сотрудниками. Ему здесь понравится.

— Вы все наверное очень свыклись работать с генералом за столько лет? — добродушно спросил Фортейн у девушки, — Будете по нему скучать?

Секретарь подняла взгляд на Кристена и ровно произнесла:

— Генерал еще находится в должности.

— Да, разумеется, — немного растерялся полковник. — Я не это имел в виду. Просто хотел сказать, что двенадцать лет на одном месте — это долгий срок. У вас наверное установились свои правила, привычки... мм... традиции?

Фортейн неопределенно взмахнул ладонью и снова попытался ненавязчиво улыбнуться. Но девушка за столом смотрела на него все так же ровно и безучастно.

— Я не понимаю, о чем вы. Можете проходить, генерал Ларссон ожидает вас.

Кристен молча кивнул, поднялся и легкой пружинистой походкой направился к двери в кабинет военного министра.

«Старый козел. Запугал тут всех до полусмерти. Я разгребу эту унылую обитель» — подумал он и решительно вошел в кабинет.

2

Помещение было зашторено, и рассеянный свет лишь слегка освещал кабинет военного министра. Генерал сидел за широким столом в окружении бесчисленных папок, отчетов и журналов. Он выглядел значительно старше своих шестидесяти

трех лет. Сквозь редкий седой ежик жестких волос проглядывала пепельная морщинистая кожа. Худое изможденное лицо, темные глубокие круги под глазами, прерывистое хрипловатое дыхание заядлого курильщика с немалым стажем — просто удивительно, что о его отставке заговорили только сейчас.

Фортейн отдал честь, и кивнул на кресло перед столом генерала:

— Разрешите сесть?

— Присаживайтесь полковник, — тихий голос Ларссона дребезжал и срывался, лишний раз напоминая о его возрасте. Кристен сразу же почувствовал в нем какую-то странную интонацию, но не стал придавать этому значения.

Он уселся в кресло напротив генерала и деловито приступил к отчету:

— Генерал, для меня большая честь наконец увидеться и переговорить с вами лично. Как вы наверное знаете, мое выдвижение на эту должность было инициировано президентом и утверждено последней сессией переговоров между генералитетом и кабинетом министров. Позвольте мне также выразить вам мое личное глубочайшее почтение и уважение за долгие годы вашей безукоризненной службы стране. Вы — легенда для каждого солдата. Я убежден, что ваша почетная отставка — это достойное завершение вашей блестящей карьеры в военном ведомстве.

Ларссон скривил рот в угрюмой гримасе и грубо прервал Фортейна:

— Да-да, довольно. Именно так я вас и представлял. Напыщенный фальшивый приспособленец. Почему-то таких особенно много в ВВС. Оставьте свою лесть для кабинета президента. Меня же от нее тошнит.

Он медленно перелистнул тонкими бледными пальцами папку с личным делом перед собой.

— Шестьдесят восемь часов налета. А вы не сильно задержались в небе, а? У нас сегодня такое возможно?

Фортейн сжал зубы и внутренне улыбнулся. Этот старик может говорить, что захочет. Его песенка спета, назначение практически утверждено, и ему не удастся вывести Фортейна из себя.

— Кто-то должен делать штабную работу. Это не менее важно, чем сидеть за штурвалом самолета.

— Конечно-конечно, — презрительно бросил генерал, — от

лейтенанта до полковника ВВС всего за восемь лет в мирное время. Вы способный малый.

Полковник наконец понял, что за интонация скрывается в голосе Ларссона — это было глухое презрение.

— Мои усилия и старания были по достоинству оценены соответствующими людьми, и именно поэтому я сейчас здесь. Ваше мнение о моей карьере в данном случае несущественно.

Ларссон коротко кивнул своей седой головой, закрыл папку с личным делом Фортейна и отложил её в общую стопу.

— Конечно. Президент уже давно спит и видит, как бы избавиться от меня. Впрочем, не он один — это всем известно. Такие как я — старые ветераны иранской войны — сегодня всех только пугают. Что же, посмотрим, сможете ли вы занять мое место.

Фортейн выпрямился в кресле и посмотрел Ларссону прямо в его мутные глаза. Пора было заканчивать нелепый бесполезный разговор с этим старым маразматиком.

— Генерал, давайте без дураков. Я знаю, что я вам не нравлюсь. Меня это совершенно не волнует. Но розыгрыш, который вы решили учинить — это уже слишком. На нашей военной базе тоже были свои традиции, персоналу нужно иногда скидывать напряжение — я это понимаю. И про вас я слышал всякое. О том, какой вы чудак в штабах легенды складывают. Но такого все-таки я не ожидал.

Чем дальше говорил полковник, тем ярче в блеклых глазах Ларссона вспыхивали огоньки веселья. Он наслаждался зрелищем негодующего Фортейна.

— Эти документы, с которыми меня ознакомили вчера — это самый нелепый розыгрыш, о котором я когда-либо слышал. Вам хорошо все удалось — поездка в здание разведки, куча подписей о неразглашении, документы из сейфов, копии которых нельзя забрать с собой. Я действительно уже подумывал, что у нас где-то спрятаны обломки летающей тарелки или колба со смертельным вирусом. Я ценю ваше чувство юмора, но надо признать, что таким вещам не место в кабинетах нашего уровня.

Речь Фортейна была прервана тихим дребезжащим смехом генерала. Рот старика скривился от едва слышного хохота, пальцы чуть подрагивали над гладкой поверхностью стола.

«Чертов маразматик. Надеюсь, отсюда ты попадешь сразу в дом престарелых, в компанию таких же как ты сбрендивших шизиков. Господи, да как он смог задержаться тут столько

времени?» — подумал Фортейн.

Наконец Ларссон успокоился. Улыбка исчезла с его лица, а глаза снова потускнели.

— Ну один в один — Де Гиз. Вас словно на одном конвейере сделали. Тот тоже считал, что это розыгрыш, шутка. Для вас вся жизнь — шутка, правда?

Фортейн замер на месте. Его левая бровь выгнулась от удивления.

— Что вы имеете в виду? Хотите сказать, что это не шутка? И кто такой Де Гиз?

Поза Ларссона изменилась. Он выпрямился на своем кресле, поднял голову и на мгновение скинул десяток лет сразу. Глаза генерала вдруг наполнились обжигающим льдом. Он чуть подался вперед и медленным железным голосом произнес:

— Полковник Фортейн, вчера вы ознакомились с информацией об этическом тесте для претендентов на должность военного министра. Информация эта, как вам теперь уже известно, совершенно секретна и за её разглашение предусмотрена исключительная ответственность. Обо всем было написано в документах, которые вы вчера подписали своей рукой. Это не шутка.

Ларссон сделал паузу и с удовлетворением разглядывал ошарашенного Фортейна. Полковник нервно сжал подлокотники кресла и тяжело задыхался. Он действительно был на все сто процентов убежден в иллюзорности этого теста.

— На этой встрече я могу ответить на любые ваши вопросы касательно этого мероприятия, — продолжил после паузы генерал, — тест назначен на завтрашний день, так что у вас осталось не так много времени на подготовку и планирование. Как вам хорошо известно, в случае отказа от прохождения теста, вы вернетесь на предыдущее место службы, а на ваше место будет найден другой претендент. Итак, какие у вас есть ко мне вопросы?

В течение долгой минуты Кристен сохранял полное молчание, переваривая эту информацию. После такой суровой отповеди он действительно не мог теперь вспомнить, почему с самого начала вчера посчитал это шуткой. То, что полковник прочел вчера в документах противоречило любому здравому смыслу.

Он сглотнул комок в горле, откашлялся и спросил:

— Значит... значит, это серьезно? Тест настоящий?

— Прекратите уже морочить мне голову, — рявкнул Ларс-

сон, — ведете себя как баба. Господи, и откуда они таких берут? Да, Фортейн, тест настоящий. Еще вопросы?

Полковник молча кивнул.

— Хорошо, я понял. Дайте мне минуту собраться с мыслями.

Фортейн вспомнил вечер двумя днями накануне. Это был торжественный банкет в доме для правительственных приемов. Официально прием был в честь двадцатипятилетия окончания иранской войны, но Кристен был предупрежден, что фактически это был прием по введению его в правительство. В течение вечера президент в компании других министров часто упоминал о стремительной его Фортейна карьере, всем своим видом давая понять, что вопрос о новом назначении уже решен. Произносились тосты и потоки похвальных речей. Без лишних обиняков о полковнике говорили как об уже фактически новом министре обороны. В конце вечера президент отвел его в сторону и доверительно сообщил, как много надежд возлагается на его Фортейна кандидатуру. Что администрация уверена, что Кристен предпримет все необходимые усилия для оправдания возложенных на него ожиданий. Смысл этих туманных намеков стал понятен только сейчас. Только теперь Фортейн стал понемногу понимать, что главное испытание еще впереди.

Он собрался с мыслями, глубоко вздохнул. Он справится. Этот старик не сможет его остановить.

— Так, хорошо. Значит тест настоящий — прекрасно! Эта встреча для ответа на мои вопросы? И да, они, черт бы вас побрал, у меня есть. Откуда взялся этот треклятый тест? С каких пор он вообще существует?

Ларссон откинулся на спинку своего кресла и удовлетворенно кивнул. Потом вытащил из кармана связку магнитных карт и открыл одной из них замок на секции стола. Генерал извлек из нее потрепанную папку, положил перед собой, но открывать пока не стал. Спокойным ледяным взглядом он стал наблюдать за Фортейном.

— Пару дней назад вы были на приеме в честь завершения иранской войны. Вам понравилось?

— Да, — буркнул полковник, — какое это имеет отношение к нашему разговору?

— Прямое. Вы, конечно, слишком молоды, чтобы принимать участие в тех событиях. Но может быть кто-то из ваших родственников был там? Все таки один из крупнейших конфликтов со времен второй мировой. Может быть ваш отец или дед?

Фортейн махнул головой.

— Нет. Никто в моей семье не принимал в ней участие.

Ларрсон медленно и удовлетворенно кивнул, как будто и ожидал такого ответа.

— Знаете, что я вам скажу, Фортейн? Я сижу в кресле министра обороны уже двенадцать лет, передо мной проходили кандидаты на посты начальников всех штабов и всех родов войск, кандидаты на пост министра обороны. И никто из них не имел никакой связи с иранской войной. Странно, не находите?

— К чему эти нелепые расспросы? — вспыхнул полковник,
— При чем здесь иранская война?

— Не торопитесь, Фортейн, я ведь отвечаю на ваши вопросы. Вы помните, какие совокупные людские потери понесли стороны конфликта?

— Пара сотен тысяч людей. Кажется. Какое это имеет значение?

— Пять сотен тысяч, если быть точным. Это по официальным данным. Доклады трех комиссий ООН говорят о возможном миллионе погибших и еще о таком же числе беженцев из страны и прилегающих территорий.

— Допустим, и что с того? Ведь применялось химическое и тактическое ядерное оружие.

— А вы помните политическую ситуацию тех времен у нас в стране? Антивоенные демонстрации? Марши протестов? Диверсии на базах ВВС?

— Изучение гражданского права не входит в стандартный курс военных академий. Но про диверсии я знаю. Регламенты были серьезно ужесточены с тех пор. Но к чему вы клоните?

Ларрсон опустил голову и сложил руки на коленях. В приглушенном свете утренних лучей его лицо напоминало по смертную гипсовую маску. Именно сейчас кабинет министра как никогда походил на старый пыльный склеп.

— Поймите простую вещь, Фортейн. На той войне я служил офицером танковых войск. Каждый день по звонку сверху наши самолеты сбрасывали ад на головы иранцев. Каждый день, десятки и сотни ракет стирали с лица земли города и поселки. И после авианалетов наши подразделения занимали отбомбленные территории. Мы видели трупы тысяч и тысяч людей. Трупы тысяч солдат, а с ними и трупы стариков, женщин, детей. И знаете, они ведь ничем не отличались от наших — те же лица. Такие вещи, они не забываются. Мы

помогали оставшимся в живых закапывать тела в братских могилах. И мы тогда... мы ненавидели пилотов ВВС и наводчиков ракет. Они проводили час времени в поднебесье или в безопасной утробе ракетной базы, скидывая бомбы и ракеты на далекие от них города. А мы — на этой грешной земле — потом неделями месили плоть и кровь мертвецов. Смотрели в глаза выжившим. Объясняли им откуда взялась эта смерть с небес. Объясняли, что это не мы — увешанные оружием грязные и усталые солдаты, а палец на кнопке в сотнях километров от нас принес смерть их соотечественникам. И потом мы глядели на удовлетворенные лица штабистов, слушали их победные репортажи, наблюдали их награждения в президентском дворце. Но больше всего мы ненавидели военного министра, который и дня не провел на территории Ирана, не видел ни одного разорванного тела, но с гордостью примерял на свой китель наградные ордена.

Ларссон задумчиво погладил ладонью китель на груди со своими собственными орденами. За долгие годы службы их накопилось достаточно.

— Вернувшиеся с войны боевые офицеры — а их было много, очень много — они были в ярости от того, что один человек как и прежде будет обрекать на смерть сотни и тысячи ни в чем неповинных людей, не покидая уютного кабинета. Вот этого самого, где мы сейчас сидим. И чтобы компенсировать эту нравственную несправедливость сессия секретного совещания приняла поправку об этическом тесте.

Фортейн массировал виски большими пальцами. Слова генерала казались невероятной бессмыслицей. Смешной и жуткой одновременно.

— Подождите, и вы хотите сказать, что это сработало? Администрация президента пошла на то, чтобы удовлетворить такое безумное требование?

Генерал постучал указательным пальцем по лежавшей перед ним потертой папке и подвинул её к Фортейну.

— В этой папке — стенограмма того секретного заседания. Я всегда храню её в моем столе. Бывает очень полезно перечитывать эти вещи время от времени. Я позволю вам взять её с собой. Это поможет вам подготовиться. Если речи докладчиков на том совещании, речи намного более убедительные и проникновенные чем любые мои попытки их повторить, не помогут вам понять причины принятия теста, то оставьте это дело. Эти речи были востребованы тогда — когда воспомина-

ния о пролитых реках крови были еще слишком свежи. Но эти речи мало кому понятны сегодня. И это одна из причин, почему президент очень хочет чтобы вы справились. Отнеситесь к этому как к очередному приказу. Схема теста вам ясна?

Полковник уже не сидел на кресле. Он нервно расхаживал по кабинету, молча слушая военного министра и не поднимая взгляда от пола. Услышав вопрос, он остановился и напряг память.

— Территория случайным образом выбирается из всех крупных городов и населенных пунктов. Почему случайно?

— А как иначе, — парировал Ларссон, — вы что, считаете, что кто-то заслуживает жребия больше чем иные?

— Но... но это ведь может быть мой родной город. Или место, которое я знаю.

Генерал снова удовлетворенно кивнул.

— Конечно, здесь и заключен смысл. Де Гиз на этом и погорел, — военный министр посмотрел на вопросительное лицо Фортейна, — Де Гиз — предыдущий претендент на пост военного министра. Такая же штабная крыса как и вы. Он провалил тест пол-года назад. Ему выпал курорт в горах, где он когда-то проводил свадебное путешествие. Бедняга слетел с катушек, наломал кучу дров и в конце концов пустил себе пулю в лоб.

Фортейн ощутил неприятный спазм в животе. Он очень смутно помнил заголовки зимних газет. Перестрелка на популярном горнолыжном курорте. Как же быстро такие новости исчезают в чехарде ежедневных сообщений о терактах по всему миру.

— Ладно. Допустим это я могу принять. Но почему это должны быть жертвы в нашей собственной стране? Неужели это не может быть где-нибудь в Африке, на Ближнем Востоке, на худой конец в Восточной Европе?

Ларссон поднялся со своего кресла, уперся побелевшими костяшками кулаков в стол и пригвоздил полковника ледяным взглядом своих мутных глаз.

— А что, мирные жители Северной Кореи, которые неизбежно погибнут в результате бомбардировок, решение о которых будет принято коалицией уже на днях, чем-то провинились? Их женщины и дети, которые погибнут от ракет, пущенных вашей рукой, в чем-то виноваты? Разве провинились чем-то люди Ирана, Ирака, Афганистана, Сирии и Ливии? Если военный министр собирается своими действиями при-

нести неизбежную смерть невинным, то его не должно волновать кто эти невинные. Вы будете рассылать гибель из этого кабинета, и вы должны знать, каково это чувствовать, когда простые люди умирают от вашей руки. Иначе у вас нет никакого морального права взваливать эту ответственность на ваших подчиненных. Лишь тогда вы будете готовы к этой должности, когда своими глазами увидите убитых вами людей. Когда ощутите на себе их угасающий вопрошающий и полный немого упрека взгляд.

Генерал умолк, и в кабинете на минуту опустилась тишина. Министр и кандидат сидели друг напротив друга, пытаясь найти ответы на свои вопросы в глазах собеседника. Фортейн наконец не выдержал:

— Я все равно не понимаю... Как это стало возможным?

Ларрсон покачал головой и погрозил полковнику указательным пальцем, как маленькому шкодливому ребенку.

— Фортейн, Фортейн, вы задаете неправильные вопросы. Вас не должно волновать как. Вам этого все равно не понять. Вы — человек из совершенно другой реальности, из мира канцелярских отчетов и инвентарных комиссий. Вам никогда не понять психологию людей, настоявших на принятии этого теста. Не пытайтесь — вам это недоступно. Все что вам необходимо знать, это то, что тест БЫЛ принят. Какими бы ни были аргументы его сторонников — они оказались достаточно вескими для современников, и вам никуда уже от этого не деться. Вы свободны.

Полковник взял папку со стола и молча вышел из кабинета.

3

К пяти утра к дому Фортейна подъехал черный микрофургон разведслужбы. Полковник сел в него и рассеянным взглядом уставился в окно. Он провожал глазами мелькавшие за окном мирные пустые улицы и одиноких пешеходов. Машина долго петляла по эстакадам и наконец остановилась у старого ангара в промышленной зоне на краю города. В сопровождении двух сотрудников разведки Фортейн вошел внутрь.

Внутри было пусто и тихо. Только в одном из углов стоял грузовик с большим прицепом. Один из сопровождающих открыл двери трейлера и перед Фортейном показали длинные заполненные стенды. Автоматические винтовки, гладкоствольные ружья, пистолеты, револьверы, снайперские вин-

товки, пистолеты-пулеметы — огнестрельное оружие всех сортов и модификаций.

— Вы уже выбрали экипировку? — бесцветным голосом спросил сопровождающий.

Фортейн вздрогнул и оторвал взгляд от стендов. Ему до сих пор не верилось в реальность происходящего.

— Да. Я возьму вот эти винтовку, пистолет и магазины к ним.

— Это все? Вы уверены, что вам больше ничего не нужно?

Полковник нервно сглотнул и еще раз осмотрел стенды.

— И нож.... я возьму нож.

Сопровождающий кивнул и углубился в трейлер. Спустя пару минут он вернулся с оружием в руках. Второй тем временем разложил на столе у стены остальное снаряжение.

— Бронежилет четвертого класса, огнеупорный камуфляжный костюм, очки, плотная балаклава, персональное средство связи, микрокамера.

Фортейн растерянно оглядел снаряжение.

— Это правда все необходимо?

Сопровождающий только пожал плечами:

— Оружие выбираете вы, но все остальное снаряжение прописано в регламенте теста. Мы будем контролировать и сдерживать активность полиции и групп спецназа в районе. Должна быть исключена малейшая вероятность того, что с вами что-то произойдет. Собирайтесь, через четверть часа вы должны быть готовы.

Полковник облачился в камуфляжный костюм, одел бронежилет, снарядил оружие и боеприпасы и направился к выходу из ангара Там его ожидал все тот же черный микрофургон и двое сопровождающих.

— Вам все известно. Тест завершится либо как только вы убьете десятерых человек либо по истечению часа. С вами будет постоянно поддерживаться связь. Несколько машин с бригадами будет дежурить рядом с вами в течение всего времени. Вас заберут как только вы завершите задание, но думаю излишне вам говорить, что чем быстрее вы все сделаете, тем лучше. Если же что-то пойдет не так, вы будете ликвидированы согласно регламентам теста. Подтвердите, что вы все поняли.

Фортейн нервно сглотнул и сжал в кулак предательски дрожащие ладони. С этим нужно было покончить. И чем скорее, тем лучше.

— Да, я все понял. Давайте начинать.

Пассажиры сели в фургон, который спустя секунды стремительно направился к старому городу. Сердце Фортейна билось как колокола на пасху, кровь стучала в виски. Потными руками он прижимал к себе винтовку, снова и снова повторяя про себя, что у него нет выхода. Он пройдет через это и раз и навсегда положит конец этому безумию.

Фургон притормозил у одной из старых улочек в туристическом районе. Безликий сотрудник разведки взял Фортейна за плечи, последний раз окинул взглядом его экипировку, проверил работоспособность камеры и микрофона. Потом посмотрел ему в глаза и сказал:

— Время пошло. Постоянно поддерживай связь.

Дверь фургона распахнулась, и Фортейна вытолкнули в мягкую прохладу утра.

Улицы старого города были заполнены средневековыми особняками, старательно хранимыми городской управой. Это было популярное место для туристов.

«Здесь не должно быть семей... не должно быть семей...», — повторял про себя Фортейн, — «только туристы. Это будет не сложно».

Он бежал по узкому проулку, огибая мусорные контейнеры и припаркованные автомобили. Персональное средство связи хранило молчание, но полковник знал, что каждое его движение фиксирует микровидеокамера. «Бред, какой же все это бред», — снова и снова эти слова крутились в его голове, — «я должен с этим покончить поскорее».

— Пять минут, — коротко пискнул голос в наушнике и снова замолк.

Проулок закончился, и Фортейн выскочил на улицу пошире, нос к носу столкнувшись с четырьмя молодыми парнями. Им было лет по восемнадцать. Пьяные и растрепанные они вразвалку шли по тротуару, возвращаясь с ночного загула по барам и клубам. Слова пошлой частушки замерли у них на губах, когда из переулка появилась закамуфлированная фигура полковника.

— Отличный прикид, — протянул один из ребят, его друзья загоготали и полезли в карманы за телефонами, — ты из «Соляриса» или «Веги»? Можно с тобой сфоткаться?

Фортейн стоял не шелохнувшись. Секунда шла за секундой. Ребята продолжали смеяться и уже сделали пару его снимков. Наверное это плохо, а может быть и все равно — он ведь

в маске. Но если его потом узнают по фигуре? Вряд ли, бронезжилет и обвесы сделали её неразличимой. Интересно, такие костюмы действительно кто-то носит в клубах? Разум Фортейна лихорадочно плавал в этих бессмысленных вопросах, сковывая его движения, уводя его в сторону от цели, подготавливая провал этого теста.

— А можно твой ствол подержать? — один из ребят уже подходил ближе и протягивал вперед свои худые юношеские руки.

— Фортейн? — наушник снова ожил, — Фортейн, вы в поря...

Полковник резко поднял винтовку к плечу и выпустил длинную громоподобную очередь по группе подростков, заглушив голос в наушнике. Стаи голубей взвились в небо с крыш всех домов квартала.

Трое подростков лежали на тротуаре, заливая узорчатую плитку своей кровью. Четвертого, который почти подошел, отбросило к стене дома. Он медленно сползал по ней, оставляя за собой красные разводы.

«Вот и все, — подумал Фортейн, — «Совсем и не сложно. Сразу четверо. Я сделал уже почти половину».

Он опустил винтовку и физически ощутил напряжение в своих руках. Ноги затекли, будто он простоял на месте битый час. Полковник поспешил к следующему переулку.

— Один из них жив, — раздалось у него в ухе, — Не зачет. Парень в желтой футболке еще жив.

Фортейн оглянулся. Один из юношей действительно слабо шевелился и постанывал. Пули попали ему в правую руку и куда-то в район живота. Вряд ли он протянул бы даже полчас без медицинской помощи.

— Не зачет, — упрямо продолжало раздаваться в наушнике, — три смерти засчитано.

Полковник поднял винтовку и прицелился парню в голову. Закрыв глаза и нажал на спусковой крючок.

— Четыре смерти засчитано, — услышал он голос в ухе.

Фортейн развернулся и не глядя на дело своих рук побежал дальше.

К его удивлению, одна винтовочная обойма была уже пуста. Он даже не заметил, как разрядил одной очередью почти все тридцать патронов.

«Тридцать патронов на четырех человек. Это много. Оставалось еще два магазина. Плюс пистолет. Плюс еще его две обоймы. Это дополнительно восемьдесят четыре патрона. Дол-

жно хватить. Или я взял три обоймы для пистолета? Не помню. Нужно взять себя в руки, нужно быть экономнее. Я много трачу»

Предательские мысли отчаянно пытались спастись в холодных математических расчетах и безликих цифрах. Фортейн почти не замечал монотонного голоса в наушнике:

— Зарегистрировано пятнадцать звонков в полицию. Пятеро из звонивших заметили вооруженного человека. Вызванные наряды контролируются. Ориентировочное оставшееся время теста — двадцать минут.

Полковник бежал трусцой, лихорадочно обшаривая взглядом окрестности переулка. Вдруг его глаза поймали испуганный взгляд симпатичной девушки. Вместе со своей подругой она пыталась спрятаться за припаркованный автомобиль и с ужасом глядела на приближающегося Фортейна.

«Красивая», — на космическое мгновение позволил подумать себе Кристен, повернул на ремне винтовку и тут же залил проулок шквалом автоматического огня. Стекла автомобиля и фасад ближнего дома разлетались мелким крошевом. Между узких стен исторического переулка стоял оглушительный грохот. Растерзанная пулями девушка неподвижно лежала на брусчатке. Её подруга, истекая кровью, медленно ползла к стене дома. Фортейн без промедлений достал Вальтер и выстрелил несколько раз ей в спину.

Наушник не переставая бубнил что-то ему в ухо. Число свидетелей и выехавших патрульных машин, обстановку в районе. Но Фортейн уже не слушал.

«Это же францисканский переулок. Кажется шестнадцатого века. Четыре. Я видел программу по телевизору. Или читал про него где-то. Еще четыре. Интересно, собор остался сзади или я его еще увижу? Там красивый купол, я помню. Только еще четыре».

Из входной двери углового дома показался силуэт охранника в голубой форме. Наверняка возвращался домой с ночной смены. Мужчина увидел приближающегося Фортейна и автоматически потянулся к кобуре на поясе, но спустя мгновение развернулся и попытался скрыться в здании. Кристен жал на гашетку пока механический стук в затворе не просигнализировал об еще одной пустой винтовочной обойме. Тело охранника лежало в густой луже крови, сочащейся из трех ран в спине.

Дорога вывела полковника на широкую улицу. Где-то непо-

далеку уже слышался вой полицейских сирен. У здания спортивной школы невысокий мужчина лихорадочно копался в карманах в поисках ключа от автомобиля, нервно озираясь на проулок, из которого только что слышались выстрелы. Его жена и восьмилетний сын испуганно жались друг к другу за его спиной.

Повернув за угол, Фортейн столкнулся с ними нос к носу.

Мужчина замер со связкой ключей в ладони. Его молодая жена с дрожащими губами крепко вцепилась в руку ошеломленного мальчика...

Внутри ускользящего из города фургона Фортейн стянул с себя насквозь мокрую черную балаклаву и жадно хватал ртом душный воздух. За окном с воем проносились полицейские машины и кареты скорой помощи. Сотрудники разведки молча забрали у него оружие и бронежилет, осмотрели на предмет ран и ушибов. Первая помощь не понадобилась. Один из них протянул полковнику мобильный телефон.

Кристен поднес его к уху и услышал скрипучий голос Ларссона:

— Я удивлен, полковник. В конце концов, вы оказались не такой уж тряпкой, как я думал. Поздравляю вас. Ничего не хотите мне сказать?

Фортейн молчал. Его били судороги. Рот исказился в безобразной гримасе, а слезы на лице смешались с потом.

— Ничего страшного. Я жду вас вечером у себя в кабинете. Утрясем последние формальности. Вы прошли тест.

4

Двери распахнулись, и полковник стремительным шагом вошел в знакомую полутьму министерского кабинета. Нервный мандраж уже спал с него, но на лице все еще лежала печать бледности. Фортейн с силой сжимал кулаки и метал взглядом яростные молнии.

Ларссон сидел на своем кресле, повернувшись к небольшому экрану в стене кабинета. Рассеянный вечерний свет контрастно очерчивал его профиль с сухим крючковатым носом, узким клином старческого подбородка. Он глядел как на дисплее сменяют друг друга кадры бойни в францисканском переулке. Это была запись с камеры Фортейна.

— Ты — мерзкий отвратительный ублюдок, — выплюнул Ларссону полковник, — первое что я сделаю завтра из этого

кресла — это раз и навсегда отменю это чудовищное безумие. Я не знаю, как вам удавалось столько лет хранить все в тайне, но завтра с этим будет покончено.

Генерал остановил запись и повернулся лицом к Фортейну. Старик был спокоен и задумчив.

— Конечно, Кристен, конечно. Завтра этот кабинет будет в вашем распоряжении. Смотрели телевидение вечером? Служба разведки уже предоставила неопровержимые улики того, что за всем стояли диверсанты Северной Кореи. Видите, во всем есть светлые стороны. Администрация всегда умела превращать даже самые неприятные для нее вещи себе во благо. Теперь ваши руки развязаны для вступления в коалицию. Общественное мнение вам не помеха.

Полковник ничего не сказал. Он думал о совершенно других вещах. В его голове словно на видеозаписи генерала продолжали проигрываться события сегодняшнего утра. Фортейн приблизился к столу, уперся в него побелевшими костяшками и хриплым и срывающимся голосом закричал на генерала, выплескивая всю накопившуюся за день боль:

— Этический тест? Вы называете это этическим тестом? Думаете, это действительно имеет какой-то смысл? Думаете, кому то от этого легче? Мне, вам? Мир что, стал справедливее? Я стал справедливее, моральнее?

Ларссон молча выслушивал все упреки, которые бросал в его лицо полковник. Он не прятал глаза, не отворачивался, не показывал ни малейшего признака сожаления или тем более раскаяния. Он только дождался пока Фортейн выплеснет всю свою ненависть. А после ответил размеренным и даже в чем-то успокаивающим тоном:

— Что вы! Я вовсе не считаю это моральным. И вы совершенно правы — легче от этого никому не становится. Мир не стал справедливее, в нем вообще мало что изменилось. Уже через неделю люди забудут о сегодняшнем утре.

— Тогда какой смысл? Ради чего все это? За что умерли эти люди? Зачем вы обрекли общество на этот варварский бесчеловечный обычай?

— Общество? Нет, общество здесь не при чем. Фортейн, вы все еще удивительно наивны. Десять невинных смертей никак не повлияли на мир. Не пытайтесь читать между строк. Это испытание, Фортейн, это не кровавая дань от общества, это испытание только для вас. Оно не сделало вас добрее или моральнее. Оно не сделало вас гуманнее, не сделало силь-

нее, отнюдь. Но оно сделало вас искренним перед самим собой, сделало вас чище. На вашей новой должности вы убьете еще очень много людей. Убьете их росчерком вашего пера, нажатием клавиш и кнопок, словами и приказами. И вас будут уверять, что это не вы повинны в смертях людей. Кто угодно, но не вы — нет! Что их убило безразличие и безответственность их правительства, убило несовершенство законов, что их убили пилоты, наводчики, танкисты, пехотинцы, убили снаряды, ракеты, бомбы и пули, убили холод, голод, отчаяние и ужас. Но это все будет ложь. Этот тест необходим для того, чтобы вы никогда не забывали кем вы являетесь на самом деле. Вы — убийца. Вы — палач. Вы — монстр. Фортейн, вы и я — мы чудовища. И до конца своих дней мы должны это помнить. Помнить, каждый раз, когда будем видеть свое отражение в зеркале. Этот тест подарил вам искренность.

Полковник давно уже затравленно молчал. В его мыслях творился мельтешащий хаос. Он бессильно свалился на кресло и уткнулся головой в мокрый на груди от холодного пота китель. Слабым голосом он спросил:

— И как? Значит вы довольны? Тест сделал то, ради чего предназначался?

— Вас интересует, что я думаю? Извольте. Я думаю, что этот тест несовершенен. Я глубоко убежден, что такого испытания недостаточно для человека, который должен сесть в это в кресло. Для настоящей же искренности этот тест слишком прост. Я считаю, что претенденту нельзя использовать ни огнестрельное, ни холодное оружие. Любой посредник между убийцей и жертвой должен быть устранен, как отчуждающий и облегчающий дело элемент. Претендент должен убить своих жертв голыми руками — свернуть им шеи, выдавить глаза, размозжить головы. Бессмысленная ненависть одного должна напрямую уничтожить другого. И жертвы не должны быть случайными. Этими жертвами должны стать их собственные семьи. Претендент должен уничтожить их, стереть их в порошок, умыться кровью своих жен, детей и родителей. Так и только так он завоюет право лишать жизни жен, детей и родителей других. Только так!

И тогда Фортейн впервые увидел настоящего Ларссона. Дрожащего седого старика с трясущимися губами, с обезображенным от бушевающих его эмоций лицом, с бездонной тьмой в глазах.

«Он безумен... совершенно безумен...», — тихо шептал

Фортейн.

В гробовом молчании прошло несколько минут. Ларссон наконец поднялся из кресла, кажется ему стало чуть лучше. Он медленно подошел к экрану и достал диск с записью.

— Вы славно прошли тест. Даже у меня вышло в свое время не так хорошо, а ведь у меня был за плечами опыт одной из самых страшных войны в истории. Но такой опыт, — стэрик помахал диском в руке, — это нечто совершенно иное. Вы далеко пойдете в этом деле.

Фортейн молча уставился на диск. Он и забыл что все, что происходило сегодня утром записывалось на камеру. Все до последней секунды.

— Что? Вы переживаете, что эта пленка может быть использована против вас? — генерал снова подошел к столу и положил диск в пепельницу, — Не занимайте голову такой ерундой. Вы же читали регламент теста. Эта пленка — она нужна только лишь для меня — для вашего предшественника. Она должна была освежить мою память. Хотя в этом не было нужды, — военный министр умолк на мгновение, его рука чуть дрогнула, — Я и так никогда и ничего не забывал.

Ларссон достал из стола зажигалку, поджег фитиль и поднес пламя к пепельнице. Диск с записью сморщился и сторел.

— Завтра вы будете свободны поменять все, что сочтете нужным. Все так долго уже этого ждали, я был последней помехой. Согласие военного министра — непременно условие для отмены теста. Вы ведь читали регламент, вы это знаете, — Ларссон подошел к Фортейну и положил руку на его плечо, первый раз прикоснувшись к своему преемнику, — Но это будет завтра. А сегодня вас ждет еще кое что.

Ларссон по-отечески приобнял полковника за плечи и провел его к окну, через которое ускользали последние лучи дня.

— Сегодня вас еще ждет ваша первая новая ночь, когда вы останетесь с новым собой один на один. Потом их будет еще много. Но эту вы запомните навсегда.

5

Генерал Фортейн поднимался на лифте на последний этаж здания военного ведомства в свой кабинет. Рядом с ним двое молоденьких девушек референтов отдела по связям с общественностью тихо обсуждали последние новости.

Кристен не смотрел на них, он стоял лицом к стеклу и молча скользил по нему своими голубыми глазами. Референтки

думали, что он любит открывающимся сверху видом безмятежно спешивших по своим делам горожан. Но это было не так. Солнце сегодня светило особенно ярко.

Лифт остановился. Увлеченные беседой девушки не торопились выходить. Кристен потер ладонью жесткую трехдневную щетину на подбородке и быстро вышел из кабины, грубо задев плечом одну из референток. Кажется, она уронила папку с документами, генерал не обратил на это внимания.

В холле он молча переглянулся с секретарем, чуть кивнул и прошел в свой кабинет. Стол военного министра был уже очищен от всех следов пребывания там его предшественника. На гладкой поверхности лежали три стопки новых документов. Первая содержала в себе предварительные материалы по совещанию о принятии участия в коалиции против Северной Кореи. Фортейн знал, что решение о вхождении в коалицию уже фактически принято президентом, и совещание — не более чем пустая формальность. Вторая состояла из перечня запросов из администрации главы государства, от членов военных штабов и от руководителя службы разведки на сворачивание программы этического тестирования военных министров. Среди них было и личное письмо от президента, выражающего одобрение от скорого прекращения этой процедуры. Президент предложил внести соответствующие изменения в устав уже на ближайшем секретном заседании. В письмах всех без исключения начальников военных ведомств легко прочитывалось удовлетворение и полная поддержка этой инициативы. На вершине лежала подготовленная секретарем резолюция о дате проведения секретного заседания. На ней не хватало только подписи Фортейна.

Последняя стопа состояла из свежей прессы. Центральной новостью всех газет продолжала оставаться бойня в старом городе. Все полосы были заняты материалами расследования, показаниями очевидцев и комментариями экспертов по терроризму и международной политике. Только на последних страницах можно было прочитать короткое сообщение о самоубийстве бывшего министра Ларссона. Он застрелился из наградного пистолета ночью сразу после своей отставки.

Военный министр Фортейн медленно поднялся из кресла и

подошел широкому к окну. Наполовину задернутые шторы все еще загораживали комнату от солнечного света. Маленькие точки видимых сквозь стекло горожан продолжали как ни в чем не бывало торопиться по своим делам. Фортейн постоял минуту на освещенном пространстве, затем резким движением задернул шторы до конца. Кабинет погрузился в сумерки.

Военный министр снова сел в кресло и во мраке уставился на проект резолюции созыва секретного совещания по отмене этического теста. Его била крупная дрожь. В гробовой тишине кабинета было слышно как Фортейн негнущимися пальцами разрывает документ из гербовой бумаги.

Ольга ПІДЛІСНА

«І від Лесі до Ліни вдихаю жіночність твою...»

* * *

Л. Єлисеєвій

Рядки короткі — подиху стає
переступити... зупинюсь на слові
якомусь... Знаю, пишеш про своє,
та наче все — моє: і біль любові,
і радість світла в Божих небесах,
і гіркота зчорнілого полину,
й кохання смуток, і землі краса...
Думки і відчуття птахами линуть
з твоїх садів — іще передзимових, —
в мої ліси оголені, осінні...
Розчарування крихтами, насінням
останніх сліз з руки годую їх.
Сестра моя? Колега? Залюбки!
Чи по нещастю подруга неждана?
Чи просто жінка — не чиясь кохана, —
та, що кохає — вщент і навпаки!
Такі близькі оті твої рядки,
ті барви юності, ті серця калатання,
іржа війни, весняні пелюстки,
а над усім — надія на кохання!
Тож, дякую — за вишеньку рясну,
що в незабутнім досі ще вціліла...
Даруєш ти надію на весну.
А до гріха немає віршам діла!

* * *

Сніги зійшли, і горами сміття
Прикрашена сплюндрована країна.
Десь кольорові кульки та життя,
А тут — розпука, безлад і руїна.
Вздовж залізниці вітер дме — пляшки,
Пакети, целофанове лахміття...
Чи це безладдя ми лишаєм дітям?

І в голові й в повітрі — матюки!
Моя країна — гордість і краса —
чом ми тебе не в змозі захистити?
Чому керують злодії й бандити?
Чому мовчать байдужі небеса?
Молитися, чи вже тікати геть?
Чи будувати тин навколо себе?
Якого біса тій Європі треба?!
Жили ж собі... То звідки взявся гедзь
Отой страшний, що розум усипля?
І мовчимо, люддохне тисячами...
Народе, друзі, скільки ж ми мовчали,
Воно ж відсутнє — плаття короля!
Зросте травичка, листя піднесе,
Закриє ліс сумні сміттеві гори —
У нас все добре — бо, як геть із зору,
То й з серця — геть... та, може, й пронесе?...
У центрі місьць великих — красота,
Тут виметено, чисто, й на газоні
Підстрижена травичка... Наче в «зоні»
Тарковського — підсніжна гіркота...

* * *

Дарувати малюнки, картини, букети, пісні,
вірші — кращі рядки — дарувати, мов ліки від болю.
Дарувати надію — приходити світлом у сні,
Дарувати себе — відчайдушно, відверто, з любов'ю.
Є, хіба, на землі щось приємніше радісних дій —
Дарувати будь-що: добрий погляд, веселку, хмаринку...
Ось тобі — задарма — так, нізащо — бери, володій!
Просто посмішка щира — її не купити на ринку.
Може, він і не всім — той дарунок — прийде до душі.
Прагне золота хтось, а комусь вже і цього не досить...
Є ще й інші — для них посміхайся, малюй і пиши!
Всім даруй, хто бажав, і тому, хто ніколи не просить.
Головне — від душі. Не питаючи потім про те,
Скористався, чи ні, хтось твоїм подарунком на користь...
В землю падають зерна, травиця добром проросте,
Подаруєш іще, і подумаєш: Господи, впоравсь!

Чим пахне літня ніч? — Твоїм коханням, любий!
У міксі трав і рос — веселки запашні,
Солоні очі зорь, такі солодкі губи...
Ті запахи щораз спливають у мені,
Як літню ніч вдихну, — відразу все згадаю:
І шурхіт хвиль морських, і килим трав'яний,
І тягне знов і знов у нам відомі далі...
Та, наче Кітеж-град, гойдаються вони
У люстерці води, а справді їх немає.
Є аромат лише... Лець подиху стає
Вдихнути літню ніч — духмяну і безкраю,
Та видихнути спів, бо це вже не моє...

ХОРТИЦЯ

Де водяний струмінь притримала міць Дніпрогесу,
Розводить безсило руками могутній Дніпро, —
Немов зупинився сучасний годинник прогресу:
Тут волі козацькій дала Катерина «добро».
Тут давнюю воїнську славу віднайдено нині —
На Хортиці, в центрі, є курінь козацький новий,
Та шаблі дзвенять не насправді в новій Україні —
Вистава! І грошик за гроші кує «кошовий»...
Бо це — реконструкція... Там, де зриваються скелі
У прірву Дніпровську, і катер повільно пливе
Повз кинуті стіни, готелів колишніх пустелі, —
Руїни радянські, хоч дещо і нині — живе...
А поруч з водою бік острова скроні оголив,
Дуби велетенські, колись ще тонкі та стрункі,
Сюди не дістались сармати, татари, монголи...
А коні козацькі тут воду хлібали з ріки.
Ці скелі колись слугували притулком для волі,
Вони пам'ятають ті давні славетні часи,
Коли панували козаки у Дикому полі.
А нині — лунають сучасних «бродяг» голоси.
У цьому куточку так затишно плескають хвилі,
Зміючки живуть, пропонують з пивком беляші.
Непросто дістатись — там злічені сходинки хилі,

Бо тягнуть і тягнуть вантаж, наче ті мураші,
І «сцену» збирають по дошці, і ставлять намети.
І люд прибуває у цей незбудований дім,
Де грають гітари, і вірші читають поети,
І острів співучий пливе крізь серпанок і дим...
Живе фестиваль, сьогодення єднаючи в часі
З минулим козацьким, з кільцем «трудових перемог»,
З майбутнім — неясним, та все ж з оптимізмом в запасі,
Бо ж пісня лунає, — наш голос надій та тривоги.
А посмішка щіра та пісня відверта — корисні!
Натомість, шкідливі нам туга, брехня та нудьга!
Так будьмо на Хортиці — нині, вівки і присно —
Любити, і пити, й співати — назло ворогам!

РЕЗЮМЕ

То й що, як є тепер звання і ступінь?
Чи їх з'їси? Чи дітям на взуття
Оте сміття? Чи зваряться у супі
Статті, байдужі до мого життя?
Чи стане хтось щасливіше, добріше
Від того, що у мене є диплом?
Шепоче голос внутрішній: «Вирішуй:
Вважати це досягнення добром,
Або забути, наче сон поганий,
Відкинути, мовляв, було, й сплило!...»
Навіщо ж стільки часу бездоганно
Я працювала на оте «фуфло»?
Тепер рахую — поряд з небокраєм,
Чи кілька днів відміряно іще —
Думки, мов жайворонки небо крають
Перед осіннім нищівним дощем...
І задумів, мов зірваного листя,
Та сплинув час, даремно сплинув час!
Дощів тепер чекатиму навмисно,
Допоки вогник творчості не згас.

ПАЗЛИ

Розсипались години, імена,
Роки, події, пахощі та звуки...
Клітинки пазлів — ті слова, ті руки,
той голос ніжний, що мені лунав, —
скарби, що приховала «про запас», —
перлини вартість втратили безцінну...
Даремно зберігаю кожний пазл,
з них не зібрати вже картинку цілу...
Де-інде залишаються дірки,
у пам'яті загублені провали...
Там, може, друзів сяяли зірки
Тих, що пішли кудись і їх не стало...
Там, може, десь світилися пісні,
Що їх співали ми у дружнім колі,
А ті, що поряд — неяскраві, кволі,
І ніби щось нагадують мені...
Та не вхопити спогади за хвіст, —
Змішалися й загублених багато...
Перебираю вірші, фото, дати,
Та йду вперед — непевний оптиміст.

* * *

Попри всі негаразди, чорнобилі, повіні, струси,
Попри сумніви й рани, здобуті в життєвім бою,
Я люблю тебе, земле Франка, Котляревського, Стуса,
І від Лесі до Ліни вдихаю жіночність твою.
Їх ліричні пісні — то питання: чи бачим красу ми?
Їх громадські рядки надихають: іди і дивись!
Тільки пильно дивись! Тільки крізь мішуру та посули
Вмій побачити справжнє, хоч лиха неміряно скрізь!
Ця родюча земля піднімає митців та поетів,
Хоч у кожні часи підрізають їм крила, авжеж!
Їх засмучені очі вдивляються сумно з портретів
У щасливих нащадків, бо воля і мова — без меж!
А нащадки і досі годують панів над собою,
Із завзятістю нищать братів, що тепер вороги.
А пани, попиваючи каву, штовхають до бою.

Пломеніє Донбас і Дінцеві горять береги...
Я наслідую вас, Лесе, Ліно, Василю, Іване...
Спадкоємиця мови, нащадок кривавих часів,
Край любитиму свій, скільки хисту і подиху стане,
І шукатиму правди не в тих, хто посади посів,
А у тих, що співають, що «митарі» в світі безмежнім:
Що душею беруть, не попустять злодійській брехні,
Тих, що люблять тебе, батьківщино моя незалежна,
Попри всі негаразди, і будуть братами мені...

Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ

РАЗ НА МАСЛЕНИЦУ

ЧАСТЬ 1. ПОНЕДЕЛЬНИК (ВСТРЕЧА)

С самого утра Исаакиевская площадь шумела и гудела. Тут были организованы балаганы, где давали представления во главе с Петрушкой и Масленичным дедом, вокруг которых толпилась раскрасневшаяся на морозе ребятня.

Молодежь, с веселыми песнями, неслась на санях и салазках с ледяных горок. То и дело, со всех сторон, слышался веселый, залиvistый смех. Где-то разносилась задорная песня:

А мы Масленицу повстречали,
Повстречали, душа, повстречали,
На Горбушке побывали,
Побывали, душа, побывали...

Шумной толпой мужики и бабы толкались возле лавок с различной снедью. Хоть на Маслену люд воздерживался от мясных кушаний, но все же, и тут наши люди выход нашли. Нельзя есть мясо, но ведь существуют молоко, творог, сыр и рыба.

— Мне блинок с творогом, — на прилавок торговке упала со звоном медная монета.

— А мне со сметаной!

Со всех сторон ко вкусным наедкам тянулись руки.

— Эх, народ, — зычным голосом прогудела дородная баба в красном праздничном платке, стоящая за прилавком, — разойдись, не толпись! — покрикивала торговка на собравшихся, — блинов много, всем хватит!

— А точно всем хватит? — прошамкал беззубым ртом дедок, топчущийся в самом конце очереди.

— Хватит, хватит! — толкнул деда локтем в бок стоящий

перед ним коренастый мужичек с длинной косматой бородой. — А коли не хватит, так петуха на палочке купишь! — бородач хохотнул, глядя на беззубый рот деда.

— Без блина не маслена, без пирога не именинник! — скороговоркой ответил старик.

Вдруг, мимо длинных торговых рядов, народных театральных зрелищ с клоунадой и комическими сценками, несущихся по кругу карусели деревянных лошадок с веселыми седоками, лихо промчались большие дровни. Мохнатая белая лошадка звонко выстукивала копытами по заледеневшим улицам. Народ, раскрыв рты, обратил взоры на украшенные разноцветными лентами сани.

— Ой, смотрите! — указал красноносый мальчуган маленьким розовым пальчиком на дровни, — Масленицу везут! — сорванец разинул рот, разглядывая нарядное соломенное чучело, разодетое в пеструю женскую одежду и насаженное на шест.

— Дорогая наша Масленица, — донеслось из саней до гуляющих, — Авдотьюшка Изотьевна! Дуня белая, Дуня румяная, — завели величальную песню в честь Масленой седоки.

— Коса длинная, триаршинная, — подхватили зеваки, — лента алая, двуполтинная, — подпевали все от простолюдина до знатного.

В это самое время, посреди ярмарочной площади, стала разыгрываться самая настоящая драма.

— Ах ты ж, кобелина разпоганый! — подперев руками бока, кричала розовощекая селянка, обращаясь к слегка пошатывающемуся худому, долговязому мужику.

— Так я, что? — изумленно округлил глаза долговязый, разведя руки в стороны, явно не понимая какая на нем вина. — Люсечка, я ж ничего!

Мужик, явно успевший отметить начало масленой недели, икнул и приблизился к своей зазнобе, пытаясь нежно ухватить, не в меру разбушевавшуюся женщину, за пухлый бок. За что и был встречен звонкой затрепачной.

— Ой, больно! — взвыл он.

— Поделом тебе! — Люсечка не собиралась успокаиваться. Она засучила рукава зимней телогрейки и с визгом вцепи-

лась в жидкие волосы ухажера. — Будешь знать, как на чужих баб заглядываться! — приговаривала она, тягая за чуприну подвыпившего мужичка.

Вокруг дерущихся быстро собрались толпы зевак. Кто-то из баб выкрикнул:

— Так ему и надо! Бей его!

На что мужской голос из людской гущи ответил:

— Да разве ж можно так?

— Ага! Ну, поглядел мужик на другую, — поддержал еще один мужской голос, — так, что ж его, тепереча, за это мордой в снег?

Началась перебранка. Кто-то улюлюкал, кто-то свистел. Потешался народ, даже и, не заметив, как в это самое время, чужие ловкие руки проворно шарили по людским карманам, вытаскивая из них все самое ценное.

— Ой, батеньки! — взвизгнула толстая торговка блинами, неосторожно отвлекшаяся на шум скандала и отошедшая от прилавка. — Люди добрые, да что ж это такое творится?! — баба охнула, указывая пальцем на свою лавку.

Там уже хозяйничал чужой мужик.

— Грабят! — завопила толстуха. — Держи вора!

Грабитель, застуканный на горячем, не растерялся. Он залихватски свистнул в подкрученные кверху усы и прокричал звонким голосом:

— Бежим ребята!

Как по мановению волшебной палочки, дерущиеся встрепенулись, пьяный мужик вмиг протрезвел, его подруга быстрым движением задрала подол длинной юбки и, как ни в чем не бывало, парочка кинулась наутек, в разные стороны, оставив позади себя недоумевающий люд.

Такого столпотворения Перепелицин — следственный пристав, отродясь не видывал в стенах сыскного управления. Народ толкался, пытаясь поскорее подать заявление. Складывалось впечатление, что праздничные гуляния переместились с ярмарочной площади в участок.

— Так, стало быть, — плотно закрыв дверь в кабинет, чтобы не слышать народного гула, сказал Перепелицин, — на масленичных гуляниях орудует целая шайка грабителей! —

Георгий Николаевич быстро смерил шагами кабинет.

— Так точно, ваше благородие! — согласился с приставом его помощник.

Через круглые очки мужчина заглянул в лист бумаги, исписанный мелким подчерком:

— Все потерпевшие утверждают, что мошенников было трое, — Геннадий Алексеевич нахмурил редкие русые брови, — двое, мужик и баба, значит, отвлекали горожан, разыграв перед ними целый спектакль с мордобоем, — помощник следователя ухмыльнулся, представив себе эту сцену.

Заметив строгий взгляд своего начальника, Геннадий попытался сделать как можно серьезнее выражение на своем лице.

— Значит, двое отвлекали, — продолжил он, — а третий, в это самое время, прошелся по карманам зевак! — мужчина отложил лист бумаги в сторону. — Где ж теперь эту банду сыщешь?

ЧАСТЬ 2. ВТОРНИК (ЗАИГРЫШ)

Второй день масленой праздновали шумно весело и широко. Люди сегодняшним днем пытались призвать еще больший достаток в будущем.

В этот день на улицах часто встречались большие группы ряженных. Шумными компаниями с песнями, шутками и прибаутками молодежь ездила по городу. Кто на тройках, а кто и на простых розвальнях.

— Айда, на ледяную горку кататься! — прокричал запыхавшийся от бега молодой парень в распахнутом тулупе.

Юноша махнул рукой и следом за ним, откуда ни возьмись, появилась стайка нарядных девчат. Толкаясь и кидаясь, друг в дружку снежками, молодежь со смехом поднималась на заледеневшую высокую гору, чтобы быстро скатиться вниз. Кто-то тащил за собой на веревке деревянные салазки, кто-то нес подмышкой простую дощечку. А некоторые, особенно отчаянные головы, спускались проще — на ногах.

Снова, как и вчера, в торговых рядах, бабы вытаскивали на прилавки горячие, с пылу, с жару, зарумяненные блины,

жареную рыбу в сметане, пироги с разными начинками и другие вкусные наедки.

Народ гулял, позабыв про вчерашнее происшествие. Из-за угла на площадь, звеня колокольчиками и бубенчиками, резво выехали сани, запряженные тройкой вороных, украшенные цветастыми лентами, развивающимися на морозном ветру. В санях сидели ряженные, маскированные.

Тройка лихо подъехала к одному из больших зажиточных домов и тут же остановилась возле крыльца. Под пристальным взглядом проходивших мимо зевак с облучка спрыгнул молодой мужик. Лицо приехавшего закрывала маска с крученными бараньими рогами. Мужик громко постучал кулаком в дверь и пробасил:

— Отворяй, хозяин, Масленица приехала!

Дверь с легким скрипом отворилась. На пороге появился заспанный мужчина. Не понимая, что происходит, он закрутил головой в разные стороны, разглядывая ввалившуюся без спросу в дом веселую компанию.

— «Благослови, мати, весну закликати!» — запели хором пришедшие, окружив хозяина дома.

— «Рано, рано, весну закликати!» — донесся из-под яркой маски приятный, мелодичный женский голос.

— «Весну закликати, зиму провожати!» — подхватили остальные двое.

Ряженный в баранью голову весело ударил по струнам: «Рано, рано, зиму провожати!»

Началось театральное представление. На шум и задорные песнопения собрались все домочадцы. Дети и взрослые, раскрыв рты, наблюдали за веселым домашним концертом, организованным тремя незнакомцами в их гостиной.

Маскированные свистели, загудели в дудку, забили в бубен и резво разбежались в разные стороны по всему дому, придав театрализованному действию еще больше пикантности. Домочадцы бросились догонять гостей. Со звонким смехом люди носились из комнаты в комнату.

Встретившись у порога, честная компания низко поклонилась хозяевам:

— Спасибочки за теплый прием! — сказал ряженный с голо-

вой барана, — Благодарствуйте от Масленицы!

Спустя несколько часов пристав сыского управления со своим помощником прибыли на место происшествия.

— Уже четвертый дом за сегодняшний день! — покачал головой Георгий Николаевич, осматривая пышное убранство ограбленного имения.

— Это да! — согласился с начальством Геннадий Алексеевич.

Мысленно мужчина подивился этакой прыти грабителей. «Ну, надо же!» — ахнул он, — «так легко втираться в доверие и прямо на глазах у хозяев, под видом домашнего представления, обносить их жилища!»

Составив список похищенных ценностей, сыщики удалились. Нужно было, во что бы то ни стало, в лепешку расширяться, а злоумышленников отыскать.

ЧАСТЬ 3. СРЕДА (ЛАКОМКА)

Среда открыла угощения во всех домах блинами и другими яствами. Каждая хозяйка накрывала на стол. На улицах города, словно грибы, появлялись шатры и палатки. В них продавались пряники медовые, горячие сбитни, каленые орехи. И тут и там, прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно было отведать чаю со сладостями.

В деревнях в складчину варили пиво. Вечерело.

— Эх, и угораздило же нас в такую глушь заехать! — Перепелицин огляделся по сторонам, рассматривая заснеженный деревенский пейзаж.

Плетеные заборы, покосившиеся от времени домики. Георгий Николаевич тяжело вздохнул, слезая с саней:

— Жди нас здесь! — крикнул он вознице, сидящему на облучке, — пойдете, Геннадий Алексеевич! — обратился мужчина к своему помощнику и твердым шагом, пробираясь через снежные заносы, направился к одному из сельских домов.

Оказавшись внутри, Перепелицин оглядел собравшихся. В большой комнате, рассевшись по лавкам, находились все местные мужики. Народу было столько, что не протолкнуться.

Деревенские были сильно огорчены. Ну, еще бы, ведь мужики надеялись пива выпить, да вот незадача — тот, кого еще с утра послали в город, на закупы, бесследно исчез в неизвестном направлении, вместе с собранными на данное мероприятие деньгами. Вот и выходило, что ни пива, ни денег!

— Мы так думаем, — пробасил здоровый пузатый мужик в заячьем тулупе, — наверное, посланца нашего ограбили, а может и того хуже! — говоривший поднялся с лавки и приблизился к приставу, — Спасать человека надобно! — заключил он.

— А что это за человек? — поинтересовался Геннадий Алексеевич, выглядывая из-за широкой спины начальника.

Мужчина достал из внутреннего кармана небольшой блокнот и принялся записывать показания.

— Человек хороший, — собравшиеся дружно закивали головами, подтверждая сказанное.

— Из местных? — задал свой вопрос Перепелицин.

Деревенские загудели в один голос:

— Заезжий!

Помощник сыщика ахнул:

— И вы вот так запросто отдали незнакомцу деньги? — мужчина поправил круглые очки, которые от удивления съехали на кончик носа.

Мужики пожали плечами:

— Так... — медленно протянул худощавый мужичок средних лет, — человек ведь надежный!

Пристав сысского управления озадаченно приподнял брови:

— Помилуйте, — развел он руками, дивясь такой доверчивости, — с чего ж вы решили, что человек этот надежный?

— Нам так сказали, — тихонько откашлявшись, в комнате, появилась хозяйка дома, — у меня на рассвете семейная пара останавливалась! — женщина вышла на середину комнаты и поправила цветастый платок на плечах, — Они и сказали.

— Что за пара? — заинтересовался Перепелицин.

«Что-то тут явно было не так!» Баба пожала плечами:

— Обнаковенная пара, — селянка задумалась, будто вспоминая чего, — из зажиточных, муж с женой! — немного помолчав, продолжила она. — Такие врать не станут!

— А как выглядели? — вода по блокнотному листу карандашом, полюбопытствовал помощник Перепелицина.

Баба почесала затылок:

— Так обычно, женщина простодушно улыбнулась, одарив собеседников лучезарной улыбкой и, стала в подробностях расписывать своих гостей. — У бабы той волосы темные, сама она тетка пышная, — селянка попыталась руками показать округлые формы заезжей, — сапожки у ней красные, сафьяновые. А платок-то у нее, ну просто загляденье! — глаза говорившей заблестели, вспомнив красивый нарядный платок.

— А мужик? — перебил свидетельницу Георгий Николаевич, понимая, что описание одежды может затянуться надолго.

— Долговязый, худощавый, — махнула рукой баба, — волосенки жиденькие, глянуть не на что! Тьху! — она сплюнула на пол.

Мужчины переглянулись. Уж больно это описание знакомым им показалось.

— А гостью вашу случайно ли не Люсечкой звали? Георгий Николаевич прищурил большие карие глаза, с нетерпением дожидаясь ответа.

— Ага, — кивнула селянка, — точно так муж ее и называл.

ЧАСТЬ 4. ЧЕТВЕРГ (РАЗГУЛ)

В «широкий четверг», на который припадала середина недели забав и веселья, проходили жаркие масленичные кулачные бои. Ох, и любит же народ «кулачки». Возле заледеневшего катка собрались кучками охотники поиграть. Мужики с шумом и гамом делились на враждебные стороны.

— Эй, Федот, ходь сюды! — махали руками собравшиеся с одной стороны катка, зазывая в свою команду здорового, рослого детину.

Натянув на руки нарядные рукавицы, Федот придирчиво оглядел две противостоящие оравы, явно решая к кому присоединиться. Не долго думая, здоровяк определился и, скользя по льду, переваливаясь с ноги на ногу, словно большой косяпый медведь, двинулся к зовущим.

Со всех сторон каток окружали зеваки, любители поглазеть на масленичный мордобой. Все, от мала до велика, с нетерпением ждали свистка, после которого, на заледеневшем участке площади и начиналось само действие.

То и дело в толпе появлялись люди, которые зычными голосами зазывали собравшихся делать ставки на ту, или иную команду.

— Эй, народ, не жидись! — покрикивал молодой мужичок, с заливчатски подкрученными кверху усиками, — ставь деньги на костромских! — не унимался он, — с ними Федот-кузнец!

— Да на каких костромских, — послышался недовольный голос из толпы, — лучше на печорских, — выкрикнул из людской гущи высокий, худощавый мужик в завязанной под подбородком шапке-ушанке, уговаривая толпившихся делать ставки на другую команду, — копейку ставишь — прогудел долговязый — рубль получаешь! — скороговоркой произнес он.

— Да где ж такое видано, подивился топчущийся возле зазывалы дедок, — чтоб за копейку рубль давали?

— Что б ты в коммерции понимал? — оттолкнул недоверчивого старика молодой курносый парень, протягивая долговязому медяк.

Со всех сторон зазывалу окружили люди. Толкаясь, горожане наперебой спешили поставить деньги на печорских, чтобы сорвать приличный куш.

— Копейку на костромских ставишь — два рубля получаешь! — пробасил второй зазывала, с подкрученными усиками, явно не желая оставаться не у дел. Услышав, что можно получить еще больший выигрыш, народ, словно оголтелый, бросился ко второму коммерсанту. Все хотели враз разбогатеть, даже не задумываясь, с каких таких барышей им выигрыш выплачивать будут.

Вдруг, откуда нм возьмись, рядом с долговязым появились две фигуры в форменной одежде. Мужчины ловко подхватили зазывалу под руки:

— Вот ты, голубчик, и попался! — довольным голосом произнес Георгий Николаевич, порядком продрогший на студенном ветру. — С самого утра тебя, голубчик, ищем! — улыбнул-

ся в тонкие черные усики следственный пристав, заламывая руки попавшегося за спину.

Долговязый, не понимая в чем дело, ошарашено завертел головой, ища глазами подмогу, но увидел, что и у его приятеля дела обстоят не лучше. Со всех сторон к нему приближались крепкие мужчины в штатском, но с явно полицейской выправкой. Задержанный попытался вырваться из цепких рук, но у него это не вышло. Тогда мошенник громко свистнул, привлекая к себе внимание главаря шайки.

Тот, услышав тревожный сигнал, обернулся. Заметив, что его подельника скрутили, мужик в мгновение ока растолкал собравшихся вокруг людей и кинулся к заледеневшей площади, на которой вот-вот должен был начаться кулачный бой.

Мужик, не мешкая ни минуты, прыгнул на лед и заскользил через весь каток, пытаясь оторваться от погони. Оглянувшись на ходу, беглец заметил, что преследователи совсем близко и от них не уйти. Выход оставался один. Он выхватил из кармана свисток, и что было мочи, дунул в него.

Тот же час рослые, здоровые мужики в нарядных рукавицах, решив, что это сигнал для начала боя, ринулись на лед, стенка на стенку, тем самым дав возможность грабителю скрыться от погони.

ЧАСТЬ 5 ПЯТНИЦА (ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРА)

— Такой план сорвался! — стукнул по столу тяжелым кулаком Авдей, подсчитывая нанесенный из-за срыва аферы убыток.

Он глянул из-под нависших на глаза бровей на пышнотелую селянку, сидящую возле окна и обхватившую руками голову:

— Что ж теперь с Семеном будет? — причитала баба. Слезы катились по ее раскрасневшимся щекам.

— Да-а-а! — медленно протянул сидящий, отодвинув в сторону горсть монет, выдуренных у людей на кулачных боях. — Семен — мужик обстоятельный, коли б не он, то и я б пропал! — мужичок горько усмехнулся в подкрученные усы. — Да ты, Люська, не грусти.

Авдей поднялся с лавки и быстрым шагом приблизился к убитой горем женщине:

— Я этого так не оставлю! — сквозь зубы процедил он, вспоминая довольное лицо пристава.

Эх, как бы ему хотелось стереть эту самодовольную ухмылку с лица Перепелицына.

— Ну, ничего, — мужчина похлопал по плечу рыдавшую Люсю, пытаясь ее подбодрить, — этот хлыщ мне еще за все ответит! И за сорванную операцию, и за пойманного подельника, и за твои слезы! — заключил он.

Ближе к вечеру, в одном из городских домов готовился пир горой. Женщины суетливо бегали возле накрытого стола, заставляя его праздничными блюдами. Здесь были сочные кулебяки, пироги с квашеной капустой, рыба жареная, вареники с разными начинками, оладьи с пылу, с жару.

— Зять на двор — пирог на стол! — приговаривала дородная хозяйка дома, держа в руках поднос с пирогами.

Женщина была в отличном настроении, как-никак любимый зять на блины приехать должен.

— Придет зять — где сметанки взять?! — хозяйка весело подмигнула своей дочери и тут же, рядом с горкой зарумяненных блинов появилась крынка сметаны. — Ну-у-у... — медленно протянула раскрасневшаяся матрона, приблизившись к окну и выглянув на улицу. — Где твой муж, Катерина?

Молодая женщина улыбнулась матери:

— Да вы, маменька, не переживайте, — Екатерина Перепелицына поправила светлые русые волосы, аккуратно уложенные в красивую прическу.

В больших зеленых глазах мелькнули озорные искорки.

— Как только в управлении работу закончит, так сразу и придет!

Не успела женщина договорить, как раздался громкий стук в дверь.

— О-о-о! — радостно воскликнула Катя. — А вот и он! — женщина опрометью бросилась к двери.

— Ох, сумасшедшая! — вслед дочери крикнула мать. — Чуть с ног не сшибла.

Хозяйка еще раз придирчиво оглядела накрытый стол и за-

стыла с распростертыми объятиями, ожидая Георгия с Катериной.

Прошло пять минут, десять, а молодожены так и не появились. Женщина, устав ждать пока пара натешится друг другом, отправилась к входной двери:

— Никого! — удивленно пожала плечами она, выйдя за порог. — Куда ж они подевались?

Хозяйка нахмурила темные брови и, уж было собралась вернуться в дом, да остановилась. Под ногами, в снегу, лежал свернутый вдвое лист бумаги. В нем крупными печатными буквами была написана непонятная фраза «Коли женку свою опять увидеть захочешь — приведешь Семена завтра к главным воротам потешного города для обмена!»

ЧАСТЬ 6. СУББОТА (ЦЕЛОВНИК)

Каждый день масленичной недели сопровождался широкими застольями. В субботу невестки принимали у себя родных. Молодая должна была встречать каждого гостя рюмкой водки и троекратным поцелуем.

На улицах, как и во все дни масленицы, продолжались праздничные гуляния. Самой любимой народной забавой в этот день была игра «взятие снежного города».

Именно здесь, на берегу заледеневшей реки, где стояла, выстроена из снега большая крепость с башнями, обнесенная высокими заборами, и была назначена встреча грабителей с Перепелицыным для совершения обмена.

В этом царстве зимы было очень людно. Возле возведенного города, разбившись на две противостоящие стороны, толпились участвовавшие в забаве. Одни обороняли крепость, а другие — нападали на нее, пытаясь ворваться внутрь через ворота и, разрушить ледяной городок.

Сквозь толпы зевак неслись всадники верхом на лошадях, пытаясь с наскока взять потешный город и тут же молодежь со свистом, с шумом, с криками окружала седоков, забрасывая их снежками. Бабы визжали и улюлюкали, пугая несущихся лошадей, тем самым не давая возможности наездни-

кам ворваться в снежную крепость.

Среди зевак, и тут и там, встречались рослые широкоплечие мужчины. У всех на лицах виднелись следы побоев. У кого-то под глазом расплылся большой синяк, у кого-то ссадина на губе, а у кого и шишка на лбу. Помятые во время вчерашнего «ледового побоища» служащие сысского управления блуждали среди праздничной толпы, выискивая глазами того, кого упустили во время вчерашней погони. Теперь у них к беглецу, кроме служебного долга, появились и личные счеты. Мужчинам не терпелось поскорее схватить мошенника, из-за которого им на масленичном бою намяли бока.

— Ох, чует мое сердце, неспроста он это место выбрал! — озираясь по сторонам, произнес Геннадий Алексеевич, внимательно всматриваясь в лица прохожих.

Георгий Николаевич в ответ молча кивнул, в глазах сыщика виднелась тревога. Мужчина железной хваткой держал руку долговязого, нескладного мужика, которого задержал накануне.

— Если с головы моей жены, хоть волос упадет, — процедил он сквозь зубы, толкнув в бок заключенного, — вся ваша шайка у меня по этапу, на рудники пойдет!

Мужчины приблизились к большим воротам ледяного замка.

— Эй, народ! — взвизгнула пышнотелая баба, указывая пальцем на Перепелицына и его помощника, которые только что подошли ко входу в потешный город, держа под руки Семена.

Мужчины были одеты в штатское, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

— Они хитростью в потешный город проникнуть хотят! — не унималась женщина, будоража народ. — Вон, смотрите, возле ворот, вражины, трутся!

Такого поворота событий Перепелицын не ожидал. Он попытался возразить, но его слова заглушил гул приближающейся оравы. Молодые хлопцы и девки кинулись на защиту своей крепости. В Георгия Николаевича и его помощника со всех сторон летели снежные комья, льдинки, лошадиный навоз.

— Я пристав сысского управления! — выкрикнул Перепелицын, пытаясь перекричать окружившую их толпу.

Но его голос потерялся в шумном оре нападавших. Мужики

и бабы наступали все ближе и ближе, не давая возможности попавшимся вырваться. В суматохе и толкучке Георгий Николаевич как можно крепче вцепился в задержанного Семёна, понимая, что все происходящее – это хитроумный план мошенников, чтобы отбить подельника.

Помощник Перепелицына, тщетно пытаясь увернуться от тумачков и затрещин, все же кое-как сумел выхватить из внутреннего кармана свисток.

— Держитесь, Георгий Николаевич, — выкрикнул он, стараясь перекрычать галдящую ораву, — сейчас подмога придет!

С этими словами мужчина что есть мочи засвистел, и тут же увидел, как к его лицу приближается чей-то большой кулак.

Очнувшись, Геннадий Алексеевич увидел, что он лежит в сугробе. Из носа тонкой струйкой стекала кровь. Помощник Перепелицына сел, держась рукой за голову, по которой то и дело ему прилетало от разъяренной толпы. Мужчина огляделся по сторонам, выискивая взглядом начальника.

Его взору предстала удивительная сцена — народ больше не кидался снежками, не кричал, не дрался. Люди, раскрыв рты, стояли кольцом и наблюдали, как полицейские скрутили коренастого мужика с подкрученными кверху усами. Задержанный брыкался, вырывался и ругал на чем свет стоит блюстителей закона. Рядом, понурив голову, стояла та самая селянка, которая еще полчаса назад, натравила на них гуляющих. Шефа нигде не было.

Вдруг чья-то крепкая рука легла на плечо Геннадию Алексеевичу. Сзади послышался голос Перепелицына:

— Ну что? Оклемались?

Мужчина, обрадованный тем, что с любимым начальником все в порядке, повернул голову. Позади, стоял Перепелицын, обхватив за тонкую талию свою похищенную супругу.

— Если бы не вы, — произнес Георгий Николаевич, помогая подняться со снега своему протезе, — то дело бы плохо закончилось! — он потер рукой синяк, расплывшийся под левым глазом. — Вовремя подмогу позвали! — весело заключил мужчина.

ЧАСТЬ 7. ВОСКРЕСЕНЬЕ (ПРОВОДЫ)

По зимним городским улицам шествовал «масленичный поезд», во главе которого ехала сама Сударыня-Масленица. Наряженное в женскую одежду чучело сидело в больших санях, которые тянули трое молодых парней. Отовсюду звучали прощальные песни. За главными санями вереницей тянулись сани поменьше.

Выехав за околицу, кортеж остановился. Толпы зевак собрались поглазеть на праздничный костер. Чучелу Масленицы дали в руки блин и торжественно, на глазах у честного народа, сожгли на костре. Так люди, прощаясь с зимой, призывали весну.

— Одного я, начальник, в толк взять не могу, — пробасил Авдей, сидя на жесткой табуретке. Мужик с любопытством заглянул в строгие карие глаза пристава — как вы узнали, что мы на масленичном кулачном бою будем?

Этот вопрос, словно заноза, засел в голове грабителя, не давая ему покоя, именно с «кулачков» все пошло наперекосяк.

— Ведь об этой операции никто не знал!

Сыщик хитро улыбнулся:

— Ну-у-у... — медленно протянул он, не спеша дать ответ. — Это было совсем не сложно, — загадочно произнес Георгий Николаевич, — могу только одно сказать — тебя, Авдей, жадность погубила.

Так и не дав ответ на поставленный вопрос, Перепелицын молча, встал и вышел вон из кабинета. «Пусть мучается!» — подумал он — «У него как-никак теперь много времени появится, чтобы понять, где же он прокололся!»

На самом деле все было очень просто. Дедок, который на «кулачках» усомнился в том, что за копейку целый рубль получить можно, и позвал полицейских, патрулировавших площадь, чтобы те разобрались во всем и не позволили людей дурить.

Перепелицын вышел из управления и вдохнул полной грудью морозный воздух.

— Хорошо-то как! — радовался мужчина, глядя на проходивших мимо нарядных горожан.

А еще вчера ему было не до веселья. Перепелицын наморщил гладкий высокий лоб, вспомнив, как разъяренная толпа людей бросалась и кидалась на них. Хорошо, что подмога вовремя подоспела, скрутила мошенника, разогнала народ.

Все продумал Авдей, вот только не успел свисток предупредить. Поздно он Геннадия Алексеевича из строя вывел, ударив помощника сыщика кулаком в лицо. И подельника не отбил, и сам попался. Как только в руках пристава оказался, так сразу и рассказал, что Катерину, связанную, спрятал в потешном городе.

Георгий Николаевич облегченно вздохнул. Все было позади.

— А мы Масленицу провожали,

Провожали, душа, провожали, — со всех сторон доносилась песня, которой народ прощался с масленичной неделей.

На Горбушке побывали,

Побывали, душа, побывали.

Блином гору выстилали,

Выстилали, душа, выстилали...

Упрекал люд песнями Сударыню Масленицу в том, что она их разорила, все поела и посадила на Великий пост.

Поцелуй мавки

— А это, дети, цветок не простой! Иван-да-Марья его зовут.

Услыхал позади себя хриплым старческим, словно каркающим, голос Иван Игнатьевич. Частный сыщик повернул голову в ту сторону, откуда доносился разговор. На покосившейся скамейке, окруженная стайкой деревенской ребятни, сидела дряхлая старуха. Бабка поправила костлявой рукой черный платок на ее голове и обвела строгим взглядом собравшихся. В руках она держала красивый цветок с яркими желтыми и синими лепестками. Убедившись, что все присутствующие слушают ее, раскрыв рты, старуха продолжила:

— Цвет этот, аккурат, в прошлую ночь, до восхода солнца собрать нужно было.

Иван Игнатьевич медленно приблизился к скамейке, на которой сидела рассказчица, и остановился позади детворы, внимательно вслушиваясь в каждое слово.

— Так во-о-о-т, — нараспев протянула она, — если цветы Ивана-да-Марьи вложить в каждый угол избы, то вор ни за что в дом не войдет! — старушка довольно крякнула, хитро прищурившись. — Во как! — она поучительно подняла вверх указательный палец.

— А фто, вора цвет за порог не пустит? — прошепелявил тонкий детский голосок, привлекая к себе взоры окружающих.

— Ну, ты дурко, — ответил другой детский голос из толпы, — цветок здесь не причем, — мальчуган шмыгнув носом, — это все чары свое дело сделают. Правда, бабка Матрона? — детские глаза воззрились на старушку.

Тонкие губы травницы расплылись в довольной улыбке, глядя на эффект, произведенный ее рассказом.

— Вы оба правы. Каждый по-своему! — баба Матрона ласково глядела на ребятшек. — Вор напугается голосов, которые в избе услышит. Будет думать, что это хозяйка с хозяином беседу промеж собой ведут! — старуха хихикнула. — А

это будут голоса брата и сестры — желтых и синих лепестков.

— Брата и сестры? — переспросил все тот же шепелявый мальчишка и в нетерпении заерзал, сидя на зеленой душистой траве.

Старица закивала:

— Да-а-а... — прохрипела она, хитро прищурившись, словно вспоминая давнюю историю, — жили когда-то давным-давно брат с сестрой, близнецы. И совершили они промез собой большой грех, поэтому и превратились в один цветок с разными лепестками.

Старушка грустно покачала головой, глядя на пестрые лепестки красивого цвета.

— А-а-а, я понял! — воскликнул маленький Авдей, поднимаясь с травы, — это их голоса, Ивана да Марьи, я из вашей избы слышал, когда сегодня мимо вашего двора шел.

— Что это вы, милейший Иван Игнатьевич, остановились? — услышал сыщик за спиной голос управляющего. — Пойдемте скорее, вас уже барин, Савелий Поликарпович, заждались.

У мужчины нервно дернулся уголок рта. По всему было видно, что в поместье произошло что-то, ну прямо из ряда вон выходящее.

— Некогда нам здесь бабьи побрехеньки слушать! — Фрол Григорьевич безцеремонно потянул мастера частного сыска за собой, уводя подальше от деревенского люда. Так и не дав дослушать до конца занимательную историю.

— Да, да! — закивал головой Иван Игнатьевич, следуя за управляющим, — дело — прежде всего.

На ходу мужчина оглянулся и тут же встретился с колючим взглядом маленьких серых глаз старой травницы.

Оказавшись в рабочем кабинете местного помещика, Иван Игнатьевич Поддубный огляделся по сторонам. Помещение было большим светлым. Подобранный со вкусом дорогая мебель. Работы английских мастеров, стеллажи, уставленные современными книгами. Указывали на то, что хозяин — человек образованный, следящий за последними европейскими новинками. Одним словом, не дремучий деревенский медведь, а вполне современный барин Иван Игнатьевич сильно этому подивился. Вся эта новомодная обстановка ну никак

не подходила Савелию Поликарповичу Горностаеву. Это был солидный мужчина средних лет с густой ухоженной бородой. Он больше походил на человека старой закалки. Представить себе Савелия Поликарповича с томиком, таких модных нынче в высшем свете, скабрзных фельетонов было совсем невозможно.

Сыщик удобнее устроился в предложенном кресле и немигающим взглядом больших карих глаз воззрился на собеседника. Хозяин кабинета тяжело вздохнул, пригладив могучей рукой густую бороду. Немного помолчав, видимо собираясь с мыслями, мужчина начал:

— Я нанял вас, милейший Иван Игнатьевич, потому, как дело у меня к вам очень деликатное, — барин замялся. Желваки заиграли на его лице, указывая на то, что случившееся может сильно ударить по репутации всего благородного семейства.

— Как вы понимаете, — подавив приступ бессильной ярости, барин продолжил свой рассказ, — дело конфиденциальное, не терпящее огласки.

Поддубный утвердительно кивнул. Он уже привык, что к его услугам прибегают только в случае крайней необходимости. Когда самостоятельно разобраться не выходит, а привлечь полицию нельзя, чтобы избежать ненужных пересудов.

Иван Игнатьевич внимательно смотрел на барина, не прерывая молчания. Ждал, пока хозяин кабинета успокоится, возьмет себя в руки и продолжит свой рассказ. Ожидать пришлось не долго, Савелий Поликарпович, наконец-то, справился с нахлынувшими эмоциями и ровным тоном продолжил, перейдя к сути дела:

— Вчера, как вам известно, господин Поддубный, был праздник...

Частный сыщик утвердительно кивнул, вспомнив рассказ местной ведуньи:

— Ивана Купала! — ответил мастер сыска, давая понять, что знаком с деревенскими обычаями, хоть и является городским жителем.

— Да, да! — довольно закивал помещик, в глубине души радуясь, что не придется проводить для гостя экскурс по ста-

рославянским традициям. — Так вот, — медленно, нараспев, протянул он, — у нас тут, на вчерашних гуляниях, какая-то чертовщина произошла, — Савелий Поликарпович запнулся на полуслове, не зная, как продолжить рассказ, чтобы собеседник не счел его душевнобольным.

Немного помявшись, мужчина заерзал в большом кожаном кресле, стараясь устроиться поудобнее. Пауза затянулась надолго. Сгорая от любопытства, Поддубный прервал затянувшуюся молчанку:

— Так, что же вчера произошло? — спросил сыщик совершенно спокойным голосом, давая понять собеседнику, что готов услышать любое продолжение истории, даже самое невероятное. Толи невозмутимость на лице Ивана Игнатьевича подействовала, то ли спокойный тон, но помещик вновь разомкнул уста, разорвав своим могучим басом звенящую тишину:

— Вчера, на праздничных гуляниях, чуть не утонул мой единственный сын, Захар.

Иван Игнатьевич удивленно приподнял брови:

— Помилуйте, уважаемый Савелий Поликарпович, — развел руками сыщик, — что ж в этом происшествии странного? В чем чертовщина заключается? — не понимая, для чего понадобились его услуги, Поддубный сверлил пытливым взглядом собеседника.

— Так ведь он не просто так чуть не утоп... — брови барина сошлись на переносице, — на глазах у всего села Захара моего под воду Палашка чуть не утащила! — барин обрушил на стол тяжелый кулак.

— Палашка? — переспросил мастер частного сыска, все еще не понимая, для чего он здесь.

— Местная селянка, — пояснил Фрол Григорьевич, который непонятно откуда появился в кабинете с подносом в руках.

Управляющий заботливо разлил по фарфоровым чашкам горячий ароматный кофе.

— Столько шуму среди местных наделалось, — продолжил он, подавая сыщику вкусный напиток, — ведь Палашка эта, уж почитай, месяц как утопилась! — пояснил Фрол Григорьевич, видя недоумение на лице гостя.

— То есть, как это утопла? — Окончательно запутавшись, переспросил Поддубный, поочередно переводя взгляд с хозяйки дома на управляющего.

— А вот так, — прогудел барин, заговорщицки переглядываясь со своим помощником.

Явно от сыщика пытались что-то скрыть. По роду занятий Иван Игнатьевич очень хорошо чувствовал такие вещи, но вида не подал.

— Влюбилась девка безответно, — продолжил пояснения Горностаев, — вот и пошла с горя на речку! — при этих словах мужчина размашисто перекрестился, — прости, Господи, душу грешную! Все видели, как она топилась, да остановить не смогли. Унесла ее быстрая вода так, что и тела по сей день не нашли! — заключил он.

Поддубный прищурился, щипая тонкий черный ус, ему нужно было как следует обмозговать услышанное:

— Чертовщина какая-то, — процедил он сквозь зубы, — а что с вашим сыном? — спросил мастер частного сыска, доставая из внутреннего кармана небольшую записную книжку.

Ведь каким бы запутанным не казалось это дело, в нем следовало хорошенько разобраться и как говориться — расставить все точки над «и».

— Мне нужно будет с ним обязательно побеседовать.

При этих словах лицо барина помрачнело:

— Захар, он... — голос мужчины предательски дрогнул, — конечно, вы можете его увидеть, вот только... — сильный волевой мужчина обхватил голову руками.

— Без сознания молодой барин, — снова встрял в разговор управляющий, — как только Захара Савельевича мужики из воды вытащили, так он в себя и не приходил! — Фрол Григорьевич бесшумно приблизился к столу и подал Савелию Поликарповичу большой шелковый платок.

— Лежит, наш соколик ни жив, ни мертв, — помещик громко высморкался, — я уж и докторов вызывал, да только никто сказать не может, что это за напасть. Очнется ли мой сын, или нет, им не ведомо! — заключил барин и тяжело вздохнул.

Иван Игнатьевич озадаченно смотрел на белоснежный блокнотный лист, не понимая в чем суть дела.

— Я вас, Иван Игнатьевич, почему нанял?! — густой бас хозяина дома вывел сыщика из оцепенения. — Ко мне сегодня, на рассвете, прямо из города, целитель один заезжал.

— Целитель? — заинтересовался Поддубный этим странным обстоятельством.

— Да-а-а, — медленно протянул помещик, — некий господин Люциус, слышали?

Иван Игнатьевич молча кивнул. Действительно, в последнее время, в городе появился некий маг и чародей. Давал этот субъект объявления о проведении магических сеансов. Поддубного передернуло. Ну, никак он не хотел верить во всю эту мистику.

— И чего же этот господин хотел? — сыщик вперил колючий взгляд в собеседника. Савелий Поликарпович смачно отхлебнул душистого кофею из чашки:

— Приехал ко мне, значит, этот господин Люциус, — глотнув ароматный напиток, продолжил хозяин кабинета, — и говорит, мол, знаю я, какое горе у вас случилось. Во сне, значит, увидел! — помещик скептически хмыкнул, — Так вот, сказал он, что это поцелуй мавки сына моего сгубил. А он, стало быть, помочь горю нашему может.

Оторвавшись от записной книжки, в которую, тщательнейшим образом, записывал каждое слово, Поддубный ухмыльнулся. «Попахивало дело явным шарлатанством!»

— И сколько зажелал за свою помощь этот субъект? — любопытство блеснуло в глазах мастера частного сыска.

— Миллион!

Поддубный услышав такое, не сдержался и громко присвистнул:

— Однако ж и аппетитец у этого чародея! — покачал он головой.

— Сказал этот Люциус, что только он помочь сможет. И времени дал до завтрашнего вечера.

Савелий Поликарпович от ярости стукнул кружкой по столу. Посудина звякнула, но не разбилась, только несколько капель пахучего кофею пролились на белоснежную скатерть.

— Да вы, милейший Иван Игнатьевич, не подумайте, — зычным голосом прогудел хозяин дома, ударяя себя могучим

кулачищем в грудь, — мне ради спасения сына ничего не жалко, — скупая слеза скатилась по раскрасневшемуся лицу, — да если б только знать, правда ли, что этот Люциус помочь сможет?! — барин смахнул каплю с толстой щеки. — Вот поэтому я за вами и послал! Разобраться бы надобно.

Первым делом, выйдя от Савелия Поликарповича, Поддубный отправился на местный почтамт и дал телеграмму в город, своему старинному приятелю — следственному приставу по особо важным делам Опрышко Александру Осиповичу. Необходимо было, не теряя времени даром, навести справки об этом маге и чародее. Узнать: кто таков? Откуда? Не был, ли замечен в каких-либо сомнительных предприятиях?

Пока Иван Игнатьевич дожидался ответа, решил прогуляться по деревне, пообщаться с местными. Очень уж невероятным дело казалось. Ну, никак не хотелось сыщику верить в то, что утопленница барского сына усыпила. Да и помещик со своим управляющим явно чего-то недоговаривали. В общем, как бы там ни было, а с местными в любом случае нужно потолковать.

— Здравствуйте, девицы! — Поддубный снял с головы шляпу и весело улыбнулся. Приближаясь к скамейке, на которой расположилась небольшая группка сельских девчат.

— И вам, господин хороший, доброго здоровья! — при виде молодого симпатичного барина, девки сорвались со скамьи и густо покраснев, сбились в игривую стайку.

Иван Игнатьевич приветливо подмигнул местным девчатам:

— А что, девицы, — весело начал он, — не скажите ли, где здесь Палашка живет? — безмятежно улыбаясь, спросил он, делая вид, что не в курсе произошедшего с девушкой горя.

Услыхав про утопленницу, селянки дружно перекрестились.

— Ой, барин, — вперед вышла дородная высокая деваха с толстыми румяными щеками, — вы, видать, не знаете, но утопла Палашка. Уж, почитай, месяц как! — грустно молвила краснощекая.

— Как утопла? — с напущенным удивлением спросил Поддубный, пытаясь разговорить собеседницу.

— А вот как, — отрезала девка, — влюбилась Палашка!

В подтверждение этих слов девчата дружно закивали.

— И что же, безответная любовь? — ахнул сыщик и сел на скамью, демонстрируя окружающим, что так быстро уходить, не удовлетворив своего любопытства, он не собирается.

Девицы, будто, только этого и ждали. Увидев в лице мастера частного сыска благодарного слушателя, затрепали наперебой. «Ох, девки! — мысленно ухмыльнулся Иван Игнатьевич, — Только дай им волю — все сплетни расскажут!»

— Отчего же безответно? — пожала плечами невысокая курносая девица, с любопытством разглядывающая незнакомца, — очень даже ответно! — хмыкнула она. — Палашка же у нас первая красавица, — девица осеклась на полуслове, — была, — тихо добавила она. — Вот и влюбился в нее наш молодой барин. Как из города приехал, увидал ее, так и влюбился.

— Захар Савельевич? — Удивленно приподнял брови Поддубный.

— Ага! — дружно подтвердили девчата, — Он самый, Захар Савельевич.

«Так вот, значит, что пытался скрыть от меня Горностаев старший!» — не отвлекаясь на свои мысли, мастер частного сыска перейдя на заговорщицкий шепот, тихо спросил:

— И что, случилось чего между ними? Оттого Палашка топиться пошла?

— Было промеж ними чего, али не было — этого никто не знает, — встряла в разговор еще одна девица, — да только утопла Палаша от того, что старый барин согласия на их свадьбу не дал! — девица поправила платок на своей русой головке. — Сказал, что Захара Савельевича проклянет и наследства ему не оставит.

Глаза сыщика округлились. Неужто все так далеко зайти могло? Но Савелия Поликарповича понять можно — это ж стыд-то какой, чтобы член именитого семейства решил связать свою судьбу с простолюдинкой?!

— Так стало быть, — медленно нараспев протянул сыщик, — испугался молодой барин отцовских угроз и отрекся от возлюбленной! — резонно заключил он.

— Ага, — собеседницы утвердительно закивали. — Вот бед-

ная Палашка и не выдержала этого, да и пошла на речку топиться.

— А что ж Захар? — глаза мастера частного сыска с любопытством сузились, дожидаясь ответа.

— Так, а что барин? — девки пожали плечами, — погоревал, как водится, да и забыл! — девчата горько вздохнули, словно сетуя на тяжелую женскую судьбу.

«Да, и впрямь, странно получается! Вроде, любовь такая была, что против отца пойти осмелился, а тут раз, и забыл в одночасье!» Крепко задумался об этом Поддубный и не заметил, как девицы, словно стайка игривых птичек, сорвались с места и разбежались в разные стороны, подальше от любопытного чужака.

— Эй, девчата, — прокричал вослед убегающим Иван Игнатьевич, отгоняя от себя роящиеся в голове мысли, — а где дом Палашки?

Хоть девка и утонула, а проверить кое-какие догадки стоило.

— Это вам, барин, к травнице Матроне идти надобно! — обернувшись, на ходу, звонко прокричала одна из девчат. — Это бабка ейная, у нее Палашка и жила.

Оказавшись возле покосившегося старого домика с соломенной крышей, Поддубный остановился.

— Уж мы, девушки, дело сделали, уж мы белую березоньку завили, — донеслись до ушей частного сыщика слова народной песни.

Поддубный огляделся по сторонам. Дом стоял на отшибе, людей поблизости не было. «Почудилось?!» — решил мастер сыска, но тут же по воздуху разнесся все тот же мелодичный девичий голос:

— Уж мы первый веночек — за матушку, уж второй-то веночек — за батюшку.

Тихонько, на ципочках, чтобы не спугнуть поющую, Иван Игнатьевич подкрался к двери и прислонил ухо к замочной скважине. «А третий веночек — за саму себя» — услышал он окончание песни из дома.

— Что вы здесь делаете? — хриплый старческий голос прозвучал прямо за спиной Поддубного. Тут же прекрасное пес-

ношение оборвалось, словно кануло в звенящую тишину. Сыщик резко развернулся на каблуках и встретился нос к носу с худой старухой в черном платке. «И откуда она взялась?» — мысленно выругался мужчина, злой на самого себя за допущенную оплошность.

— А я как раз вас, баба Матрона, поджидаю! — на мгновение глаза мастера частного сыска встретились с глазами старой ведуньи. «Сколько же в них злости!»

— А кто это, только что, так красиво пел? — решил разрядить обстановку Иван Игнатьевич.

— Акстись, барин, — недовольно фыркнула старуха, отворяя закрытую дверь, — нет здесь никого, — она жестом пригласила оторопевшего мужчину в дом и провела дряхлой рукой по воздуху, демонстрируя пустую комнату, — кому здесь петь? — травница вперила взгляд в лицо любопытному барину.

Поддубный заглянул внутрь. Действительно, комната была пуста. Вспомнил сыщик утренний рассказ бабы Матроны про цвет Ивана-да-Марьи и, рука сама собой потянулась, чтобы перекреститься.

— Я к вам, бабуля, по делу пришел! — наконец-то взяв себя в руки, сухо отрезал он.

— Знаю, о чем потолковать хочешь! О внучке моей! — старуха переступила через порог дома и тяжело опустилась на лавку, возле стола. — Только разговаривать тут не о чем — сгубили голубку мою, — бабка стукнула жилистой рукой по дубовой поверхности стола.

РаЕвгения ДЕРИЗЕМЛЯПоцелуй мавкиздосадованный тем, что разговора с травницей так и не получилось, Иван Игнатьевич Поддубный медленно возвращался к почтамту, куда уже должен был телеграфом прийти ответ от следственного пристава Опрышка. К радости мастера частного сыска, его уже ждала телеграмма, содержащая весьма интригующие факты из биографии господина Люциуса.

Внимательно прочитав ответ Александра Осиповича, в голове Ивана Игнатьевича Поддубного что-то щелкнуло, вмиг вся картина сложилась, словно пазл. Только одна деталь никак не хотела вписываться в сложенную версию. Но разгадка была уже совсем близка.

Уже на следующий день, вечером, как и было уговорено, к крыльцу богатого имения семьи Горностаевых лихо подъехала двуколка. Из нее одетый франтом, во все черное, как и полагается магу и чародею, вышел господин Люциус собственной персоной. Встреча с Савелием Поликарповичем прошла быстро, без сучка и задоринки. Получив свой миллион в кожаном чемодане, колдун передал убитому горем отцу склянку с какой-то непонятной жидкостью и наказал напоить этим настоем спящего беспробудным сном Захара Савельевича. К огромной радости безутешного родителя, Горностаев младший открыл глаза и наконец-то пришел в сознание, как ни в чем не бывало. От свалившегося на голову такого неожиданного счастья в имении был организован пир горой. Иван Игнатьевич был в числе приглашенных. Все пили, ели, сидя за щедро накрытым столом. Играла веселая музыка. Напившись допьяна, хозяева и гости разошлись по комнатам. Все вокруг стихло, только где не где слышался приглушенный храп захмелевших господ.

Вдруг, среди ночной тиши, в которую было погружено поместье, раздался легкий скрип одной из дверей.

— Началось! — Поддубный вскочил на ноги.

После шумного праздника, он, не раздеваясь, лежал на застеленной кровати, дожидаясь развязки дела. Мужчина в предвкушении увлекательного приключения потер руки и тихонько выскользнул из отведенной ему комнаты. Стараясь остаться незамеченным, он пошел следом за скользившей в ночном полумраке тенью. Сыщик держался поодаль, прячась за густыми кустами и стволами деревьев. Незвестный с большим чемоданом в руках то и дело останавливался, чтобы передохнуть. Сразу было видно, что поклажа в его руках не легкая. Этим самым он только упростил слежку, хотя мастер частного сыска и так догадывался, куда именно направляется странная тень. Не прошло и получаса, как неизвестный оказался в доме бабки Матроны, как и предполагал Поддубный. Одинокое светящееся в непроглядной тьме окошко, словно служило ориентиром, притягивая к себе мастера частного сыска.

— Так, так, так. Ну, и что тут у нас? — резко распахнув

дверь, Иван Игнатьевич молниеносно ворвался внутрь дома. — Как же вам не стыдно, Захар Савельевич, родного отца обманывать? — ухмыляясь спросил сыщик, глядя на застывшего посреди комнаты с большим чемоданом, молодого барина.

Горностаев младший от неожиданности выронил поклажу из рук и обернулся на звонкий голос мастера частного сыска.

— Как вы догадались? — ошарашено пробормотал он, удивленно хлопая большими голубыми глазами.

За его широкой спиной, испуганно ойкнув, пряталась невысокая миловидная девица. Да и остальные двое: бабка Матрона и господин Люциус, были огорошены появлением чужака, не ожидали, что их тщательно спланированное предприятие будет так легко раскрыто.

— Вот и хорошо, — довольно протянул сыщик, разглядывая собравшихся, — вся, так сказать, шайка в сборе! — самодовольная улыбка не покидала загорелого лица Поддубного.

— Как я догадался? — повторил он вопрос. — Просто вы, милейший Захар Савельевич, вечером ничего не пили, хотя в высшем свете вас знают, как кутилу и любителя шумных застолий. Вот, мне и стало ясно, что именно сегодняшняя ночь все расставит на свои места! — сыщик большими шагами прошелся по комнате, оглядывая каждый сантиметр. Остановился мастер сыска, только наступив на крышку люка, что вела под пол.

— Полагаю, что именно здесь вы прятались, госпожа Палаша? — Поддубный постучал ногой по деревянной крышке. — Это же ваше пение я вчера днем слышал, когда к вашей бабушке навевывался?!

Девица густо покраснела и прижалась к широкой спине своего возлюбленного. Ну что сказать? Девка и правда была чудо, как хороша. Большие зеленые глаза, обрамленные веером густых черных ресниц. Милые русые кудряшки. «Молодого Горностаева можно понять!» — отметил по себя Иван Игнатьевич, разглядывая смущенную деву. Все вокруг молчали, не зная, что сказать. Сыщик тяжело вздохнул и продолжил свой монолог:

— Я так понимаю, что историю с вашим утоплением, Палаша, разыграли специально, чтобы усыпить бдительность гос-

подина Горностаева старшего? — поинтересовался Поддубный, приблизившись вплотную к Захару Савельевичу.

— Он согласия на наш брак не дал! — понурил голову, словно провинившийся ученик, тихо ответил пойманный на горячем помещик.

— Конечно, не дал! — резюмировал незванный гость. — Вот вы и решили из отца денег побольше выдурить, чтобы со своей зазновой укатить отсюда куда подальше. Туда, где вас никто не знает.

— В Европу, — вновь разомкнул уста провинившийся.

— Я так и думал! — хмыкнул Иван Игнатьевич. — Мне только интересно, кто весь этот план придумал? — поочередно переводя взгляд на каждого из присутствующих, полюбопытствовал Поддубный.

— Моя это идея! — послышался вкрадчивый голос мага и чародея.

— А-а-а, господин Лютиков, — понимающе кивнул головой сыщик.

— Люциус! — поправил чародей.

— А по документам вы значитесь, как Лютиков Зосим Архипович двадцати восьми лет, — процитировал полученную телеграмму мастер частного сыска, доставая из внутреннего кармана нагрудного жилета свернутый вдвое лист бумаги. — Интереснейшая личность, — продолжил Поддубный, заглянув в телеграмму, — шарлатан и аферист, зарабатывающий себе на жизнь обманный путем! — именно так отзывался о маге следственный пристав.

Давно полиция уже наблюдала за сомнительной деятельностью этого господина, вот только поймать его с поличным на мошенничестве никак не получалось.

— Я колдун в третьем поколении, а не шарлатан!

— Ага, — скептически кивнул головой сыщик, — вы ведь родом из этой деревни? — спросил Поддубный, хоть и сам знал ответ.

— Это мой внук! — услышал он позади себя голос старицы Матроны.

Вот, теперь и последняя часть пазла встала на свое место.

— Бабушка Матрона, — сыщик воззрился на старушку не-

мигающим взглядом, — это ведь вы дали внуку своему волшебное зелье, которое барина разбудило. Не отпирайтесь, он был у вас вчера утром. Его же голос местный мальчуган слышал из вашего дома?

Старуха и не думала отпираться, она молча кивнула:

— Я и сон-травы дала! — фыркнула она, недовольно вперив взгляд в непрошеного гостя.

— Ну да! — улыбнулся сыщик, обнажив белые ровные зубы, — чтобы Горностаев младший уснул крепким сном, — резюмировал мужчина. А миллион вы как делить собирались? — озорные искорки мелькнули в глазах говорившего.

— Нам с бабкой денег не надо, — заступаясь за родных, вышел вперед Зосим Архипович, — это все ради счастья сестры! — чародей приблизился к влюбленным и обнял Палашу за плечи.

— Ну, и что мне с вами делать?

Сыщик устало опустился на лавку. Эти пара дней его сильно вымотали. С одной стороны он выполнил поставленную задачу — молодой барин пришел в себя, как того и желал заказчик. А с другой стороны, как не рассказать Горностаеву старшему о прокрученной за его спиной афере, сыщик не знал...

Наталья ВАСИЛЬЕВА

КРОВАТЬ С ШИШЕЧКАМИ

Виктории

За окном плотно лежала темень, выла вьюга, швырялась снегом. В отделении хирургии встречали 1947-й год. На столе – чем богаты, тем и рады. Завотделения Анатолий Петрович твердой рукой разлил чистый, прозрачный самогон – бабка одна гнала, на травах настаивала.

– Ну, будем, – сказал он и поднял стакан. Все выпили до дна, кроме двоих: медсестры Веры и молодого хирурга Виктора Ивановича.

Ольга Васильевна, сестра-хозяйка, крупная женщина под пятьдесят, спросила нежным, чуть треснутым голосом:

– Что же вы, Витя, не пьете?

За столом разлилось напряженное молчание. У Виктора сковало горло:

– Принцип, – коротко ответил он, и напряжение спало: есть такие мужчины, у которых слово – закон, скажет – как отрежет.

Анатолий Петрович обновил и произнес тост:

– Ну, тогда за тебя, Виктор. Всего тебе в наступающем году: и жену хорошую, и чтоб дети у вас были...

Виктор Иванович посерел лицом, сцепил зубы, сжал кулаки. Самогон был крепким, жмурились долго, никто не заметил этой перемены, кроме Веры.

Она сидела прямая, как струна, по-прежнему не пила и почти ничего не ела. Вера прикидывала в уме: если уйти сейчас, в семь, то оторвется от коллектива, а это ей совершенно ни к чему. Зато уже к половине восьмого она будет дома, сядет за работу, и ей, возможно, удастся лечь к двум и поспать часа четыре. Останется за столом и уйдет в восемь –

тогда спать останется три часа, тогда и ложиться нет смысла...

Поначалу говорили мало, больше пили – не от веселья, а тоски сердечной и горечи под языком. Вере казалось, как будто всех пьющих заключили в круг, а они с молодым хирургом оказались вне его. У нее засосало под ложечкой от тоски, от своей ненужности. Она взглянула на Виктора Ивановича: тот думал о чем-то, уставившись в одну точку. «Что же бабы в нем находят-то?», думала она, разглядывая его из-под опущенных ресниц. Высокий, чуть сутулый и худой, в юности, он, наверное, был хорош собой. Вид у него был уставшим, между бровей пролегла морщина, губы сжаты в черту, щеки впали, под глазами, темными, как угли, пролегли тени. Седины в волосах было довольно много, и не скажешь, что ему тридцать с небольшим...

«Оно и понятно», – рассуждала про себя Вера, – «где сейчас найти молодого мужика здорового? Почти все женщины в отделении незамужние или вдовы, вот и кружат около него роєм... Правда, не интересны они ему. Ольга Васильевна супчик принесла в обед, поблагодарил, съел и молчок. Катька задом вертит и так, и эдак, тот ноль внимания. Клавка ворчит, придирается по мелочам, так он извинится и опять молчит. Вообще ни о чем, кроме работы, не говорит».

Хмель начал брать свое, лица размякли, подобрали, появились улыбки. Медсестра Катя, Верина ровесница, вдруг бросилась ухаживать за Виктором Ивановичем:

– Что же вы сидите с пустой тарелкой? – щебетала она, – вот вам и картошечки отварной, и колбаски (первый сорт!), и галеты американские. Конину вяленую пробовали? Нет? Обязательно съешьте кусочек! Вкус удивительный! Селедку любите? Нет? Тогда салатик, салатик ешьте, сама нарезала...

Катя быстро наполнила тарелку, и стала смотреть, как он будет есть. Виктор Иванович сдержанно поблагодарил, взял вилку, и стал пробовать, откусывая маленькие кусочки.

Вера подумала: «Оттого они с ума по нему сходят, что не знают ничего о нем. Кто такой? Откуда? Почему одинок?»

В середине октября Виктор Иванович пришел в больницу ночью, прямо с вокзала. Точно знали о нем только то, что указал в анкете: 35 лет, партийный, прошел всю войну, имеет

орден Красной Звезды. Все, остальное, что говорили о нем, было выдумкой чистой воды.

Ольга Васильевна пихнула Катю в бок:

– Отстань от человека. Лучше за Петровичем поухаживай.

Владимир Петрович, анестезиолог, был низеньким крепеньким мужчиной за сорок. Он воевал, был плешив, слегка крив и хром (говорил, что-то не так срослось под коленом). Он всегда был в меланхолии, имел задумчивый взгляд, полный тоски. Но в отделении его любили, Петрович был миролюбивым и очень спокойным, любил петь, знал не только народные, но и современные песни, у него был красивый, густой баритон.

Пока Катя угощала его салатом: «Ешьте-ешьте, сама нарежала...», Владимир Петрович сидел, подперев рукой щеку и, глядя с тоскою куда-то вдаль, вдруг запел:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Все замерло, разомлевшие лица сидящих за столом стали похожими друг на друга. На припеве все грохнуло дружно:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

Виктор открывал рот, как будто и он поет тоже, а у самого на душе разлилась такая тоска, хоть в петлю лезь. Захотелось домой, но дороги назад уже нет...

Вере казалось: все поют, только она, как рыба, звуков не издает, но не до песен ей, у нее дома лежит рукопись Смирнова, профессора из терапии, ее нужно успеть набрать до утра... Какая там «Священная война», какой там «Синий плащечек», ей сегодня точно ночь не спать!

Затянули «Застольную», на этом терпение Виктора Ивановича лопнуло. Он устал, больше всего ему хотелось просто лечь и выровнять спину, которую крючком скрутило от сидения на табуретке. Все ему было чужим здесь, тоска по родным местам, домам и улицам, знакомым лицам, сжирала его.

Когда песня закончилась, Виктор встал и резким жестом поправил пиджак:

– Мне пора.

Ему не перечили.

«Как вовремя!», – обрадовалась Вера и тоже встала:

– И я пойду.

Никто и ее не стал удерживать. Веру не то чтобы не любили – недолюбливали. Не сплетничала, шуры-муры ни с кем не заводила, была деловита, упряма, тверда, как гранит. Не смотря на то, что Вера была ленинградкой, в ней было что-то от провинциалки: та же цепкость, целеустремленность, неугасающая вера в лучшее. Остальные на ее фоне блекли – этим и раздражала. Вера всегда знала, кому надо дать, у кого можно взять, кому доброе слово, а кому – и улыбки хватит. Врачи ценили ее за умение молчать и интуитивно понимать, что от нее нужно, в те минуты, когда говорить некогда. Анатолий Петрович особенно дорожил Верой и метил ее в старшие медсестры.

Виктор Иванович оделся сам, подождал, пока Вера залезет в валенки и замотается в платок, подал пальтецо. Они пожелали всем спокойной ночи и вышли, и как только за ними закрылась дверь, Клавдия Семеновна, старшая медсестра, прошипела:

– Сука. Увела мужика.

Она была из тех женщин, которые за столом молчат, зато на партсобраниях говорят громче и дольше всех. Муж у нее сгинул без вести, детей у них не было, тоска распирала ее изнутри, вот она и лезла в чужие дела.

– Перестань, Клава, ну не с тобой же ему спать? – примирительно сказал Владимир Петрович. Он считал ее неплохой теткой, которой просто не повезло, и жалел. – Витя мужик молодой, еще горячий. Вера баба хорошая, не лентяйка, на шее сидеть не станет. Блокадница, сирота, глядишь, если держаться за него будет, и срастется у них.

– Эта своего не упустит, – подала голос Катя, – но ей не до него! Она до работы злая – страсть, все ночи строчит на своем «Ундервуде», ей мужики побоку. Я вам сейчас такое расскажу...

Катя жила с Верой в одной комнате в общежитии, и никогда не упускала случая перебраться ей косточки.

– Я видела Верину спину, – прошептала Катя и округлила глаза, – шрамы, следы от ожогов, живого места нет.

Ольга Васильевна, охнув, схватилась за сердце. За столом повисло тягостное молчание. На каждом из них война оставила отметину на теле или душе, о многом не хотелось помнить, но забыть не удавалось.

Петрович сказал грустно, с щемящей тоскою:

– Впереди еще много трудных лет...

– Но самое страшное уже позади, – Анатолий Петрович разлил остатки самогона и поднял свой стакан, – давайте за это и выпьем, товарищи. За победу. За свободу. За то, что остались живы.

Все чокнулись, выпили до дна и зажмурились крепко, до слез.

* * *

На улице было совсем тихо, как глубокой ночью, хотя не было еще и девяти вечера. Вьюга утихла, но снегопад еще не закончился. Все было белым вокруг, и поэтому даже света единственного фонаря у входа в больницу было достаточно, чтобы увидеть посиневший кончик Вериного носа.

– Замерзли? – спросил Виктор, переминаясь с ноги на ногу. Они ждали трамвая уже довольно долго, и, судя по занесенным рельсам, рассчитывать им оставалось только на самих себя.

– Нет, не замерзла. – Вера не могла позволить себе признаться в том, что совершенно окоченела. Потом подумала, что Виктор, наверное, тоже замерз и не признается, и добавила. – Похоже, трамвая не будет, вон, сколько снега намело! Придется идти пешком в общежитие. Я покажу дорогу, тут недалеко, если дворами.

И они медленно пошли по свежему, легкому, скрипящему снегу.

"Какой он большой, – поймала себя на мысли Вера, – один его шаг – моих два, моя рука в его ладони утонет, высокий, как каланча, а не страшно с ним, хорошо и спокойно".

Подумала – и прикусила язык, как будто вслух сказала. Только сейчас она поняла, кем стала из-за войны, как покорежило ей душу, сжало в железный кулак. «Только бы выжить, – сту-

чало тогда в мозгу, – выжить, а потом...» А что потом? Скажите, когда оно наступит, дайте знак! Вера долго всем сердцем ждала это "потом", а оно все не наступало. Отчаявшись, она перестала ждать и стала выживать, как все тогда выживали – жить одним днем, сцепив зубы, без слез, без чувств, не признаваясь себе в усталости.

Виктор сбавил шаг, видел, что Вера не успевает за ним. «Смешная! – подумал он. – Молодая совсем еще, а вся – крепень, зубы сломаешь». Он уважал ее, ценил как толковую, умную медсестру, но сейчас впервые ему захотелось поговорить с ней, рассказать ей хоть немного из того, что заперто внутри. Виктор раньше думал, что можно жить так, чтоб ни одна живая душа не знала, почему ты одинок, почему не пьешь, почему не рассказываешь о прошлом. Оказалось, молчание душит почти физически, сводит с ума.

– Отвык я от таких снегопадов, – сказал он как бы между прочим.

– Я живу в Курске всего два года, но говорят, столько снега в последний раз выпало еще до войны, – охотно откликнулась Вера. – Вот у нас в Ленинграде такие снегопады в порядке вещей. В детстве я с крыши на санках съезжала в сугроб... – голос дрогнул, и она умолкла.

– Вы хотите вернуться? – спросил Виктор так осторожно, как ступают на весенний лед.

– Нет, я не вернусь, – твердо ответила Вера. Решение было принято уже давно. – А вы откуда родом? – Вера затаила дыхание: сейчас замкнется, если спросила лишнего, и будет молчать всю дорогу.

Виктор ответил так, как будто давно ждал, чтоб его спросили об этом:

– Из-под Винницы, это город на Украине.

– Я знаю, – улыбнулась Вера, – у меня бабушка жила на Украине, где-то под Сумами, названия села не помню. Мы поездом добирались до Харькова, оттуда – до Сум, а потом долго тряслись в автобусе, часа четыре. Бабушка давно умерла, родители дом продали, он старый был, мазаный, белый-белый, а какие там вишни в саду росли, какие яблони!

Каждый погрузился в далекие воспоминания. Шли молча.

– До общежития уже недалеко осталось, – заметила Вера, и тут вспомнила песню, которую часто пела бабушка, она выпорхнула из сердца, давно забытая, родная и близкая, и встала у горла, так, что не спеть ее нельзя.

И Вера запела негромко:

– Чом ти не прийшов
Як місяць зійшов,
Я тебе чекала...
Чи коня не мав
Чи стежки не знав,
Мати не пускала?

У Виктора перехватило дыхание: эту песню часто пела жена, укладывая детей спать. Он застыл, как вкопанный. Вера остановилась, с тревогой взглянула в лицо:

– Что с вами?

– Еще... Дальше пойте, – выговорил он.

Вера, ничего не понимая, неуверенно продолжила:

І коня я мав,
І стежку я знав,
І мати пускала.
Найменша сестра
Бодай не зросла,
Сідельце сховала...

Пела – и не сводила взгляда с Виктора: побледнело, застыло лицо, кулаки сжаты, и такая мука, такая боль в глазах, что кричать хотелось.

Она остановилась, спросила тихо:

– Что с вами случилось?

И так же тихо Виктор ответил:

– Я ушел на фронт в 41-м. Старшему сыну было четыре, дочери – два, а младший родился в 42-м, я его не видел даже. Последнее письмо от жены пришло в 43-м. Писала, что немцы ушли, что война скоро закончится, ждут меня, не дождутся... Больше писем не было. Я демобилизовался только этим летом. Три месяца добирался домой поездами, попутками, пешком... И каждую минуту думал о них. Приехал – а дома нет. Бомба упала ночью, никто не выжил...

– В мой дом тоже бомба попала... – сказала Вера, – Летом

42-го... Зимой от голода у нас никто не умер, весной стало легче, кормить стали в столовых. Мама радовалась, надеялась, что скоро этот кошмар кончится. А летом начались страшные бомбежки. Как-то днем я пошла проведать больную подругу, а когда возвращалась... На моих глазах снаряд попал прямо в окна нашей квартиры. Никто не выжил. Ничего не осталось...

Они молчали, придавленные тяжестью своих откровений.

– Пойдемте домой, – сказал Виктор, предлагая Вере свою руку. Она оперлась о нее, и они пошли дальше медленно, в полном молчании.

Подшли к общежитию. Никто из них не помнил, как они оказались у Веры в комнате. Свет не зажигали. В синих сумерках были хорошо различимы две кровати, круглый стол под белой скатертью, шкаф в углу. Виктор сел за стол, обхватил голову руками. Вера стояла и смотрела на него, одинокого, убитого горем, и сердце у нее заболело и судорожно сжалось.

Она подошла к нему близко-близко... и поцеловала.

* * *

Они расписались сразу, как при военном времени. Вера обежала все комиссионки, и все-таки нашла то, что искала: тоненькое обручальное колечко из дореволюционного, червонного, золота самой высокой пробы. Они сняли комнату у одинокой женщины недалеко от больницы. На двоих у них был всего один чемодан с вещами и «Ундервуд». У них не было ничего: ни одеял, ни простыней, ни подушек, даже табуретки не было. Хозяйка выделила им волосяной матрас, Виктор наколотил гвоздей в стену, добыли стол и два кособоких стула. Вера взяла побольше заказов и стучала на машинке ночи напролет, Виктор набрался дежурств по завязку и почти не жил дома. По выходным Вера брала ноги в руки и с раннего утра бегала по комиссионкам и рынкам. Торговалась она умело, крепко стояла на своем, и поэтому почти всегда возвращалась с добычей. Виктор с ней на охоту не ходил, потому что сразу соглашался на первую названную цену.

Все в больнице ждали, когда у Веры округлится живот под

платьем, но так и не дождались; отношения у них больше походили на дружеские. Больше ничего, похожего на то, что случилось с ними в ту предновогоднюю ночь, не происходило. Они жили так, как будто были женаты 10 лет:

– Вера, передай соль.

– Виктор, надень кальсоны.

Ценой общих усилий у них быстро появились посуда и несколько смен постельного белья, мягкие стулья. Самой большой удачей стала покупка шкафа у знакомых. Вера так рьяно занялась пополнением гардероба мужа, что гвоздей давно не хватало. Увлечшись охотой на хороший костюм для Виктора, Вера даже не пожалела продать ради него оренбургскую пуховую шаль, совсем еще новую, которую ей подарили на работе. Виктор сказал, примеряя обновку:

– Ну что ты, Вера. Разве шаль того стоила? Когда я его надену?

– Я все равно не носила ее, берегла, – ответила Вера. – А так у тебя будет приличный костюм, как у всех. На свадьбы носить будешь. На похороны.

Но костюм так и висел в шкафу, потому что за работой им было не до праздников. Анатолий Петрович все чаще ставил Виктора на сложные операции, сам оперировал все реже – подводили глаза. Ни для кого не было секретом, что следующим завотделением будет Виктор. Бабы прекратили на него охоту, только Ольга Васильевна смотрела на него влажными глазами, и Клавдия не упускала случая прокатиться по нему на собрании партячейки, но все это ничего для него не значило. Он начал обживаться в городе, выучил названия улиц, в трамвае с ним порой здоровались бывшие пациенты. Хозяйка квартиры кормила его иногда горячим обедом – Вера готовила мало, неохотно – и вздыхала украдкой: Виктор по-прежнему был очень худым.

Обставив комнату самым необходимым, Вера принялась украшать быт. Виктор не замечал, как преображается их жилище, он был совершенно равнодушным к бытовым условиям. Уже больше года они спали на матрасе, и ему даже в голову не приходило упрекнуть жену в том, что ищет салфеточки и накидки, а не кровать или диван.

Однажды, поздней весной, Вера собралась в Харьков, с такой же, как и она, любительницей комиссионки. Уехала ночью, вернулась через день. Она ничего не привезла, кроме кофейника в розах с щербинкой на носу.

Виктор растерянно повертел его в руках:

– Зачем он нам? Мы же кофе не пьем.

– Пусть будет, – твердо сказала Вера и секунду спустя добавила уже мягче. – Такой стоял у мамы, она его очень любила. Я не смогла не купить.. И еще... Вот.

Вера достала из кармана пальто небольшой сверток и аккуратно его развернула. На ладони лежал маленький мраморный слоник, размером со спичечную коробку.

Она бережно поставила его на полку и сказала:

– Соберу еще шесть, и будет, как дома.

* * *

Казалось, как будто чем больше вещей появлялось в комнате, тем дальше друг от друга становились Вера и Виктор. Все чаще вечерами ему хотелось поговорить о чем-то, кроме работы, но собеседника не находилось. Тогда Виктор стал читать запоем. Приходил домой – и прятался в книжку, только так мог отдохнуть и расслабиться. Вера все чаще заговаривала о переезде в Харьков. Она скучала по большому городу, где уже открыты магазины, и в них можно купить, что хочешь, можно сходить в кино или театр на что-нибудь действительно новое и интересное.

Виктор упирался, не желал сдвигаться с насиженного места.

– У тебя там будет больше перспектив, – говорила Вера.

– Меня уже здесь ценят и уважают, – возражал Виктор, – а что будет там – неизвестно.

Однажды в столовой Виктор увидел, как Вера, подсев за стол к двум врачам, стала настойчиво предлагать свои услуги: «быстро наберу, не сомневайтесь, и без ошибок...», и выражение лица у нее было одновременно просящим и независимым, как будто она предлагала не набрать текст, а саму себя. Виктору стало тошно, он ушел, так и не поев, и весь день его преследовало это ее лицо. Если раньше машинный набор для

Веры был просто подработкой, чем-то необходимым и естественным, как для учителя – проверять по ночам тетрадки, то теперь это стало источником наживы, удовлетворения прихоти. «Кофейник с розами! Шляпа-таблетка! Абажур с бахромой!», горько усмехнулся Виктор, вспоминая Верины покупки. В последнее время она была занята поиском чего-то, пропадала на выходных, говорила с кем-то по телефону, торговалась, просила, уговаривала.

Через несколько дней после этого к Виктору в отделение поступил мальчик лет 10-12, который попал под трамвай и чудом выжил. От нижней половины туловища ничего не осталось. Виктору пришлось ампутировать обе ноги выше колен. Операция длилась шесть часов, состояние мальчика оставалось стабильно тяжелым. Когда Виктор вышел в коридор, шатаясь от усталости, на мать было страшно смотреть. Виктор умылся, переделся и вернулся к мальчику. Он сидел около него и думал, что сделал все, что мог, чтобы сохранить ему жизнь, но стоило ли...

Вечером Виктор не ушел домой, остался в реанимации. В два часа ночи мальчик умер. Виктор прошел всю войну, видел то, что в мирное время и присниться не может, но когда умирали дети, переживал очень сильно. «Дети не должны умирать раньше своих родителей, это неправильно, несправедливо...» На рассвете Виктор вернулся домой, разбитый, подавленный и несчастный и рухнул на матрас почти без чувств. Вера не спала, она уже собиралась куда-то. «Скоро привезут», услышал он ее слова, «ты недолго спи, я скоро вернусь».

Она вернулась через час, и стала будить мужа, успевшего крепко уснуть:

– Вставай, вставай, Виктор, надо помочь! Он сам не справится!

Ничего не понимая спросонья, кому помочь и чем, натянув на себя что-то, Виктор вышел из подъезда. Там Вера ждала его у грузовика, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

– Ну наконец-то! – сказала она. – Помоги шоферу вытащить ее.

По-прежнему ничего не понимая, Виктор заглянул в кузов: там стояла железная кровать с пружинами. Вместе с шофе-

ром она вытащили ее из машины, подняли на четвертый этаж и занесли в комнату. Вера зашла следом за ними, сунула что-то шоферу, и тот ушел. Не раздеваясь, она села на кровать, пружины тонко заскрипели:

– Как долго я искала именно такую! – Вера была абсолютно счастлива. – Смотри, что у меня есть, – она вскочила с кровати и достала из сумки сверток. Жестом фокусника она раскрыла тряпку: на ней отливали золотом четыре шишечки для украшения кровати. Вера быстро, со скрипом, накрутила их.

– Кровать с шишечками! Как в детстве! Я эти шишки полгода искала, просто сбилась с ног!

Виктор сел за стол и молча смотрел на Веру. Он оглянулся вокруг: все в комнате было ему чужим.

– Скажи, тебя совсем не волнует моя жизнь? – тихо спросил он.

– А что с тобой? – Вера прекратила любоваться кроватью и обеспокоенно повернулась к нему, но глаза еще смеялись.

– Вчера я ампутировал ноги маленькому мальчику. Я обещал ему, что он еще побежит. Сегодня ночью он умер у меня на руках. Он до сих пор стоит у меня перед глазами. Я каждый день спасаю жизни, Вера. Не всегда мне это удается. Ты бы хоть раз спросила, как я справляюсь с этим. А у тебя одно на уме: ковер с оленями! Мраморные слоны! Кровать с шишечками! – Виктор сорвался на крик. – Ты хочешь вернуть дом в Ленинграде, Вера! Этого дома больше нет, пойми! Его больше нет!

Он обхватил голову руками и затих.

Воцарилось молчание.

Она подошла к нему близко-близко... И не поцеловала.

Игорь Павлюк

ВЫРАЩИВАНИЕ АЛМАЗОВ

ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН

*Zu fragmentarisch ist Welt und Leben
(Мир и жизнь слишком фрагментарны).
H. Heine*

І. НАУКА ВОЙНЫ

Люди чистили оружие.

Эдик Пыжлецов ссал на муравейник.

Засушливый, но по-домашнему уютный еловый лес улыбался ранней вечерней звезде, пока она не сорвалась к нему, упав в корень.

– Не долетела, вишь? – восторженно сказал Киверцов. – А, вон там, вон, видите, какая большая еще одна! – показал пальцем в небо.

– Ну и мать ее в ..., – шикнул Эдя. – Дай лучше огня. – И потянулся липкими сосисочными пальчиками к губам Кости, в которых дымилась сигарета.

Костя Киверцов всерьез не курил, но сигареты какие-то простецкие всегда валялись на дне его безразмерных форменных штанов. Чудом чистые и немятые были те сигареты. Длинные и какие-то городские, как сам петербуржец Костя.

– Эй, губошлеп, ты шо, не слышишь?..

Пыжлецов родился в Одессе...

– Рядовой Пыжлецов! – прогудел «замок» – сержант Мухаров...

– Иду...

Стертые в направлении междуножья его «сапоги» разбудили запах гнилых листьев. Повеяло пустотой вечерней октябрьской Вселенной и слегка кирзой.

– Ну ты и набздел, – сказал схожий на гиббона орловец Мухаров, который был старше курсантов взвода на шесть лет. Они – прошлогодние десятиклассники, а он закончил строительный техникум. В школу воинов пришел из армии. Цементно стоял, казалось – всеми выступами своего накачанного тела. Его девиз в записной книжке: «Человек человеку – волк». Записная книжка всегда лежала открыто. При этом никто никогда не слышал, чтобы она когда-нибудь потерялась, пропала, либо ее украли... Мухаров был волком, который претендовал на вожака в человечесьей стае. – Пыжлецов, ты что там делаешь?

– Сцу, товарищ сержант.

– А кто давал тебе разрешение, мать.....?

– Да...

– Родина... мать, – сказал скупой на слова Киверцов.

– Эдичка, у тебя в сумке всегда какая-то жратва валяется. Есть печенье?.. –

Мухаров по-детски нагло полез в толсто-скользкую сумку Пыжлецова и вынул

отсюда заплесневевший пончик... – А еще? О, вафли!

Целехонькая пачка недавно купленной «хавки» была мгновенно обнажена и запхана в жадный рот. Бумажная одежда ее кружась упала на муравейник. Вместе с ней – крошки ее сладкого тела, волос, ресниц... Муравьи почувствовали сладкое...

– И мочу любят, и вафли... – скособочился Пыжлецов, ковырнув сапогом общество насекомых и слотнул слюну, тут же ставшую сладкой.

– Наглые... – бросил Мухаров. Он по-своему хорошо знал лишь людей. Здесь он, казалось, был сильным. Все другое – органическая и неорганическая природа – это средство для того, чтоб прожить. Все как у волков. Они лишь ленивее, потому что их гены давно уже разобрались с проблемами вечности, конца, смерти. Мухарову же для лидерства нужно было есть те же вафли, чтоб мозги работали – думать о смерти или же так обдумать-запрограммировать свое тело, чтоб раз и навсегда лишиться этого аппендицита – сознания. Покайфовать от власти-жизни и... черт его знает. Плывая по течению, можно разбивать дамбы, если течение – водопад, а ты дубовая колода, по крайней мере. Но так парадоксально он видел лишь людей.

«Это, кстати, формально, чисто христианский принцип», – записал в своем «Дневнике» Лоа. – Странно...».

«Кто его знает, как лучше... Не любить природу – еще не означает ее ненавидеть», – прошелестела старенькая Ель и упала мыслями в корень, возле которого рос Гриб. Мысль Ели разбудила самодовольный мир маслят.

– Главное, чтоб без боли. Подумаешь, кто-то ненавидит! Ну, зарежет, ну съест. На какое-то время быстрее закончится эта Игра! – закричал Гриб, – закончится для всех ее участников.

– Боль – это глупость, глупость, глупость... – зарокотал по Ели дятел. – Самогипнозом можно заставить себя её полюбить...

– Это уже мазохизм, – сказал Костя Киверцов, показывая на облепленный муравьями «сапог» Пыжлецова. – Они же кусаются. Сейчас из тебя такую Пыжлецовину сделают!..

– Знаешь, Киса, есть такие научные теории, или как там – прогнозы, что если бы эти суки были такой же величины как коты, то они стали бы... а может и станут, хозяевами мира...

– Угу... они могут тянуть на себе предметы, что во много десятков раз тяжелее их самих.

– Такой «котяра» ухватит тебя за яйца, забросит себе на спину – и потянет как строительный материал или игрушку для своих малых ублюдков. Представляешь, какие они, сцуки!.. – дрыгая замуравленной ногой, промямлил Эдик.

– Вон, видишь, опять звезда, – чтоб отвлечь внимание товарища показал Костя. Он не очень разбирался в природе, просто не обращал на нее внимание. Костя имел исключительную память, был всегда и везде отличником, настоящим, внешне ленивым, вальяжным, ненавязчиво-несуетливым, всезнающим, по крайней мере – в вопросах физико-математических. Большой и неспортивный, он все-таки был тайным островком надежды для душ, которым было колюче-

ветрено или детски-беззащитно в этом Бытии. Что же еще его выделяло? Ага. Он не был артистом – на 90... может, и больше процентов.

«Люди еще делятся на артистов, менее артистов, совсем не-артистов» – записал в «Дневнике» Лоа, и добавил: «И на таких, которые умеют снимать маски с других... некоторые не умеет».

«Глупость все это, – отрицало Солнце! – Есть одно лишь деление – на телесное и духовное. Все другие деления актуальны лишь в пределах той или иной системы. Люди все одинаковы, по большому счету...».

– А вы знаете, если смотреть на большой город из самолета во время приземления, он очень напоминает этот муравейник. Все спуют, копошатся. Каждый знает свое дело, каждый безграничный в прошлое и будущее, осознающий, куда движется. А с неба все это кажется полным хаосом. Совсем, как муравейник, – это подошел Борис Войцицкий. Он тоже жил у «окна в Европу», был умным, спокойным «уличным пацаном», у которого был дед – лесник-пасечник где-то в далеком белорусском партизанском лесу. «Ночь, зори, цветы, мёд стекает из белого хлеба на грудь твоей Судьбы, а ты хочешь слизывать-зализывать, но все готовишься, готовишься... И эта пронзительная подготовка к процессу помнится дольше, чем сам процесс, – это его слова. – Счастье – это прикосновение. А дальше – боль...».

«Память прикосновения... память удара...» – записал Лоа.

Войцицкий был чист, объемно-тонкий, какой-то по-девичьему не гадкий телом... Нет-нет, в нем и на капельку не было того привкуса мертвой точки, достигнув которой какая-нибудь система резко меняет полюса, – как маятник часов с мертвой крикливой кукушкой...

У него и в зародыше не было голубо-, гомо- или каких-то других наклонностей, грешных за законами ортодоксальных религий мира. Немножко романтический петербуржец Боря был приближен к природе. Он любил и свой город, и дедовскую пасеку. Ему служили два хозяина, что ли...

ДНЕВНИК ЛОА

Закономерность: «Кто из людей любит природу, тот имеет в душе ощущения Отчизны, земли, где закопан ветер его души».

– Зачем ты этот «Дневник» ведешь? – спросила Лоа Трава.

– А, это заготовки для новой Программы. Возможно, что-то интереснее придумаю. Постарел я уже в такой оболочке.

Трава промолчала, потому что возле одной из ее ипостасей происходило что-то.

Пыжлецов вытянул из сумки флакон одеколона, он носил его черт знает зачем. Как сын военного, Эдик Галилеевич мог, например, порционным маслом намазать себе сапог, или куском хлеба забить гол в душу сентиментального парня. Достав одеколон, поднял облепленный седыми хвоинками камень и разбил

им дорогой одеколон над муравейником. При этом немного присел, как-то сухо, по-старчески раскорячив ноги.

– Ты что?! – вскрикнул Войцицкий, метнулся к нему. Но красивая серебряная зажигалка Эдика, которая тоже была «захалавной», быстренько показала свою суть. Блеснул синий огонь и черный воск болотно-теплого вечера обожгло искусственное безразличие закаленных стволов автоматов.

Муравейник загорелся.

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Ты смотри, смотри! – крикнуло взбаламученное Время. – Я не думал, что это может случиться так быстро.

– Не умеешь играть в эту компьютерную игру, коллега, – ответило на это Пространство.

– Старый Лоа такие странные программы уже придумывает!

– А ты сам стань программистом, тогда увидишь... Да и компьютеры у нас, между прочим, не самых последних моделей.

– Уже значительно лучше есть...

Пространство:

– Да, у нас недавно электронную почту установили.

Время:

– Но и в баксы влетели, наверно. В настоящее время Академия Наук не очень богата.

– Должны хоть догонять другие страны, если не способны сами задавать тон.

– А ты глянь на монитор! Что они вытворяют?!

Экран монитора заволочло дымом. Сквозь дым брызнула распыленная дыханием Пыжлецова его кровь – Войцицкий долбанув его кулаком прямо в нос. Кровь быстренько свернулась и скатилась по стеклу, словно ртуть.

– Ты что, сдука? – Эдик закричал и замахнулся автоматом на Бориса. Войцицкий в запале еще раз ударил. Хрустнул слегка выщербленный зуб и выплюнулся со слюной, соплями и кровянойкой прямо на муравейник-костер.

– Ребята, ребята! Каюк! – Трубил один муравей компании собутыльников в корчме. – Ядерная война! Все муравейство погибло! Конец света!

– Апокалипсис! Апокалипсис!.. Об этом пророки давно писали! – ухватилась за усики муравей-бабулька, нянчившая кучу своих внуков, теперь уже замолчавших навеки.

«О Боже, о Боже! Боже!» – звенело отовсюду.

Муравьиный мир исчезал, как взгляд. Сознание самых ярких его представителей пылало быстрее, чем тело: «Конец! Каюк! Кто это? Что это?»

Сержант Мухаров встал:

– Курсанты Войцицкий и Пыжлецов! По два наряда вне очереди!

«Хи-хи», – съехидничал Ревякин с Кенигсберга, худо-сухо злой и вредный, с арийской кровью в ушах и зеленых зеницах.

Курсанты окружили приключение, ожидая зрелища к хлебу, но слова гомокомандику их остудили.

ДНЕВНИК ЛОА

В замкнутых системах все естественно-звериные инстинкты людей отдают трупным запахом. Армия в мирное время – одно из самых таких замкнутых пространств. Это хуже, чем тюрьма, потому что в тюрьме человек имеет неписаное право гордиться своими грехами, черными делами, а в школу воинов ребята приходят, чтоб только в будущем быть счастливыми, если не добрыми то, по крайней мере, коммуникабельными... Здоровое счастье предусматривает свободу, а свобода – открытость.

– Ладно, ребята, что произошло, то произошло, – сказал «Киса» – Киверцов, и поплескал Пыжлецова и Войцицкого по плечам. – Я, знаете, видел один английский фильм о природе. Там снимали все муравьиное царство-государство. Они (муравьи), оказывается, не видят больших предметов уже на расстоянии метра, где-то так. Им это не надо практически.

– Это что, они, выходит, Пыжлецова даже не видели?! – вскрикнул углеокий, хлипкий и живучий российский татарин Мусахардинов.

– Выходит, что так! – подошел светлый, объемно-добрый, словно личинка бабочки, Гильбурдт.

Все погрузились в себя, будто драки и не было. Пыжлецов как-то автоматически прошупывал нижнюю часть своей головы, Войцицкий слюнявил кулак.

ДНЕВНИК ЛОА

Люди додумались уже до многого. Что же с ними делать в этом случае? Возможно, уничтожить?.. Начать все заново? Их так жаль... и я так устал уже от тех творческих мук. Постарел.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

Скрипнули старая, инкрустированная медью, художественно выглядевшая, но давно не смазываемая дверь. В Компьютерный Центр вошла пара – Случай и Судьба. Она с букетом осенних полевых цветов, вязаном белом-белом пальто с длиннющим красным шарфом, он – русский, мальчиловатый.

– Что, ребята, играете? – обратился Случай ко Времени и Пространству. – Ну, и кто впереди?

– И пока еще Пространство, – ответил Время.

– А мудрый Лоа Программу составил! – Время посмотрело на часы и потянулось за горшком холодно-живого от восторга игры кофе. – Как-то странно люди себя здесь ведут.

– А у вас какое задание – быстрее их уничтожить, или наоборот – как можно дольше продержат? – спросила «железная леди» – Судьба.

– Здесь такое дело: один игрок играет их душами в Космос, другой – в ядро атома. То есть, кто-то стремится вывести человечество за пределы планеты Земля и расселить в Космосе, а кто-то – оставить, так сказать, в колыбели, – ответило Пространство.

А Время прибавило:

- Лоа, обычно, хочет как можно дольше продержаться их живыми...
- Слушай! – ойкнул его коллега и прислонил перстень, длинный, словно луч, и приплюснутый, как море, к своим прозрачным устам. – Почему ты?
- А разве не видно, что они свои? Всей Вселенной известно давно, что у Лоа умерла жена.
- Но больше...
- Ничего, ничего, не пугайтесь и не стесняйтесь, – кокетливо-резкая Судьба протянула Времени свое удостоверение и удостоверение Случая. – Мы как раз здесь для того, чтоб вы посвятили нас в последнюю тайну Лоа.
- Для всех, кому это нужно, есть электронная почта, – пробормотало Пространство.
- Не сидеть же нам, как Вы, сидья за компьютерами. Вы программисты. Это ваша энергия.
- Одним словом, не разводите бюрократию! – нежно пролепетала красивая и с характером Судьба.
- Ну, разве... усидишь перед такой? – подмигнуло Время Пространству и протянуло ему какую-то официальную писульку с гербом Солнца посередине. Тот передал ее Судьбе, едва заметно задержав свои пальцы на магических ее. Почувствовав разрешение, игриво обнял за стройную фигуру. Судьба туго вынырнула. Дала «цем-па-па», толкнула перед собой, как домашнего раба, Случая. Пространство щелкнуло на прощание собственными пальцами. Двери закрылись как ветрянные. Духмяно-полевая аура Судьбы осталась в Центре Лоа, как вечность в бескрайности.
- Что у нас там на экране, а? – врезалось Время.
- Ты смотри, смотри, о чем они думают, гады! Благодаря интуиции кое-кто из них очень сильно, где-то аж на генном уровне, они чувствуют свое единство со всем сущим: от звездных систем до атомов, – заволновался его коллега. – Они пользуются индуктивным методом. Модель муравейника разумно переносят на общество людей – и начинают понимать, что ничего не понимают! Сила!
- А что, если внести некоторые искусственные формальности? – темпераментно взялось за пульт компьютера Время. – Ну, например, мину времен Второй Мировой войны кому-то из этих курсантов подставить?
- А кому?
- Сторожуку, который вон там возвращается.

ШКОЛА ВОИНОВ

К взводу курсантов медвежьей походкой шёл хитрый, как базарная баба, курсант. Он был из Кривого Рога – городской житель от пупа до попы, но внешне – барсук, с непропорционально накачанным торсом. При всем этом личность не совсем потерянная, с чем-то обнадеживающим – хотя бы потому, что, будучи внешне «пушистым», мог постоять за себя при необходимости. Мог бы. А за кого-то другого смог бы?

- Братва! – развернул он руки... и – взрыв под ним как фугонет!

Через минутную вечность на месте Сторожука лежала лишь свежая, перепуганная хвоя.

ДНЕВНИК ЛОА

Ужасная ситуация, ужасная своей банальностью. Сейчас все замрут и представят себя на месте разорванного человека. Все станут ближе и на какое-то мгновение даже едиными. Жаль, что не удастся с таким же успехом объединить в одном душевном порыве все человечество. Какая бы живая энергия засверкала при этом! Основатели мировых религий – Христос, Будда, Магомет, немало сделали для этого в стратегическом плане, но было бы хорошо создать единственную (синкретическую) религию человечества. Это бы давало энергию определенного вида, правда, бледно-туповатую, потому что кое-где она действительно опиумная... Большие мировые «поэты-безбожники» наподобие Байрона, Швеченко, Данте излучают живую энергию, пусть немного меньше, чем религия, но однозначно более качественную, пусть парадоксальную, мазохистскую, высокую... Христос – еще больше. В момент зарождения религии... В общем, я понял, что божественная единица дает в миллионы раз более качественную энергию, чем толпа в своем обожании этой единицы.

Вот я и не хочу больше новых путей-религий, даже по-своему, добрых, хочу больше божественных единиц!

...Опять парадокс. Лишь парадоксы дают энергию, а это – тайна...

ШКОЛА ВОИНОВ

Деревьям, кустам и травам тоже было больно после взрыва. Желтая кровь чистотела капала на юный подорожник. Одуванчик стряс семена прямо на кровь Сторожука, они... а может, еще и прорастет?

Где-то далеко-высоко упала заря, потом вторая, третья...

В дупле старой, благоухающей ели рядом сидели похожие на неё уютной нежностью белочки. Дупло было теплое, здоровое и ленивое. Особенно контрастным к действительности оно выходило зимой, когда тишину земной вселенной резали шуры-бури, пурги, холодные и резкие, как окровавленное стекло расвета.

Когда Творцу было тяжело на душе, ему хотелось быть той белочкой в дупле.

– О, нет! Лучше куницей, лучше куницей... – муркала белочка, испугавшись взрыву и не зная, что делать с собой и детьми – убежать куда глаза глядят, или переждать людей...

ДНЕВНИК ЛОА

Белочка хочет быть своим врагом, ведь куница имеет все преимущества белочки, кроме того она плотоядна... То есть практически не боится зверей. Жертвы хотели бы быть своими убийцами. Хищником для хищника-куницы может быть лишь человек. Он уничтожает все живое на планете, сам же размножается сногшибательными темпами. Да, в начале XX века Земля имела приблизительно один миллиард населения, которое всю свою историю со времени появления

пользовалось практически одинаковым механизмом: катило колесо.

Но в 1945-м рвануло атомную бомбу, в 1961-м рвануло в Космос! И пошло, поехало... Теперь уже населения – семь миллиардов. Параллельно со скачком техники – всплеск рождаемости у людей. Как и предполагалось... Человечество – рак на теле планеты.

Все эти ускоренные процессы дают колоссальную энергию: войны, спорт... биодушевную энергию. Второсортную. Первосортная – это высокий душевный полет личности. Первая энергия – это камни, вторая – алмазы.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

Седое Время подошло к желтошторому, задождевленному окну. Посмотрело на свой благородный перстень-печать: «Золотой, а Деду нужны алмазы...». Фиолетовый провод электронной почты, как паутина, затянул его взгляд в раннюю весну. Время отмахнулось от него рукой.

– Выпей кофе, – подошло к нему летнее лысовато-лысоватое Пространство.
– Правила нашей игры как-будто проясняются. С планеты нужно вытеснить все, что возможно, в самые сжатые сроки.

– Очень уж тонкий волос, на котором должно все держаться. С одной стороны: нам нужно подводить Землю к самоуничтожению, с другой – как можно дольше ее беречь...

– Парадокс.

– Да. Но гений – это тоже парадокс. Алмаз. – Время заходило по комнате, склонив благородную голову. – Наконец Старик врубился, что духовные личности – основное, но их невозможно выращивать без «нормального» окружения и ненормальных, высококонфликтных ситуаций, такой сложной среды.

– В нашем компьютере девятого поколения уже зафиксировано немало гениев, – по-женски улыбнулось Пространство.

– Да, но и там немало сволочи, которую Лоа по-любому уничтожит в День Суда, развеет, как полову.

– А критерии-то хлипкие...

– Пока были хлипкие, День Суда известен не был. Теперь окончательно прояснилось: уничтожены будут те лица, которые несут менее всего духовной энергии и не способствуют выработке ее в других, минимум – тысяча мегакрыл.

– Предлагаю так переделать лабораторию «Земля», чтоб выращивать чистые алмазы – Данте, Шекспира, Моцарта, Байрона, Шевченко...

– Опыт показывает, дорогой друг, что в стерильных условиях выращиваются лишь искусственные алмазы. И нет на то совета.

– Ага. Ну, к работе... – Пространство похлопало Время по плечу. – Пошли готовить данные для Суда. Старому не терпится просуммировать пройденное, чтоб начать иной порядок. Возможно, немного изменим условия и правила игры... молитвы...

ШКОЛА ВОИНОВ

Прошел месяц.

На морском песке – человеческие тела. Одни – песчаные, другие – волнопенные, еще одни – небесные... Выходят из моря, шевелятся, стонут, ловят Солнце, играют в карты, заботятся о своих атлетических и пузатых оболочках. В это время на зеленом и свежем холме, в десяти минутах человеческого хода отсюда, бьют звоны старухи-церковки со старым садом и могилами древних служителей и служак Господних.

По команде подполковника Завгороднего и по принципу цепной реакции сержанта Мухарова вооруженные люди быстро и страшно обнажились и поперли в воду. Через несколько минут раздалась команда «Кончай! Кончай купаться!». Все как подорванные выбежали на берег. Гражданские люди разошлись подальше от места купания.

Автоматы стояли пирамидами, каждую из которых охраняли двое солдат.

Люди изменялись, оружие оставалось, звоны били, словно сердца, качая кровь.

– А ты ходишь... ходил в церковь? – спросил Войцицкий своего напарника.

– В детстве, с бабушкой, – ответил тот.

– Ну, а в Бога веришь?

– Думаю...

– Что здесь думать, чмо? Думать – значит тормозить. Уже давно без нас все обдуманно, – встрял липкий

Пыжлецов. Он достал из своей сумки дешевый циркуль и по-пингвиньи подсунулся к этому солдату:

– Хочешь, я тебе наколку сделаю? – кольнул в спину.

Солдат вздрогнул и отвел липкую, хоть и после моря, руку Эдика. Он был в несколько раз физически более крепкий, чем Пыжлецов, но вывести его из себя, заставить ругаться, тем более ударить кого-то, не мог никто. Вместе с тем, это была губка, которая вбирала все интересное в мире, своего рода линза, которая была вполне самодостаточной системой. С Пыжлецовым что-то происходило в его присутствии. Он практически не контролировал себя, им руководила какая-то другая сила, хотевшая почему-то нарушить равновесие системы – души солдата.

Эдик еще раз и еще раз, как волна на берег, накатывался с циркулем на солдата и глупо-гадко старался больнее уколоть его. Солдат загадочно улыбался, отклонялся... Через несколько минут стало понятно, что глубоко в душе он экспериментирует над душой Пыжлецова, иногда на капельку все-таки теряя терпение после более сильного укола.

Сбоку лежал барокковый «очкарик» Яблоков – друг Пыжлецова, хотя соединяла их лишь, кажется, любовь к пирожкам в «чипке» (солдатском буфете). Яблоков был внешне удивительно утонченным, с аристократичными манерами; характерным дамским жестом безымянного пальчика он поправлял свои очки, затененные как у денди едва заметным вуальным цветом. Все-таки странно соединялась в нем та припыленная хрустальность и яичная скользкость души-тела. Яблоков лежал сбоку и ожидал результата психофизического эксперимента, ожи-

дал с грубым нетерпением, ведь результатом его должен был стать торт: отреагирует солдат матерным словом или/и кулаком – торт Пыжлецову, останется как всегда, спокойным – ему Пыжлецов покупает.

Эксперимент продолжался бы неизвестно как долго, если бы над лежащими не зажужжала наглая пчела, прилетевшая, наверное, на резкий запах Пыжлецового пота. Он сорвался и пошёл бегом по берегу, хотя органичнее было бы все таки бросится в воду. Но моря Эдик боялся на генном уровне.

В это время ко всем подошел Духматов.

– Мужики, – сказал, – хватит издеваться над бедным Пыжлецовым. Кто завтра свободен – приглашаю в гости. Я же петербуржец...

Через несколько секунд прогудела цепная команда «Кончай!.. Одеваться!» Началась суeta возле моря...

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Слушай, а может, изменим картинку? – спросило Время у Пространства. – Мне лично уже поднадоели те курсанты. Неблагодарный материал для теорий. Замкнутая система.

– Давай еще один эпизод прокрутим. И сколько тебе говорить – что нет благодарного и неблагодарного материала? Что в одной системе плюс, то в другой минус – и наоборот. Должно сохраняться равновесие, – ответило преимущественно сдержанное Время.

– Равновесие, говоришь... Это мы еще в школе изучали. А как быть с видами растений и животных, которые полностью исчезают с Земли? Как с ними быть? Что или кто их заменит? Какая биодушемаасса? (На одном из компьютеров Центра – тоненький сигнал...). Вон, слышишь, опять кто-то молитвой пробил электронную защиту. Зафиксированная чья-то молитва. Теперь так редко бывает.

– Включи, пожалуйста, экран, открой этот файл...

– О, так это молитва уже умершего человека за счастье своего ребенка еще живого на Земле. В таком случае программой предусмотрена обязательная помощь. Зафиксируй этот случай. Потом обязательно проследим за ним.

– Тем более, глянь, ген 24-X-315. Он фигурирует и в файле, на котором мы проверяем новую программу, с которым играем.

– Ого! То есть он есть в ком-то из этих вооруженных людей?

– Так точно.

– Включи, друг, наших. Досмотрим гостеванье у Духматова.

– Ага.

ШКОЛА ВОИНОВ

Квартира Духматова поразила своей вселенностью. Она была большой, мистической, средневековой какой-то – с паутинами шрамов и шрамами паутин в углах. Беспорядок был настолько глубокий, что превратился в культурный, уютный и скромно-бедный. Такие квартиры особенно должны были поражать молодых выходцев из далеких лесных или степных сел в первые месяцы их пребывания в больших мегаполисах, где все настолько по-другому должно было

быть, богатое и небесное, что квартиры такого типа вводят их, словно голого в тулуп, а затем – в прорубь.

Антивпечатление усиливалось еще фактом, что отец Алексея Духматова – профессор Санкт-Петербургского универа, мама – музыкант из консерватории. Для сельского мальчика – это что-то высокооблачное духовно, поэтому и должно было бы выглядеть с лунным блеском материально. Но, по закону перехода крайности в свою противоположность, душа, словно яйцо, шарик в подшипнике переворачивается и настраивается на генетическое стратегически.

Скользко-дымовое тело души быстро просекается оргийно-оргазменной незнакомой атмосферой высокой бедности-беспорядка.

– Мальчики, мальчики! Все сюда, пожалуйста, все сюда, – проптицыла мама Духматова. – Здесь легенькие бутерброды с чаем. Отдохните немножко, музыка... Алешенька, Алешенька, заиграй-сыграй друзьям что-то классическое.

Все повелись в маленькую, прокуренную временем комнатку меньшего Духматова, где росло старое, добротное пианино. На стенах, которые давно просили ремонта, – картинки хозяина комнатки. Следовало бы что-то сказать о бесспорном таланте автора, что говорят в таких случаях, но... Картинки были абстрактные, авангардные...

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

Заходит обветренная дождем, красивая и вечно юная Судьба. Нагибается над Временем:

– Ишь... смотрите, как работают-мигают души наших людей, особенно страшная энергия вон у того 24-Х-315, который в будущем будет Тарасом Кришталским.

– Ему очень хочется по-настоящему оценить все, что имеет отношение к искусству, но как оценишь то, чего нет... Ведь в искусстве главное – красивая душа.

– Как говорил один старый профессор, – вмешалось благородное Время, – не знаю: это корова или туча, но как пятно – может быть...

Все засмеялись. Каждый по-своему закончил смех.

– Смотрите, смотрите, какую энергию выделяет тот 24-Х-315, вот он с Войцицким отошли в сторону от группы, – прозвенела Судьба.

ШКОЛА ВОИНОВ

– Как ты оцениваешь вот ту картинку, видишь, подписана «Нарисованная пыль»? – спросил Войцицкий у 24-Х-315.

– Ты, знаешь, если бы здесь действительно была пыль, я бы оценил, а здесь точки с геометрическими фигурами – претензия... Если претензионный человеческий поэт хочет, чтобы его оценили в глаза искренне и по-настоящему, пусть покажет традиционную, рифмованную строфу о любви, а затем уже свои версификационные дела... Так же с художником – пусть нарисует простое дерево за окном, или портрет своего кота или меня, или тебя, в конечном счете, то есть – человека, которого я вижу и знаю, а затем... Знаешь, есть анекдот: когда обворовали Пикассо и милиция начала искать подозрительных по его рисункам (а ехал

он в полупустом вагоне), то принесли два пылесоса, стиральную машину и авто-ручку...

– Ты что, против всякого авангарда?..

– Я против обездоленности. Талант от Бога. И поэтому смешно хвалить художника за талант, так же как огонь за вкусный суп. Огонь можно хвалить за усилия, которые позволили этот суп сварить хорошо и сберечь, художника – за характер, за чисто общечеловеческое, а не за божественное, потому что, может, это его наказание, а не награда.

– Условия на художника влияют или нет?

– Как огонь на кастрюлю. Непосредственно на суп огонь влиять не может. Душе нужна работа, борьба, поэтому в стерильных условиях могут вырастать лишь искусственные души.

– То есть, не каждый, у кого большая, болезненная душа, – художник, но каждый художник – владелец большой души.

– Как-то так. Но, вообще-то все эти вещи – сфера глубокой интуиции, чего-то такового, что связывает нас с небом, чего нам не дано познать, как тем муравьям увидеть людей, которые ходят возле муравейника. Не дано – и баста!

– Мужики, что вы там отбились? Быстренько к чаю, – закивал Духматов, и здесь Войцицкому стало удивительно, что раньше он не замечал у Алексея ужасные, выпендренные манеры.

Духматов играл на пианино какую-то классику, чувствовалось, что за ним – вся его профессорская квартира, весь Петербург, все века дворянской родословной, но небо... небо было не с ним.

Наивысшие школы и домашняя атмосфера дали очень многое, подвели его к светлой пропасти за счет тысячи, миллиона шагов усидчивости и ума, аристократического, подсознательного желания свершиться, осуществиться. Но сделать еще один шаг, маленький, но очень не похожий на те, предыдущие, потому что там – всё, ему не позволили. В пропасть таланта толкает лишь Лоа, наверное, еще в момент рождения человека...

К самой границе пропасти, сделав кто сколько может шагов, подходят сотни, а последний – один шаг, тождественный по величине предыдущим, но значимый, «небо и земля», делают лишь единицы, – выращиваемые творцом алмазы.

Мама Духматова тихонечко заглянула в двери и улыбнулась. Как мама. Духматов закончил, сдержанно и будто не предоставляя этой игре значения: лучше самому поиронизировать, чем это сделают тени-морщины на лицах окружающих.

– Ну, кто еще, а?

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

Случай и Судьба случайно встретились теплым, ослепительно осенним днем в городском парке и очень взволновались, обрадовавшись этой встрече. Стали говорить ни о чем с болезненной нежностью, словно бояться полета и стремиться к нему. Присели на скамью. Случай, чтоб заполнить тупик дуговых пауз, достал свой миникомпьютер:

– Видишь, помнишь мы в Центр, к компьютерщикам заходили, так у меня до сих пор сохранились настройки на их файл. Вот смотри: 24-X-315 сейчас в обществе, собравшемся за пианино...

Судьба тоже включила свой портативный компьютер.

– А знаешь... Вот он... Хочешь, я помогу тебе его реализовать?

– Как друг? – трепетно посмотрел на волосы своей мечты Случай.

– Как кто хочешь... Я же не опытная во всем этом...

Случай ничего не ответил. Да и не нужно было: они общались душами.

КВАРТИРА ДУХМАТОВЫХ

Через несколько секунд в руках 24-X-315 была уже гитара и он несмело начал петь составленное им стихотворение. В дверях опять появилось лицо мамы. Оно медленно становилось лунно-магическим, затемнялось, засвечивалось...

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

– Ты взгляни, как заискрилась эта женщина! Она же когда-то 1-К-8, из нее должен был расти алмаз, но не дотянула: банальная семейная жизнь сделала свое дело. Оценить же потенциально алмазный свет других она умеет. Это все, что иногда остается у потерянных алмазов, – сказал Случай.

– Грустное зрелище производит человек, который, имея сякой-такой оригинальный дар критика-ценителя Мастера, сам претендует на звание Мастера. Театральный критик, который вышел на сцену и бездарно сыграл роль в представлении, теряет доверие как общественный ценитель, – Судьба ветрено достала красивый цветастый платочек и взмахнула что-то из щеки Случая. Хотя, возможно, там ничего и не было...

– Гляди, как ведет себя женщина, – произнес Случай, – она наблюдает за игрой 24-X-315, все понимает, но открыто не захватывается.

– Одно из двух: или чувствует, что бисер рассыплется перед свиньями, или это просто вариант Моцарта и Сальери.

– Данная ситуация зафиксирована в компьютерном Центре, где работают Время и Пространство. Нам этого не дано познать. – Случай посмотрел на любимый профиль и прибавил. – Кстати, мы так и не успели тогда вместе прочитать пилульду, которую тебе так мило вручило Время. Мы как-то разхандрились...

– А действительно! Я и забыла о ней. Как хорошо, что мы встретились. Сейчас найду ее у себя в сумочке, – зашелестела горячая и пронзительно счастливая Судьба.

КВАРТИРА ДУХМАТОВЫХ

Между тем 24-X-315 пел, играл. Отдельно пение и отдельно игра были какими-то по-детски неловкими, стыдливими, но вместе, в комплексе, давали удивительный свет, энергию. Молчали все. Из-за мамы выдвинулась головка с двумя бантами – Аленки, младшей сестренки Алексея. Она ласкала самодостаточного хомячка. Аленка заерзала, хомячок зацепился носиком за складки выцветшего цветастого халата. Когда из кухни послышался голос отца семей-

ства: «Что там?», и мама резко оглянулась на него, сиротливый хомячок выпал из Аленкиных рук.

– О боже! – вскрикнул папа Духматов, приближаясь к интересным дверям, – хомячок, хомячок, Аленка! Я наступил на хомячка!

Так рождается святая суета, как клубок волос она катится в бездну, сопровождая рождение человека, его смерть и даже любовь. Только одно слово, а все уже покинули необычную музыку и неожиданно ринулись к двери.

– Я наступил на него. Он уже мертв, – грустно констатировал седой профессор.

Аленка подошла к еще теплой зверушке, взяла его в ладошки и молча, сольно растаяла в полутенях квартиры, глубиной и древней.

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

– Ты видишь? Зачем ты так? – всхлипнула Судьба. – Зачем так?

– Видишь, Судьба, я еще раз хотел показать тебе, как мы с тобой похожи, как выполнение твоей стратегической программы зависит от моей тактической бдительности, – ответил Случай, блеснув складкой между бровями.

– Не помню, может в моей программе все это есть? Слушай-ка, неужели мама Духматова не скажет 24-X-315 о впечатлении, которое он на нее произвел? – горько улыбнулась Судьба.

– Ты же знаешь, талант человека не его заслуга, это подарок Лоа. Заслуга сама себя ведет как человек, еще неизвестно, что она с талантом сделает. Алмаз тоже можно в туалет бросить.

– Гений и злодейство?

– Ага. Хотя, злодейство всегда злодейство, а гений...

КВАРТИРА ДУХМАТОВЫХ

– Бывает, бывает, – сказал отец Алексея.

– Потянулись за музыкой, а лишили жизни зверушку, – добавила притихшая мама.

– «Такая ее судьба», «Случай», «А за хомяка того и деньги же платили!» – загудели ребята в военной форме.

– Садитесь, допивайте свое время, ой, чай...

– Давайте сходим в музей «Русский», например, – самоуглубленно пригласил Гильбурдт.

– А по пути и хомячка похороним.

– А... твою мать, – сплюнув про себе, – прогугнявил как-то через плечо Пыжлецов.

Поскольку времени увольнения оставалось не так уже и много, все засуетились, оделись и вышли в Петербург. Вместе с ними и отец Духматова, профессор физики. Взяли не по-детски печальную Аленку, которая трогательно замотала зверушку в куклины одежды.

– Одну бывальщину расскажу вам, ребята, смешную какую-то и горькую, как жизнь на мячике нашем, – перебил объединяющую всех молчанку профес-

сор и начал в производном ритме. – Как-то православный одного католического села отправился в соседнее православное село – в церковь. Была зима. Долго или коротко шел мужчина сквозь метелицу и наступил на замерзшую птичку. Пожалел, положил ее за пазуху, под тулуп, и уже как-то даже забыл о ней. Пришел в церковь, как подобает, начал поклоны быть. В это время ожившая от тепла птичка высунула из-под тулупа клювик – и бац мужчине в глаз! Он и потек.

– А мужик?.. – перебил рассказчика сержант Мухаров.

– А что бы каждый из нас, наверное, сделал в этом случае? – продолжал рассказчик. – Мужик заревел и открутил птичке голову... Дальше не знаю.

– А люди что? – спросил кто-то из ребят.

– А люди как люди. Представьте себе, – сказал профессор. – Люди в конечном итоге все одинаковы, особенно в экстремальных условиях.

– Ага... Вот здесь пофилософствуй, – начал разговаривать сам с собой Войцицкий. – Не дано понять. Как муравей-воин не видит человека-воина, так человек-воин Лоа не видит... Возможно тоже воина... Сколько тех творцов? Может, они так же между собой борются, как все живое на земле? Запущенная карусель...

– О чем ты постоянно думаешь, Войцицкий? – подошел Яблоков, – у нас еще Шаблий такой. Будьте проще – и к вам потянутся...

– Гниды всевозможные... Я не тебя имею в виду... – Войцицкий сплюнул в Неву через перила мостика, на котором они в этот момент стояли. Делал он это, как и ругался, очень редко.

– Слушай, Боря, а давай поспорим, что ты, идиот, постоянно думаешь о том, что всем давно ясно. Даже прапорщику Чму, – липнул Пыжлецов.

– С тобой у нас выйдет ссора... А истина, как известно, рождается в спорах, а не в ссорах, – сказал Войцицкий и подошел ближе к Шаблию.

Люди в военной форме в сопровождении профессора блуждали позолочено туманным Петербургом. Люди разных национальностей, образов детства и юности. Заходили в художественные и военные музеи, фотографировались. Переживали историю города, который по словам Духматова-отца, стоит на человеческих костях, в том числе украинских, казацких. Было как-то наполнено, устало, грустно. Почти все закурили. К казарме шли через Летний Сад. Украинцы вспомнили своего Шевченко, который рисовал когда-то здесь эту, а может, вон ту статую. Кое-кто подумал: а имеют ли преимущества гении на том свете (если он есть) перед обычными смертными? Что их душам дает то реальное, хоть и относительное, бессмертие среди живых людей?

Мысли, как и слова споров, были обрывистыми, ни к чему не обязывающими. Все смешалось воедино – и современный концерт, и проштампованные вечностью картины из Русского Музея, ведь, в конце концов, в искусстве важна удельная часть искусства, а не количество вариантов. Да и так ли важно именно искусство?..

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

– А действительно, Случай, – резко и нежно вернулась к своему спутнику Судьба, – видишь, какие мысли просвечиваются у людей, за которыми мы наблюдаем именно сейчас. Важно ли искусство? Спасая не человечество в целом, а отдельные чувствительные души, искусство помогает выживать энному количеству «я», то есть, в конце концов, всему человечеству, которое существует за счет всего прочего: высасывает нефть-кровь Земли, асфальтирует кожу Земли, съедает и убивает безнаказанно все другие виды на Земле. Видел, как они пугаются, когда, например, какой-то тигр убежит из зоопарка?! Телевидение, радио, газеты, все трубят: ой-ой-ой! А сколько несчастных голодных котов по улицам, подвалам, студенческих общежитиях мучаются! Никому нет дела!

– Это, Судьба, закон борьбы. Ты же знаешь... – сказал влюбленный Случай.

– Где уж нам, дурачкам, чай пить? Это они в Компьютерном Центре посвящены во все, мы лишь вынуждены выполнять указания. Мы – солдаты Лоа.

– Солдаты Лоа – ангелы, как их называют люди. По-нашему, датчики, мостики-фиксаторы сердца-мозга каждого живого существа, флоры и фауны всех лабораторий Вселенной. Когда тело существа умирает, информация переносится на диски Компьютера и составляют там «семенной» материал для следующих генных экспериментов.

– А тебе не кажется, что наша жизнь – игра, лишенная конкретной цели. Наша с тобой. Жизнь.

– Да, – ответил Случай и взял в свою руку дрожащие пальчики Судьбы. – Но это, кажется, поняли-почувствовали и в Центре... Так мне, по крайней мере, мне показалось, когда мы в последний раз заходили туда. Не забыла ли ты о бумажке, которую так любезно, заигрывая, подало тебе... Время...

– Ох, правда! – по-детски обрадовалась Судьба и начала копаться в своей элегантной сумочке. – Вот эта бумажка, вот она! Запечатанная.

– Давай, распечатай.

Судьба и Случай, прислонившись друг ко другу, быстренько распечатали пилульку, как говорят о таких ситуациях – совсем не чувствуя течения времени. Их неощутимые секунды стоили, возможно, целых лет, а то и веков, для людей на Земле, ведь они (как казалось людям) не сокрушались о потерянном времени, ведь они (как хотелось людям) ничего не знали о смерти, в конечном итоге и о любви, которой (с однозначным удовольствием) отдавались.

Записка таила в себе следующее содержание: «Вчера умерла жена Лоа, которую люди, по своей наивности, принимали за его противоположность – Сатану. Чтобы не погибнуть, Лоа имеет один выход: стать самодостаточным (мужчиной-женщиной). Для этого ему нужна большая духовная плюс физическая энергия, в первую очередь – энергия гениев-алмазов, которые являются точками скопления разных видов энергии. Занимаемся выращиванием алмазов. Ищите материал – и действуйте...». И подпись: «Пространство-и-Время».

– Вот так-то, – сказал Случай. И впервые в жизни крепко и трепетно прижал к себе Судьбу. Легко и ветрено поцеловал ее в губы. Красный плащ Судьбы мелькнул, как лист на горячем синем ветре. Она спешила.

Звенели осенние цветы.
Везде возобладало болезненное и терпкое ожидание.

ПРЕДКИ

...Его зарубили не поэтически. Ветер был, поэтому не было бабочек. Где страх, там нет романтики. Тек костельный дождь и смывал красные листья из кленов-детей. Нежирная человеческая кровь тоже легко смывается – даже не соленой водой. А соленая – слезы – смывает окровавленные камни душ вместе с корнями.

Какой странный корень душевного камня!

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Какой странный корень душевного камня! – вскрикнуло благородное Время Пространству.

– Ты глянь, глянь, средневековые сцены казни украинских казаков на площадях Польши.

– Что-то есть в этом средневековом духе уютное, хоть и очень жестокое, – мурлыкнуло Пространство.

– Со стороны, а особенно на экране компьютера, все уютным может показаться. Вот и это... – Время нажало кнопку на пульте и на этом же экране страшной красотой зашумели динозавры, ихтиозавры, бронтозавры, забулькала в вечнозеленых чащах разнообразная нечисть этого, в прямом и переносном значении слова, нечеловеческого периода планеты Земля. Хорошо попасть сюда на вертолете или, по крайней мере, с карлсоновым вентилятором за плечами, вооруженным лазером, в суперзащитном костюме, с запасом вкусной еды, разными защитными прибабасами. Одним словом, поохотиться, покачаться в первобытном диком и наивном сене. А хотел бы ты, коллега, встретиться с ними один на один, так, в чем мать родила?

– Слушай, Время, ты очень часто выступаешь от имени Человека. Что, очень хочется побывать именно в его коже? – как-то ехидно улыбнувшись, спросило Пространство.

– Ты же знаешь... А в конечном итоге... смотри, смотри еще одну картинку. Здесь уже есть люди, хотя нет динозавров. Наступила новая эра, эра Человека, – переключило Время картинку, меняя тему разговора.

– Прости, но вряд ли в одном из еще немногочисленных пока племен ты найдешь объект, гены которого – корни 24-X-315. Здесь ценится грубая физическая сила. О каких алмазах душ может идти речь? Лоа еще сам, наверное, не знал, что он создал. Забавлялся.

– Слушай, но мы можем, если захотим, воскресить эти души во времени более позднем такими, как они есть! – спросило утвердительно Время.

– Ты знаешь ответ! Но это пустая трата энергии. В их среде никогда не вырастет алмаз. На Земли и так полно разных подделок. Среди растений и животных творческий дух появиться может, а среди злых людей...

– Злые и первобытные – совсем разные понятия. Думаю, что среди разбойни-

ков, в тюрьмах, случаются чистой пробы алмазы.

– Обычно требуется общественный заказ. Поэт или музыкант для племенных людей, вот этих вот... – Время показало на экран, где первобытные люди разводили костер, – неопознанное лицо... Хотя! Вот-вот появятся жрецы, шаманы разные, заклинатели... Не первобытные ли это алмазы? А ну-ка добавь еще несколько веков. – Время нажало кнопку. – Выберем вот это время. Зададим координаты гена – 24-X-315. Пространство! Пространство! Есть! Есть! – Кричало Время. Вот смотрите. Я нашел этот ген. Видишь, вон сидит, как зайка, под елью роскошной... Идет к скале...

Пространство опрометью ринулось к дисплею:

– Видишь, все это на берегу моря. Все солнечно, зелено, ветрено, дико. Вот здесь понимаешь, чувствуешь гениальность нашего Лоа.

24-X-315 подошел к прибрежной скале. К берегу причаливала лодка, из нее вышла юная красивая женщина, почти ребенок, увидев мужчину, – 24-X-315, встрепенулась, собрала духом и направилась опять к лодке. Он же, оторвавшись от кисти из шерсти дикого кота и травяно-красной краски, медленно, сдержанно гордо пошел по песку к ней. Краска капала... капала... На скале подсыхала Она.

– Видишь, Пространство, это – художник, один из первых людей-художников, – сказала сосредоточенно Время и добавило немного солнечности с помощью клавиши регуляции цветов.

24-X-315 подошел к девушке:

– Ты знаешь, я не смог...

– Привет... – робко, настороженно прошептала она.

– Я не смог сдержать данное себе слово: не обращать внимания на тебя, жить навстречу тебе так, будто тебя не существует. Не смог.

Девушка несла где-то в себе что-то похожее, не удержалась, оборвалась, словно яблоко:

– Как хорошо, что я встретила тебя, как хорошо!.. – Достала листочек какого-то мятного растения, смахнула ему тень с лица.

Магическая нежность завibriровала между ними.

– Начало их драмы – тайна лишь их обоих, развитие могло стать художественной собственностью всего мира.

– Смотри, какую огромную энергию выделяет 24-X-315, – сказал Пространство.

– Это энергия Любви...

– Да, настоящей, потому что творческой любви.

– Но смотри, что делает этот дуралей-художник! – добродушно-иронически прокомментировало благородно седое Время и потеряло перстень-печатку, предварительно подышав на нее и потеряв теплым, душевным рукавом из странных материй. – Он рисует на песчаном золотом берегу...

– Рисует свою мечту возле своей мечты! – воскликнул Пространство.

– Пусть тебя это не сводит тебя с ума, – успокоило Время. – Это же художник, искусство – непрактичная энергия ребенка, которая в чистом виде принадлежит

Творцу не впитываясь в земные метаморфозы.

24-X-315 пальцем на мокром песке моря начал рисовать дорогой до медовой боли силуэт своей мечты. Разговаривал с девушкой – и рисовал. Ему хотелось съесть объект своей любви, большой, словно море с небом, душой. Но какая-то невидимая сила заставляла его быть нерешительно нежным и незаметно для него самого рисовать свою душу Образами-образАми.

– Видишь, видишь, – дышал художник девушке, превращая ее в Музу на глазах всего живого, сам того не зная.

«Поцелуй... поцелуй», – шептали волны. «Обними», «обними», – скандировали чайки, «люби ее», «люби!» – молчали роскошные медузы. Художник интуитивно слышал их и еще горячее, нежнее рисовал на песке девушку.

– Видишь, видишь! – шептал он, и в конечном итоге не сдержался – со своей наивной в техническом плане кистью побежал к скале, чтоб на ней нарисовать, потому что на песке портрет смывала волна, как время.

Девушка протянула руки, как та же волна – и не дотянулась до своей сладкой муки. Заходило Солнце. Девушка отплывала – появлялась на горячей скале.

– Станный, странный мужчина... Почему же он не?... Ведь они любят друг друга! Ведь это все! – до неприличия разволновалось Пространство.

– Это Художник, - ответило Время. – Кстати, он потом будет себя терзать, корить за этот день. Они очень парадоксальные существа – эти алмазы. Будучи губками, которые всасывают энергию каждой окружающей песчинки, они, как линзы, фокусируют ее в одну сверхгорячую точку – и отдают, сами же чувствуют себя ужасно неутолимыми, часто пустыми и бедными. Да на самом деле так оно и есть... Они слишком чувствительны – поэтому бывают, а точнее кажутся, слишком жестокими, и слишком слабыми, и слишком сильными... Крайность переходит в свою противоположность. Я бы художников всех времен и народов так бы и назвал – Парадоксами.

ДНЕВНИК ЛОА

Но самый большой парадокс вот в чем. Тот же человек, который любит человечество, способствует его сохранению, размножению семимильными шагами уничтожает свою колыбель-лабораторию под названием Земля: высасывает нефть-кровь, покрывает асфальтом землю-кожу, моря, загрязняет чем может, как может, уничтожая все живое. При этом, ужасными темпами размножается: 1900-й год – миллиард людей; 1990 – семь, кажется, миллиардов. Вот пошёл!

Самая страшная правда в том, что какой-то Гитлер для Вселенной полезнее, чем самоотверженная монашка-альтруист, потому что Гитлер помог людям уничтожить миллионы людей, а значит, так или иначе продолжил возраст Земли. Ведь в войнах погибают потенциальные гении, которые могли бы в будущем придумать новые методы уничтожения человечества, или же его сохранения, что в конце концов парадоксально равноценно... Одно слово, парадокс-борьба, как двигатель всего материального через духовное – и наоборот. Это хорошо придумано. Если человечество себя уничтожит – выделится энергия, мгновенная энергия массы, которая не является качественной; если же оно выживет, покинет

Землю и расплодится, распространится во всей Вселенной, то энергия будет очень распотрошенной. Лучше всего – помогать просуществовать ему на Земле как можно дольше и, поскольку самая ценная, самая чистая энергия – энергия алмазов, работа гениев духа – то создавать перманентные условия духовного дискомфорта на планете. Способы разнообразны, один из них – через дискомфорт материальный.

Так вот, потенциально гениальными генами я буду заниматься сам. Случай, Судьба, Время и Пространство пусть занимаются животным, растительным миром, а также нормальными обычными людьми. Так было, есть и так будет.

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Слушай, Время! – засуетилось Пространство, скользнув случайным взглядом по инструкции. – Так будет всегда? Мы сможем хоть немного вмешиваться в жизнь любимцев Творца – разных гениев?

– Старик, а разве мы не хулиганили зачастую в этом секторе?

– Ну, я лично издевался иногда над любимцами Судьбы, а с любимцами Лоа даже Случай осмеливается больше шутить, чем я.

– Короткая у тебя память, коллега. Я понимаю, Овидия ты не засыпал, Данте не мучил, Гомера не ослеплял... Когда стреляли в Пушкина и Лермонтова на пулю не дул, направляя ее так, чтобы не смертельно, но чтоб мучались... Вмешиваясь в жизнь обычных людей, мы так или иначе создаем атмосферу для созревания алмазов, качества их, на восприятие ими мира, которое у многих фиксируется в картинах, поэмах, романах. Самое стоящее записано у нас, на дисках.

– Да, гении выполняют кусок работы за всех нас, включая Лоа, – сказала задумчивое Время. – Они готовят целые сконденсированные блоки информации. Переваренные, душевные, энергичные... Вводи их в блок информации – и готово...

– Кстати, ты не замечал, что люди, которых мы называем гениями, действительно парадоксальны. От них либо безумной энергией веет, либо смертельным покоем, сладким каким-то покоем. – Пространство пошло бродить по комнате.

– За все, за все нужно платить. Закон сохранения энергии... – Время махнуло рукой, поправило волосы, словно разогнало туман. – Ну, давай, давай пойдем дальше, дальше, куда-то в средневековье, ведьмачество. Следи за тем геном – 24-X-315.

– А может, в динозаврах поискать?

– Это, кстати, идея... Хотя сомневаюсь. Это совсем другой этап, другая эра на Земле. Мы же занимаемся эрой человека.

– Так вот... – Пространство нажало клавиши. Компьютер захныкал и засветил ночь.

МОНАСТЫРЬ

Старый, старый, добротн уютный, надежный монастырь с подвалами, бочками, запахом вечности и дикой жизни сердец под шкурами больших зверей, с огнем факелов и пещерно-первобытных костров. Полутона, приостановленное

время, сжатое пространство. Романтически чувствует себя здесь человек в группе людей. Космически-беззащитно – в одиночестве. Ополуметь можно, проснувшись здесь в солнечное ветренное утро и понять – ты один в этом высоком и глубоком замке–монастыре, в подвалах которого можно найти трухлявые кости мучеников за веру, плательщиков за слишком бурную, вызывающую жизнь земную.

Странно и дико было видеть деревьям, росшим на кровле монастыря, молодых, как дубки, казаков-православных, когда разные иезуиты вели их в пропащие, как души, подвалы замка, чтоб заливать расплавленные свинцовые пули в горло, сдирать кожу живьем, скармливать их крысам. И за что? За веру. За одну из тропинок желания прийти к Лоа. Это ужасно.

Возможно, более ужасно, чем то, что должно успокаивать человека, уничтожает его. Это Парадокс.

...Об этом говорили две женщины. В старом-старом окне кельи стояла Луна. Засиженная мухами и пойманная тихеньким пауком. Одна из женщин – пятидесятилетняя монахиня, другая – беженка с двумя детьми. Шел 1914-й год. Мировая война. Беженкой, можно сказать, крутилась сама Земля.

Монахиня была пепельной, с глазами, как перепелиные яйца. Большой нос... великоватый, как для женщины, женщины ее роста, магически светился убитой, вернее, задавленной, жаждой. Такие перезрелые груши расползаются между пальцами ног. Другая женщина – просто женщина. Крестьянка. Выросла из земли. В школах не была, но читать и писать научилась. Библией не увлекалась, как кое-кто... Как все, ходила в церковь. Мир воспринимала в болезненном единстве всего живого. Знала столько сказок, загадок, пословиц, что... И так их душевно и искусно рассказывать умела. Денег за это, как дутые профессора, не брала. А слава...

Монахини дали прибежище ей, вместе с сотнями других беженок в своем монастыре. Мужчины должны были стеречь коней и бедные узлы с домашним скарбом под стенами дома Христовых Невест. А женщины лежали. В каких-то коридорах, служебных помещениях...

Конские хрипы под монастырем часто смешивались с типично старушечьим храпом в кельях. Через храп и хрип, как тайна тайны, шелестели устами две женщины – монашка сестра Людмила и Анна.

– Главное, знаете, душу, душу спасти, сестра. – Монашка набожно крестилась. Поколупалась в своем носу, который, кстати, вряд ли, понравится Богу, если он эстет. – А вы, сестра, молитесь? Молитесь? Мы все в страшных грехах. Все в грехах.

– Я сестра, обращаюсь к Богу. Поклоны бью разве на исповеди. А обращаюсь всегда. Очень сильно чего-то у Бога не прошу. Чтоб не разочаровываться.

– В нем?! – как-то по-иезуистски блеснула монахиня.

– Я слабая женщина, сестра.

– Ой, молись, молись! Ты страшная грешница...

– Но как-то... двое детей, война, мужчина...

– Это земное все, земное. Это все преходящее. Оно испытывает нас. Там, там

счастье, – зашипела монахиня и воткнула пальцем в потолок, где, ей казалось, должно было быть ее Небо. – Знаете, и среди монахинь есть разные, ох, разные. Ну, какая, скажите мне, она «божья невеста», если она уже не девушка. Есть такие, что детей не могут иметь. Любили, любили, что хочешь вытворяли, аж сок из них сочился. А нарадовались жизнью – и сюда!.. Я вот до пятидесяти дожила, а, слава Богу...

– А действительно, зачем Господу не девушки, – подумала вслух Анна и тайно перекрестилась, чтоб не засмеяться.

В это время сухо застонали двери. Так, что даже кое-кто проснулся, а может и все... В темноте появилась тень, медвежья, горбатая какая-то. Вскрикнул ребенок. Только настоящие женщины могли распознать, что ребенку этому десять-пятнадцать минут от роду. Анна свернулась в клубок.

– О, о, о, – заговорчески зашептала просто в ухо Анне монашка. – Знаешь, знаешь, что это?!

В это время проснулась, заплакала дочь Анны – Таня, попросилась писать. Анна нехотя начала вставать.

– Слушай-ка! – дергала ее за рукав Божья невеста. – Это кошмар. Кошмар. Это наша монашка разродилась. Ее любовник это... Ее любовник... Он пришел забрать ребенка. Фи. Это же, можно сказать, он роды принял. Вот завернул скользкое новорожденное мяско – и куда-то... А куда?

Анна вспотела. Слова, которых она ожидала от себя, застряли в горле. Монахиня тоже зашуршала, и они оба, как тени, поплыли во двор. Красная луна. Безветренно. Мужчина положил ребенка в траву. Он подал голос. Он размахнулся лопатой... но медленно опустил ее мимо ребенка. Плюнул в сторону. Перевернул ребенка ртом к земле. Наступил ногой на головку. Крик стал землей. Быстренько выкопал яму, вбросил туда младенца. Оглянулся туда-сюда, поднял крышку с бочки, что стояла рядом из-под вина к причастию. Положил круг на ребенка, еще немного подкопал вокруг и засыпал порывистыми щедрыми жес-тами.

Две женщины притаились. Они все видели. Мужчина же не хотел, а поэтому и не мог видеть людей. Он видел лишь свою душу. Он был упрям и нем, словно колючий провод.

– О-о-ох! – по-звериному застонала Анна. – Люди! Люди!

Божья невеста лишь задергала Анну: мол, ах, дуррепа же ты, дуррепа! Зачем?! Спрятала голову в свой огромный капюшон, как улитка в домик, как мужчина-убийца ребенка в свою душу.

Словно сквозь воду, начали загораться капельки монастырских окон. Анна ринулась откапывать ребенка. И пока будоражилась привычная, легко рисованная воображением жесткая суета, она уже держала ребенка в руках, как сука, облизывая его от земли, ведь она была еще живой.

Никто и не заметил, что именно в эту ночь было затмение Луны. Человеческая суетливая комедия закручивалась в направлении виновных: чей ребенок? кто этот мужчина-монстр, который хотел убить его, сам сделав месяцев семь или девять тому. Мама ребенка – монахиня – была совсем юным, бледным, тонень-

ким и нежным существом, с трепетным, как комок ветра, сердцем. В четырнадцать лет ее отдали в монастырь, а в пятнадцать с половиной она уже стала мамой. Кто был ее соблазнителем – неизвестно. Суд черниц во главе со старой, справедливой игуменьей вытянул из родильницы лишь такие слова: «Это был седой мужчина. Он встретил меня у реки, куда я ходила по воду для освящения. Он говорил, что очень любит меня, что заберет из монастыря, что богатый... Он поцеловал меня – в щеку, в уста, в шею, потом... потом везде. Я помню... Я ничего не помню. Мы встречались почти каждый день. А вот вторую неделю ночевал в монастыре под видом беженца. Он любил меня...»

– Кто он? – шипели судьи.

– Я не знаю. Он был очень молчалив, но очень умный, – шептала хрустальными устами... девушка.

Наступило тугое молчание. Совет Божьих невест творил суд. Нужно было вынести вердикт.

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Время, Время, быстренько найдите мне того седого мужчину. Кто он? – просил вспылчивый Случай у почтенного Времени, сидевшего за компьютером.

Время молча, авторитетно нажало нужные клавиши и на дисплее высветилось: «Такой-то такой-то – преподаватель такого-то такого-то европейского университета, профессор».

– Видать, ангел-охранник у него пьяница, – сказала серьезная Судьба. Умный же мужчина, талантливый, а со страстью обычной справиться не смог. Все ему заступила страсть, нежная, словно кровь мертвого дерева.

– Не выключай, не выключай! Посмотрю, чем же закончится этот человеческий суд над людьми, которые любили телами, – попросил Случай, который тоже был здесь – пришел вместе с Судьбой.

– А как бы вы рассудили этих людей? – прищурясь, спросило Пространство.

– За бальной системой Лоа, основанной на любви? – переспросил Случай.

– На душевной любви, которая ведет к телесной, а не наоборот, – зарделась красивая Судьба. – Здесь незачем долго мудрствовать. Девушка неопытна, ребенок еще душевно. Жила с дедом и бабой, без родителей. Они умерли. Добрые люди отдали ее в монастырь. Соблазнитель не дьявол, как говорят люди, но не смог контролировать свои действия. Если бы он любил девушку душой и полюбил в конце концов телесно, другое было бы дело. А так его датчик – «ангел» – не светится, даже немного. Так что любви нуль. Приговор однозначный: в памяти компьютера тоже его уничтожить. Девушке дать возможность дорасти до себя. Из нее может быть даже еще алмаз вырасти...

– Это ты относительно Страшного Суда их расставила. Пронзительно правильно, – кахикнув в кулак, сказала Время...

– Да, так что ты будешь делать с ними в жизни как Судьба? Ведь они еще могут жить. Особенно монашка, – с видом экзаменатора посмотрел Случай в глаза Судьбы.

- Разве же вы не видите, что здесь за меня решают люди.
- И тебе не хочется вмешаться именно в этом случае, – все не мог угомониться Случай.
- Хочется. Я буду действовать через ту женщину Анну, что с той длинноносой монахиней разговаривала. А относительно седого соблазнителя, отдаю его тебе, Случай. Можешь ему кирпич на голову спихнуть руками людей, лапами зверей или крыльцами певчих птиц.
- Судьба достала из сумочки пункт дистанционной связи с компьютерами Времени и Пространства, а с некоторых пор и с Генеральным Компьютером Лоа. Порывисто вышла из Центра. То ли обиженная на Вселенную, то ли решительная, как... судьба.

МОНАСТЫРЬ

Между тем, люди не понимали, что в процесс вмешалась сама Судьба, а они просто бессильны сделать что-то, хотя, как им казалось, делали от имени самого Бога. Некоторые из них – особенно показательно набожные – сладко крестились-открещивались от такого страшного дела и мысленно больно сожалели за тем временем, когда такую Божью невесту можно было просто сжечь, как делали их старые добрые предшественники – инквизиторы.

Вышла Анна. Сказала: «Может, я чего-то не понимаю, люди. Но, по-моему так... Эта девушка нарушила законы монастыря. То правда. Но она не нарушила законы Жизни...»

- Она Бога, Бога рассердила! – кричали из толпы.
- Лицо Анны стало ночным, августовски ночным, энергично тихим.
- Если Бога обидила, то пусть перед Богом и отвечает! – сказала Анна. – А человеческое сердце мне подсказывает, что она будет когда-то очень добрым человеком.
- Вне монастыря пусть будет, кем хочет, – задрожала бледно-сдержанная игуменя. – Вместе со своим незаконнорожденным ребенком.
- Анна подошла к родильнице, взяла ее за руку, подвела к ребенку – и они пропали в толпе.

ЦЕНТР ЛОА

- Ну а дальше что делать с ними? У Анны же своя семья, – засуетилась Судьба, одиноко сидевшая себе где-то.
- А теперь попробуй оставить их в одиночестве с собой. Ты свое сделала. Гены и я сделают свое дело, – передал по специальной рации Случай. – В памяти Генерального Компьютера видел очень многих зародышей людей на рыбном, земноводном, животном уровнях развития. Их убивали-абортировали попы, монахи, ловеласы. Некоторых из них Пространство и Время, или сам Лоа сразу же вводит в лоа оплодотворенных женщин как ценный (алмазный) материал для следующих поколений. Вводят, обычно, на генном уровне. А с некоторых пор и мне, Случаю, позволяется вмешиваться... да и тебе, Судьба. У нас теперь демократия. А с той монашкой я тебе по старой дружбе советую вот что сделать...

Посмотри на ее душу, включи экран с датчиком-ангелом. Романтическая и бродячая душа и у младенца. Видишь, как светится – 600 алмазов по шкале. Сведи их с лагерем цыганским. Я уже давно пришел к выводу, что бедная воля после жизненных стрессов – самая лучшая почва для выращивания алмазов.

– Ладно, я подумаю, – улынулась гибкая Судьба и выключила персональный компьютер. Начался лиственный безветренный солнечный дождь.

АННА

Анна сидела на старых деревянных ступенях русского дома, построенного из колод, чистила картофель, который ночью вместе с другими женщинами-беженками наворовала, а точнее – набрала из железнодорожных вагонов. Шел 1920-й... Анна с детьми и с мужем Герасимом насмотрелись и натерпелась всего. Вчера была свидетелем того, как красноармеец выгнал из собачьей конуры польского «жовнЕжа» в одном грязном белье – с кровью, слюной, соплями.

– Я естэм ранЁный! Я естэм ранЁны! – просился поляк.

А буденовец:

– За каво ты «ранЁный»? За панов, за гадов! – и саблей, саблей его по голове.

Поляк русскому в родители годился.

Подругой Анны стала старая «татарка, от которой веяло настоящим, тем несказанным бытово-небесным, семейным, старчески-мудрым покоем, о котором все люди знают, или догадываются, и, возможно, ради которого живут-доживают.

Так вот, Анна с этой татаркой очень быстро нашла общий язык. Они много работали, много говорили, не замечая времени. Были счастливы, наверно. И детям было с ними очень хорошо.

– Как там, дождь идет? – скрипнула дверями на улицу татарка.

– Мала-мала шагат, – ответил ее чумазый правнук.

Действительно начался грустный дождь. Стало уютно и хорошо, как только может быть на Земле двум мудрым женщинам. А вокруг них творился неумолимый закон жизни – борьба, вернее крайняя ее форма – война. А еще – животные ели животных и растения, растения – насекомых (некоторые – шухирчатка и алдравадна – рыбу), люди – всех ели, кое-где и людей. Убивали друг друга за пространство, за судьбу, за время, за случай...

Как борется резак с заготовкой в станке, чтоб представить её в гармонии, так и люди – для производства идеальной материи Лоа, с помощью которой он сможет осуществить свои замыслы. А о них мы лишь догадываться можем. Этим же Творцом нам дано лишь строить гипотезы. А он только улыбается, наверно.

– Знаешь, Анна, – подошла с ножом к картофелю старая татарка. – Месяц тому умер мой девяностолетний отец. Его помню я, мои дети, внуки и правнуки... вряд ли. А уже праправнуки и знать не будут. Здесь-то и перерывается память о человеке. Все. Как и не было...

– Так это только человеческая память перерывается, – глубоко вздохнула Анна.

– А на небе или где-то там под землей – всё о нас записано.

– О больших людях и люди помнят долго, тысячи лет, – посмотрела на голову

дождя старая татарка. – Но лучше им от такой памяти или хуже – никто не знает. Какие-то балы, наверно, набегают. Только неизвестно – за или против, – Анна почесала колодкой ножа возле виска. – Ни к чему мы с вами не додумаемся, сестра. Не дано нам, людям...

– Да, одно большое нам дано лишь: знание о своей кончине и возможности даже самим выбирать время смерти.

– А знаете, – перебила татарку Анна, – когда-то, еще в ранней молодости, мне было очень тяжело (каждому так бывает, что жить не хочется), и вдруг подумалось: уйти из этой жизни я могу в любое время, если захочу, способов много. А вернуться... по крайней мере, в такой вот форме, – Анна взглядом и движением рук взволновала линии своего тела, – уже не смогу. Жизнь и так коротка! Так вот, домучаемся. А как нестерпимо станет – подумай о смерти, которую ты сама сможешь причинить себе – и опять сильной себя почувствуешь.

– В моем возрасте еще одна мысль греет: что живешь уже не ты, а дети, внуки твои. Ты – какая-то оболочка, ангел-хранитель их, – оживилась татарка. – Смотри, какой дождь! А идем в дом. Расскажи-ка мне, что было дальше с той монахиней, где она? А то так и не успела тогда рассказать...

– Болит оно мне, а бессильна что-либо сделать...

Женщины завернули под теплые дымовые крылья ужина детей, закрыли двери на засовы от неверного времени. Вот-вот должны были появиться их мужчины, которые лошадьми ездили куда-то – в голод, разруху, гражданскую войну.

Опять всю ночь душами общались две женщины разных национальностей. Вспомнила Анна носатую монахиню – «святую», рассказала, как вынуждена была смириться с тем, что за цыганом и его лагерем пошла освобожденная ею из рук церкви девушка-женщина с младенцем. «С судьбой можно бороться, даже нужно, но победить ее – не дано...» – еще раз согласились две женщины и перешли к работе.

За окном сырело. Судьба тоже не осмеливалась побеждать.

Зазвенели удилами кони.

ДНЕВНИК ЛОА

1. Слушал вчера траву плюс водяные лилии, чайки плачут, муравьи... А люди... люди все истребляют... Может, я слишком эгоистичен, может, действительно, лучше умереть, как и предусматривал этот безумный, демонизированный аист – Ницше? Поставить перед собой более интересное задание – создать вместо себя человека-Лоа – алмаз. Возможно, это ошибка, что я и человека создал, а еще... Но ради этого стоит Быть! Попробую. Механическое добавление генов, их смешивание ни к чему хорошему не приведет. Хотя, в конечном итоге, синтез наиболее творческих натур – это то, что мне нужно. Подняв к высокому информационному уровню все человечество (среда), можно будет создать, синтезировать алмаз наивысшего порядка. Больше всего нервирует меня все фальшивое: фальшивые пастыри, фальшивые художники... Они иногда настолько блестящи, что нужно новую программу компьютерную разрабатывать, чтобы их распознавать безошибочно. В последний раз попробую создать Богочеловека. Христос

был хорошей, гениальной попыткой, но человечество было не готово еще. Но катализатором он выступил сильным... Опять же – не для всего человечества.

Информация! Информация! Еще раз информация. Это наибольшая власть.

2. Теперь детали. Это должна быть женщина или мужчина? В конечном итоге, это же не так и важно, ведь мне нужна душа, а не тело. Раздвоил я человечество на женщин и мужчин лишь из соображений создания большего количества парадоксальных ситуаций, а следовательно – борьбы. Энергия любви-борьбы – ценнее всего. Теперь эту ошибку не исправишь... Так вот, какая душа подойдет (мужская или женская), пусть та и будет, хотя преимущества, наверное, за женщиной...

3. Критерий Человека-Бога – способность создавать живые существа, которые могли бы когда-то также сделать компьютеры и так же постепенно кто-то из них мог стать Творцом. В конечном итоге, я тоже своей родословной не знаю. Это наибольшая тайна. И над богами есть Тайна... Логическая, математическая какая-то бес-конечность всего тогда выходит. И вместе с тем – относительная конечность.

4. В итоге все мы, как и Боги – из всего, а все – из нас. Я не ошибся, когда посылал Христа с важнейшей заповедью, законом Бытия – ЛЮБОВЬЮ.

ВСЕ ЕДИНО. Тем более, если учесть факт, что все в конечном итоге и бес-смертно... Люди же не знают, что их души занесены в память нечеловеческих компьютеров, которые контролируют каждое движение их ресниц. А после телесной смерти оценивают души за шкалой ЛЮБВИ, и либо уничтожают, либо используют, как семенной материал для последующей ЖИЗНИ.

5. Соединив истины всех религий, человечество получит одну ИСТИННУЮ синкретическую религию. Они же гениально дополняют друг друга, даже на табло человеческих компьютеров высвечивая ОСНОВНОЙ ЗАКОН ВСЕГО ЖИВОГО – ЛЮБОВЬ.

Здесь у меня все идет, как было задумано, в конечном итоге, ко мне.

6. Все будто бы справедливо. Душа муравья, которую задавила девочка, когда бежала к маме, оценивается по той же шкале, что и душа мамы девочки, и кому больше дано, от того больше и спросится... Все души равны перед Законом – осота и аиста, человека и коня, лебедя и ворона...

7. Антилоа... Ох, смешные все-таки те люди! Однако, в конечном итоге, смех и отличает их от всего другого на Земле-лаборатории. Антилоа. Это все, что вредит Богу, а может, и жене Лоа–СМЕРТИ... в человеческом понимании. В действительности же... Каждый бывает антилоа и лоа, смотря что иметь в виду в той или другой системе координат. Для рабовладельца Антилоа – бунт рабов. А для рабов – ежедневный тягуче-жгучий рабочий покой с пирамидой, каменной пылью в сухом горле.

Но в конечном итоге, совсем не плохая идея для борьбы душ между собой. А тот вирус когда-то восставшего датчика-ангела, он до сих пор блуждает в живом компьютере Мира и вынуждает души человеческие звенеть перед черным, магическим и неизвестным. Люди его очень правильно назвали восставшим ангелом. Он действительно опасный для мира, но не для меня, поскольку, в конце

концов, могу уничтожить его вместе с миром. Теперь он – гениальная ошибка, которая будет помогать мне шлифовать души до божественной чистоты. Сатанинские гении – черны. Это, так сказать, – черные алмазы. Ясное дело, что в таком случае меньше становится белых, но какие они тогда чистые! Если они не соблазнились стать черными, а это легче, поскольку измазаться всегда легче, чем пройти сквозь ранние весны и поздние осени с большой и светлой душой и в белой одежде. Нечистая сила в тех или других ипостасях есть во всех религиях и верованиях человеческих. Язычники интуитивно (и поэтому правильнее всего) переплели «святое и грешное», выделив как богов Ветер, Землю, Огонь и Воду, а темные силы – это все, что их разрушает. Хотя противоречия существуют и внутри этих стихий – что наиболее парадоксально: вода тушит огонь, огонь испаряет воду... Это смерть – или Антилоа. Такие вот антагонии в парадоксальном сообществе и есть Жизнь. Это и есть выращивание алмазов.

Достаточно на сегодня. Символично закончились чернила в авторучке...

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– А жаль, что мы не можем почитать дневник Лоа, – ехидно улыбнулось Пространство и потерло руки, своевременно смекнув, что плевать на них перед кем-то – похоже на плевок в глаза.

– В конечном итоге, как там в Библии сказано: «Познавайте меня по делам моим». Давай, бери тот же ген 24-X-315 и крути дальше, – сказало сдержанно-авантюристское Время. – Давай-ка, старый, крутани колесо, останови его на какой-то войне, где уже фиксируется ген 24-X-315.

Пространство нажало несколько белых, как слонобая кость или белок молодого глаза, клавиш. Заревели динозавры, защелкали клювами птеродактили, задымились сами собой перепуганные вулканы. Дикую тоску за разумом выкрикивала их горлом природа и юный в своих начинаниях Лоа, создавший Землю-лабораторию и готовивший ее, как открытую клетку, к жизни тонких структур, первоначально закалив и опробовав их в грубом виде.

– Видишь, на этом уровне... вон дерутся два каких-то убоища здоровенные, как стартовые площадки межгалактических космодромов. Гены 24-X-315 здесь еще никак не просматриваются. Атомы общие случаются, есть, а гены... – оглянулось снизу вверх Пространство.

– А, мы уже все пробовали! – Время само нажало клавишу. Зазвенела струна... а затем – наоборот. Воины с профилями коршунов, мамы с профилями чаек, мечи, вулканно-звериные шапки, жажда, первобытность, война тела и немного – душ, и совсем немного – умов. – Здесь есть уже многое от 24-X-315. Но нужно крутить дальше – в крайнюю противоположность.

На экране со скоростью киношной перемотки зашелестела история человечества с заданным направлением поиска участия в ней гена 24-X-315.

Не тяжело представить, как стрелы превращались в пули, пули – на более совершенные пули... А души? Вот и было интересно Времени–и–Пространству, которые не так давно узнали, что они, оказывается, выращивают алмазы душ. Умом понимали, что в истории были войны, но пленка показывала, что войны,

оказывается, это и есть история, макроистория, потому что микроистория – это то, что делалось в душах растений, животных, людей на протяжении войн, насколько внешний страх влиял на страх внутренний того или другого потенциального алмаза.

– Останавливайся на последней мировой, – ненавязчиво предложило Пространство. – А то ничего зря тревожить к Страшному Суду давно умершие души.

– Но ты что! Я оперирую лишь с чистой памятью. Воскресение конкретных душ – под специальной клавишей Лоа, как та ядерная кнопка у человеческих президентов. Правда, воскрешать придется на этапе того так называемого Страшного Суда ох как мало! Динозавры все погибли. Людей, вероятно, немного останется....

– А затем что – еще один этап? – заволновалось Пространство. – И, кстати, когда тот Страшный Суд – то есть окончание эры человека?

– Когда люди создадут компьютер Лоа-уровня, то есть смогут тела наделять душами... Что-то не то! Тогда, когда реально будет выращен богочеловек... За логикой чистой здесь не пойдешь. Возможно, все это вообще неудачный эксперимент – и ничего у нас не выйдет. Христа же распяли. А это была реальная попытка, реальный этап... Ну вот тебе и ген 24-Х-315. Все войны одинаковы.

– Это, как ты говоришь, не обязательно выпивать всю бочку вина, чтоб знать его вкус, достаточно и ложки, – сказала Пространство. – Ну-ну, и как же ведут себя гениальные гены во время войны?..

– Гениальные гены или гении? – мудрённо улыбнулось Время.

– Мы же следим за генами. И это, кажется, даже интереснее, как-то, и тоньше. Нет разве? – отрезало Пространство и запустило компьютер.

За какие-то пять секунд на экране промелькнула тысячелетняя история человечества, которая оказалась в ускоренном показе самой обычной историей войн, включавших историю «борьбы классов», племен, народов, отдельных людей – одних с другими, борьбы человека с собой, души с телом, молекулы с молекулой, атома с атомам, ядра с ядром, протона с электроном... И при всем этом удивительно сохранялось динамическое равновесие целой Системы, это балансирование, критически тонкое балансирование на грани. Именно так и выращиваются характеры, духи-алмазы, которые являются ничем иным, как сфокусированным в критическую точку божественной парадоксальной энергией, родившейся в процессе прохождения через разные искушения, поганства, дьявольщину, метафизику – с одной стороны, а с другой – через самые светлые, солнечно-божьи вещи, обладавшей при этом недюжинным умом-мудростью плюс душой-духом, душевностью. Весь этот сплав-алмаз по-другому можно назвать интуицией. Интуиция – это Бог плюс Антилоа, душа плюс тело... плюс-минус. Интуиция – парадокс, искра жизни, от одиночества к любви – и назад.

– О, о, о! – Время ухватило Пространство за руку. – Вот здесь аут. Лампочка горит, 24-Х-315 фиксируется. Теперь давай помедленнее.

На экране компьютера поплыл какой-то город начала двадцатого века. Город настоящий, потому что веяло той старомодностью, что создает атмосферу, что, возможно, и является искусством – старые подъезды, седые окна. Все пропи-

танно человеческой историей и общекосмическим вечным несовершенством, сладким каменным покоем, который (и в этом весь ужас человеческого существования) не может длиться бесконечно. Живое существо должно что-то делать. Когда ему лень повеситься, оно благодарно, что придут какие-нибудь враги и повесят его. Лицо убивает два зайца сразу – из покоя переходит в покой, из Лени – в лень. Одним словом, по-настоящему слабым может быть человек по-настоящему сильный, то есть тот, кто ничего не боится, наперед готовый ко всему.

УЛИЦА ГОРОДА, ПОХОЖЕГО НА ЛЬВИНЫЙ

Компания ребят пижонистого возраста вышла в дождевой вечерний город из того старовекового подъезда в центре города, который для людей художественного вкуса пахнет чем-то таким... А для мещан – крысами, старым вареньем, гробовым деревом. Словом, как по-разному души воспринимают богатые старинные склепы, так по-разному видят и старые дома старых городов.

В компании ребят был брат бабы Анны. Заехал он сюда из-за любопытства, возвращаясь домой из России в Польшу – Грубешов. Случайно в поезде познакомился с местным жителем и принял приглашение заехать в гости. Он владел генами 24-X-315. Звали его Степаном.

Ребята вошли в парк.

– Знаешь, Петр, – сказал Степан своему новому знакомому, – мне бы очень хотелось поступить в университет, но отец не позволил бы. Хозяйство... земля. Но я, наверное, все-таки попробую. Честно говоря, для того и заехал сюда, чтобы разведать.

– Я тебе, кажется, говорил, что моя сестра работает там ассистентом на кафедре, – искренне восторженно отзывался Петр. – Ты интересный мужчина. Мне очень хочется показать тебе пробу свою пера – рассказ.

– А зачем ты их пишешь? – так вот спросил Степан.

– А зачем мы живем?

– По-моему, Шиллер сказал: глупость делает тот, кто хочет в свои художественные произведения вложить философию жизни, жизненную философию. Хочешь, расскажу тебе, благодаря каким умозаключениям я еще живу на свете, не повесился от бессмыслицы, от всего этого ... Во-первых, существуют основные философские законы. Их для меня четыре: все имеет свое начало и конец; все приближается к началу своему (ребенок и старец – одинаковы), крайность переходит в свою противоположность; начало от нас не зависит, а конец может зависеть. Хотя, обычно, не всегда...

Компания разделилась на компашки по интересам и направлялась мокрыми, почти безлюдными улицами к общей цели – в парк, где должен был выступать всемирно известный гипнотизер с горбатым лилипутом-клоуном – женщиной, которую Петр видел несколько дней назад в магазине – с тележкой и ребенком в ней. Удивительное зрелище. Какой-то небесный холодок обнимал каждого, кто шел им навстречу: интересно – ребенок тоже калека? И как она с такими тонюсенькими ногами и такая вся кривенькая, не знаешь что где – родила ее, если присмотреться – большую, румяную и красивую. Наверное, взяла из Дома ре-

бенка... Скорее всего, это не ее ребенок, а знакомых или родственников... Естественное человеческое любопытство не знало границ. Зависало в пространстве.

– Интересно-интересно, Степан, ты мыслишь, будто университет уже закончил, хоть в действительности... Это врожденное у тебя, – будто себе сказал Петр.

Тот продолжал:

– Знаешь, каждый сам себе так или иначе гипнотизер. Мы не умеем быть самодостаточными, как коты, но частично навеем себе душу – можем. Так сказать, правила игры для себя установить.

Ребята зашли в парк.

– Я о гипнозе еще хочу кое-что сказать, – посмотрел Степан на Петра и протянул руку, чтоб привлечь его к себе.

Резко где-то в стороне прозвучал выстрел. Все ребята словно осколки разлетелись в стороны, бесконтрольно и инерционно.

Степан упал на золотые листья. Мертвый. Кто?.. За что? Никто из людей так и не знает ответ на эти вопросы до сих пор. В тяжелые, диффузионные, переходные времена человеческая жизнь-имя набирает какие-то метафизические спектры.

Тогда все решили, что это была самая банальная случайность – какой-то идиот забавлялся с оружием, ему было все равно, в кого стрелять, и он направил ствол в группу людей.

– Такова его судьба, – сказал Петр и потер глаза.

На этом все и закончилось. Закопали Степана неизвестно где. Для родственников он пропал неизвестно где – и навсегда...

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Видишь, Пространство, что натворила эта влюбленная парочка! – сказала Время. – В этот раз явно победил Случай.

– Почему так однозначно? Если они любят друг друга, то Судьба может быть Случайной, а Случай Судьбоносным... Высокий балл дается людям, которых «полюбили» Случай и Судьба, – просуммировал Время.

На экране дисплея высвечивались утренние туманно-розовые золотые поля, взрывы бомб, трупы цветов, животных, люди. Опять поля – вечерние, кладбища... Расквартированные по домам немецкие солдаты, которые кормят детей своего врага шоколадом. У кое-кого возникают ассоциации: кролиха родила пятерых кроликов и умерла; осиротелых животных из соски выкармливала молодая хозяйка – жалела, трижды на день где-то по часу своего молодого драгоценного времени тратила на это. Наконец, когда уже все забыли об этом случае, на какой-то семейный праздник она подала тушеного кролика. Вот оно – человеческое милосердие.

– Вот еще один с геном 24-X-315. Николай Ромодан. Видишь, какой красавец-мужчина – коня «на скаку» остановит. Вот он, видишь, бандеровец в «кривке», это его уже немцы забрали в дивизию СС «Галиция», вот он (еще немного пленку прокручиваем) в форме советского пулеметчика, идет мокрой, словно язык, по дорогам Польши со своим батальоном... Вон обнимается: земляка встретил... Давно уже нет ни его, ни земляка, который пережил войну и вскоре умер.

Николай Ромодан погиб на Одере. Совсем немного до конца войны осталось. Родители старушки потом хотели ехать к нему на могилу, в Германию, но здоровье, другие разные крестьянские причины... Сами понимаете. Вот такая еще одна Судьба. Не успел человек ни жениться, ни на стороне детей завести. Только и остался от него портрет для родных, дети которых уже и не знали, кто он такой, тот красивый, вечно молодой дядя на стене. Политика здесь – до одного места. Человек главное...

– Знаешь, Время, на тех землях, куда переселяются родственники Николая, где-то в 1985-1986 годах (точно не помню) по программе какая-то ядерная катастрофа. Кажется, электростанция взорвется. Об этом никто не знает, кроме деревьев некоторых, трав. Но их молчания люди не понимают.

* * *

...Дымили концлагеря, в небо ревели коровы и кони на бойнях, плавился металл, кости ложились и ложились в землю – вместе со своей любовью, изменами, убийствами, болями улетали души растений, животных и людей на вечный сон. Дела людей, их полезность в выращивании алмазов фиксировались на генеральном компьютере Лоа по лишь ему известной шкале. Компьютер распределял энергию душ, тела которых были уже мертвыми. Одни становились животными, другие – растениями. Другие просто-напросто уничтожались как вредные и ненужные. Души рожденных и сразу же умерших детей становились датчиками-ангелами, но не все, а лишь крещенные определенным набором генов, которые должны быть полезными по программе Лоа для создания Нового Лоа. Больше всего шансов обычно было у людей верующих в Бога, даже слепо. Больше всего у тех, кто «хотел быть Богом» – как Шекспир, как Христос, который назвал себя сыном Божьим. И, наверно, действительно имел на это право.

– Вот, смотри, смотри, опять ген 24-X-315, – воскликнуло Пространство. – Зафиксируй! Он, кажется, ведет дневник. Ужасно люблю радоваться человеческим философствованиям.

– Ага. Владелец этого гена украинец, крестьянин, но, судя по всему, интересный, – сказала Время. – А ну-ка дай картотеку.

Экран высветил специфическую таблицу.

– Видишь, владеет немецким, польским, российским и родным языками. Читает и даже пишет ими, – увлеклось Пространство. – А вот и его дневник: «1. Двадцатые годы. Опять мы не сделали свое государство. Мы не имеем элиты, господ, лордов. Лишь полупанки. Наш господин всегда кому-то должен служить – полякам, туркам, москалям, австрийцам, немцам, татарам. Наши господа жополизы. Гордые гены могли остаться лишь у тех людей, которые пошли служить природе, посвятили, так сказать, свое самолюбие земле. Самостоятельные крестьяне – это украинская настоящая шляхта, лорды, князья... Такая уже судьба негосударственных народов.

Даже Мазепа и Хмельницкий и те были застрелены польской государственностью. Почему немцы такая сильная государственная нация? Потому что у них масса – как у нас исключение, а исключения – как у нас правило. Они прошли

через рыцарство, а мы не успели – слишком хорошую землю дал нам Бог. Постоянная охрана ее истощила мужские силы нации, отобрала постепенно лучшие силы женские. Самых красивых, самых сексуальных женщин – за косы и себе: в гаремы и шатры, избы, палаты... Детей – в янычары. Лучшие мужчины погибли в боях, худшие – служили врагу...

Дефицит сильных, гордых в хорошем понимании личностей – наша наибольшая беда. Польская госпожа выехала из Львова, ее горничная стала паней, одев платье, которое ей госпожа то ли из жалости, то ли просто в спешке собираясь, оставила вместе с крикливо красивыми католическими иконами, на них глупые в своей дремучей душевной простоте православные украинцы молятся, потому что «они красивы».

2. Но знание истины и жизни в истине – совсем разные вещи. Все многое понимают, но сделать что-то на геномном уровне – дело не одного поколения при самых благоприятных обстоятельствах. Дай Бог, чтоб это был покой перед бурей, чтоб и наш народ засветился на весь шарик земной.

3. Ох, был бы я сильной личностью, а то так себе – ни рыба, ни мясо. Может, внуки будут более интересными, более сильными, чем мы.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Время, Время, мы же войну хотели увидеть, как себя 24-X-315 будет вести... – разлохматилось Пространство, потирая свои старомодные джинсы.

– Ты же видишь, что война – это в принципе ускоренная жизнь, – ответило Время. – Все остальное – взрывы мертвой материи. Хотя... души наблюдать интереснее всего в экстремальных обстоятельствах-условиях.

– Но временами создание условий зависит лишь от нас.

– Да-да, а еще – от Судьбы и Случая. Смотри дальше, – Время нажало кнопки. – Видишь, когда по программе Лоа 24-X-315 – потенциальный алмаз, Судьба может сделать его несчастным, еще при рождении, или через несколько лет – забрать из жизни маму, например, как у Шевченко, или забрать родных и оставить его одиноким-одиноким, как Лоа. Это, наверное, нужно. Судьба делает план, а Случай найдет причину. От вселенского одиночества к общечеловеческой любви и наоборот – один шаг. Кстати, интересный психологический момент: воспитывать интересных личностей желательно дедам, или даже пра... чем родителям. То есть, в воспитание лиц с генами гениальности я вообще не верю, но атмосфера, корень... это играет незаурядную роль. Так вот, давай создадим экстремальные условия гену, за которым следим – 24-X-315.

– Ну, давай...

Пространство и Время сделали себе чай из суданской мальвы и удобно уселись в кресла-вертелки. В это время Судьба и Случай случайно встретились в одном из красивых городских парков, хотели не заметить друг друга, но не смогли – и пошли-полетели над осенью. Что же это, если не любовь!? Ну что же это? Им было болезненно сладко хорошо обоим. Так хорошо бывает не всем во Вселенной. Тело сливалось с духом, не чувствовалось ни времени, ни пространства, ни души, ни тела – чистая энергия любви, такая одинокая и такая пропадающая-бесцен-

ная для Лоа, что если бы даже была эта любовь украденной, прелюбодеянием и тому подобное, то компьютер Лоа не обратил бы на это внимания... Для любви, наверное, один закон – Любовь. Самое фальшивое явление – фальшивая нефатальная любовь. Это как слеза с парфюмерными тенями из глаз. Слезка, вызванная луком. Действительно, поразительная разница: материально слеза при потере любимого человека и – когда муха в глаз угодит – одинаковые, но для первой нужна работа души, а для второй? Душа – зеркало мира. А что такое зеркало? В конце концов, это ночь плюс золото. Вот и вся музыка.

– Но все же, все же, Пространство, смотри, что-то на этом... пространстве уже нет, не высвечивается 24-Х-315.

– Включи запрос.

– Включил. Ага. Переселение по политическим причинам. Акция «Висла»... Представляешь, как тяжело оставлять людям, особенно молодым семьям, ново-выстроенные, свеженькие дома, свое материальное хозяйство – землю, хозяйство духовное – могилы предков. Когда человек один – ему легче, а когда имеет семью...

– Не у всех же людей одинаково развито чувство Отчизны.

– Это правда, не во всех, – горько задумалось Время. – У крестьян оно сильнее, потому что лучшие из них живут так: из земли вышли – в землю, которую обрабатывали, и перейдут. С гордыми и чистыми душами, не дергаясь, не прогинаясь-изгибаясь, как ужи, по городам чужим. С отдельными сельскими дедами или бабушками никакие профессора не сравнятся...

– Может, – никакие фальшивые профессора?..

– Нет, Пространство. Человек, который стремился стать профессором, уже неполноценный, не самодостаточный, формальный, даже при недюжинном уме. Профессор – для людей, мудрый человек – для Лоа и для людей... и для животных, и для растений, звезд... и для орла его, и для осла его, и для всякого скота его. При том всем очень многие хорошие люди оставляют село – и отправляются искать счастье и чины... Бог им судья... В конечном итоге, все люди рано или поздно землю покинут, и Землю с большой буквы – тоже.

– Что-то, Время, мы занудами стали! Тебе не кажется? Заржавели, что ли? – Пространство включило веселую танцевальную музыку. – Вот они, экстремальные условия для душ. В таких происходит усовершенствование душ или их ломка...

– А что ты там нашел? Ага. Штрафной армейский батальон, который строит дорогу через тайгу неподалеку от Читы – в сопках. Вот и гены 24-Х-315. Ну что же, увидим. Поехали.

ЗОНА

От мороза трескалось стекло. На проводах замерзали, словно засыпали, воробьи – и погасшими звездами капали в тонкий, словно девичьи плевы, снег. Землю крутили «ветра-читинки». Тайга была марсово неуютная и по-земному родная.

Возле бурятского поселка Угдан гуляли голые коровы какого-то молочного,

слегка кровавого цвета. Привыкшие к морозу и к смерти, о которой, наверное, не знали. Люди знают, что она есть, но не знают – какая. Так же и с морозом. Он есть, а потрогать его – никак. Как-то не по-человечески. Самодостаточные коро-вы. Мазохистские души-люди. И здесь парадокс: животное, чем оно самодоста-точное, тем более животное, тоньше всего беззащитнее, само-ищущее... расша-танный человек – наиболее человекен.

* * *

Здесь, на таежном морозе, наиболее объемно понимаешь, что оно такое – ЧЕЛОВЕК...

...Люди чистили оружие.

Потом, когда резко упала таежная ночь, некоторым из них выпала судьба чи-стить картофель. Как не хотелось! Но сержант Джахаров, полуграмотный и по-казательно жестко-жестокый, показательно иронически тыкал пальцами в грудь самых тонких солдат-зеков. Правда, где-то глубоко-глубоко, в скально-пещер-ных морщинах его лица, вытекавших из полудикого сердца, угадывалась боль, а за болью – что-то родительски защитное. Как раз на лезвийной меже остано-вилось в нем человечески-звериное и сбалансировало. Куда качнется – зависело от казарменного сквозняка, а может, от чьего-то хронического покашливания, а может, от интимного стопа в каптерке ветхой казармы, где крутые с виду дагес-танцы играли-любили спито-скуренных буряток, мяукала гитара россиянина Хе-раскова, друга каптерщика – таджика, хитрожопого (на вид), хотя красивого той восточной красотой, которую понял бы и принял, кажется, каждый землянин, каждой нации или народности, которых в роте штрафного автобата было аж 27.

Пошли чистить картофель. На компьютере Лоа записаны все грехи душ каж-дого участника этого процесса – такого приятного в патриархальной семье и смертельно экзистенциального в нестандартных зоно-армейских условиях. Ка-кой смысл красть информацию из компьютеров Лоа, Времени, Пространства? Ведь тогда все писатели – инженеры человеческих душ – самые обычные пира-ты-браконьеры. В нашем случае назовем борьбу человека с человеком и с при-родой просто национальной дедовщиной. Это будет справедливо еще и из тех соображений, что характер человека однозначно детерминирован географичес-ки. В отличие от обычной известной армейской дедовщины, «дедовщина» на национальной почве интересна в смысле распознавания характера человека че-рез национальность и национальности через характер человека.

Коротко. 1. Законы природы однозначно первичнее моральных или нет? В экстремальных условиях все высвечивается. Обнаженно. Правдиво. Как осень срывает маски с деревьев и кустов, так и не теплично-первобытно-жесткие ус-ловия – с людей; аж позвоночники просвечиваются, как кресты... – записал в своем заголенищевом блокноте подопытный Времени и Пространства 24-X-315. – В роте азербайджанцы, казахи, киргизы, буряты, дагестанцы, таджики, кара-калпаки, якуты, удмурты, даже кореец Ли... Из славян – четыре россиянина, два белоруса плюс три украинца.

Не дай Бог зацепить сопливого, сонливого новенького доходягу азербайд-

жанца: все азербайджанцы монолитно бросались перегрызть горло его врагу, будто рука защищала свой палец, или сердце, или глаз... Россияне держались кучкой, дружили, белорусы – каждый сам по себе, также и украинцы: меня не трогают – и хорошо. Исключения, обычно, есть... Но, наблюдая за спаянностью, например, бурятов, чувствуешь кишками силу Чингисхана, дух, которого, между прочим, до сих пор витает между их душами и зовет, зовет в конный полет на славян. «Один за всех и все за одного» для них не блатной зековский и не салонно-рыцарский лозунг, а закон крови – МУРАВЕЙНИК. Такие нации должны были быть сильно государственными в прошлом или в будущем... Нация, как и человек, имеет детство, юность, молодость, старость... Реализация, как правило, приходится на молодость-лето, а не на лето-старость. Бывает, что как раз в это время она под властью-влиянием более сильного (часто ранее состарившегося) соседа, которому «хочется гулять» от избытка энергии: в своем доме места мало... Хотя исключения есть, вернее, правил нет: например бандеровщина, крутые освободительные движения...

Резкий, грязно-сопливый, какой-то объемный, словно половой акт под водой, удар попал ему между зубами и носом. Что-то хрустнуло, появились звезды и медленно начали исчезать. Хотелось только одного при этом внутреннем звездопаде – чтоб не разорвалась душа, большая и беззащитная, как небо, как Вселенная.

– Ты чё, скатина, расселся? Чё пишешь? Стучишь, шо ли? – нависла над 24-X-315 голова Тмутараканова, двадцатичетырехлетнего старшины роты с нежно дикими глазами. Но, как оказалось, бил не он, а рядовой Федоров, беззубый и несчастно озлобленный, то есть психически больной.

– Пшел парашу чистить... – свой голос он ловил пупом, подвертывал его танцем живота, жонглировал – и бросал подальше от себя, потому, что боялся... его.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Смотри какая грубая работа души, Пространство! Мы недаром подключили именно экстремальные условия дозревания душ.

– Ага, – кивнул Пространство.

– Смелый человек не тот, кто окаменел в борьбе за жизнь, не психически больной... недавно в библиотеке я видел кота, который очень удивлял людей слишком смелым поведением: проходил сквозь «вахтерскую» вертушку в момент ее самого быстрого кручения, шел просто на дремучих мужиков, не моргнув глазом, как говорят, а оказалось, что он слепой! Жутко и неудобно стало. Так вот, мне кажется, что по-настоящему смелых субъектов не так уж и много.

– 24-X-315 еще совсем ребенок. Чего же не вмешался тогда Случай?

– Умный он потому что. Посмотри, Простор, какие мысли рождаются в мозге 24-X-315, когда его бьют сапогами до синей крови другие субъекты, вынуждая физическими методами выполнять вместо них физическую работу, которая, как мы знаем, являемся следствием изгнания из рая... из первобытной лаборатории Творца.

Алмазы дали трещину. В принципе, так должно было быть. Это самый легкий способ продолжения жизни: поселить в одном курене насильника и блудницу. Ведь монах с монахиней, если они не фальшивы... Другое дело – комбинация проститутки с монахом, или – наоборот... Здесь вероятность рождения богоподобного существа растет на тысячи, а может, миллиарды порядков.

– А ну-ка, покрути немного дальше, уже не могу смотреть на садизм, кровь на льду казармы-барака, где постоянная температура минус десять – минус пятнадцать, потому что греют лишь буржуйки: замерзло отопление.

Пространство дежурный раз нажало на клавиши пианино жизни. На экране, как в страшно живом кино, зашелестели существовавшие биологические тела, что, собственно, по Энгельсу, и является жизнью.

Жестко стальной, озверелый на всех и вся сантехник Кадыров уже третью ночь не спал. Он искал место, в котором лопнула труба парового отопления. Мерз, дробил зубами зубы, но как-то по-сибирски делал свою работу. Сделал. По-богатырски отоспался и через два дня уже давал концерт в качестве солиста батальонного ансамбля. Играл сильно, ярко-холодным огнем. Его боялись почти все.

– Хочешь, Простор, высвечу на мониторе его настоящую суть?

– Ты, Время, наверное, совсем не доверяешь моей интуиции. С этим все ясно. Редкий тип, но до алмаза, который нужен Творцу, так же далеко... как и нам с тобой. Давай дальше... О! Стой!

– Сопки... Багульник. Дикость и подлинность. Здесь алмазов почти нет... Но те, что есть, то уже однозначно не фальшивые.

...Строительство дороги зимой требовало огня, огонь требовал дерева, дрова, что сохли на сопках, требовали людей, которые бы сняли их оттуда, положили на расчищенную динамитом от скал и других деревьев поверхность и подожгли. Огонь растапливал вечную мерзлоту, помогая людям делать в ней ямы, подобные на гробы, которые должны окаймлять левый и правый берега еще не заасфальтированной, но уже проложенной первопроходцами, дороги через тайгу. Шаг влево, шаг вправо – бездна, наполненная вечными корнями и какой-то (тоже вечной, наверное) изорванно-ржавой водой.

Животные создавали с этим лоскутком пули-земли единое целое: бегали зайцы, плавно прыгали косули, ежисто мечтали медведи. Иногда в дремуче первобытной, аж парадоксально уютной, атмосфере тайги случается грубо срубанная, темно зеленая, словно темно кровавая, избушка-утроба. Рай для уставших (в тайге невозможно быть беззаботно веселым телом, а вот о душе – сотни романов говорят...). Найти в пятидесятиградусный мороз природы плюс стоградусный мороз человеческих душ такую избушку в тайге, имея всего лишь кусок хлеба и мяса в кармане, спички – это все равно, что родить наоборот – завернуться в матку.

– А действительно, когда над человеком нависает смертельная опасность, когда душа становится телом, тело – душой, и все это вместе – всем или ничем, единственное фиксированное желание субъекта опять стать сперматозоидом, яйцеклеткой, или плодом в брюхе матери, где влажно, тепло и что-то живет над тобой

– то ли сердце матери, то ли Бог... одинаково. Вот настоящий уют. Его желает сперматозоид, Вселенная и, наверно, Бог, – сказала Время и прибавило Пространству. – Смотри, точь-в-точь подобные мысли рождает и аж материализует 24-X-315. Вот он еще с одним парнем – Байбековым – тянут дерево, едва-едва тянут. В 24-X-315 есть кусочек хлеба в кармане, все его мысли обращены к нему, потому что он голодный и ужасно уставший, но психологически он хочет в это время стать белочкой, сидеть в уютном, моховом дупле, а еще хочет молока, большую-большую квартиру холодного, как снежная безвестность, молока и белого, теплого, как вымя самой доброй в мире коровы, хлеба.

– Но, Время, – подсуетилось Пространство, – даже наш компьютер не фиксирует связей между клетками, нейронами мозга, которые приводят к тому, что 24-X-315 достает кусок хлеба из кармана и предлагает Олегу Байбекову: «Поешь, а то ты совсем синий». Ему же самому ужасно фигово. Он...

– Дело в том, Простор, – с некоторых пор, незаметно для себя, Время начало называть Пространство Простором, – что это нефиксированное как Дух, Интуиция, Лоа и есть показатель алмазного порядка. Это не материя и не дух, а их общий продукт – искра, Бог, слово. А мысли в голове субъекта вон легко фиксируются. По ним грешность-безгрешность абсолютно не определишь, ведь нужно учитывать ситуацию.

– Однозначно. Одно дело, когда такая мысль рождена за комфортным столом старого пердуна-зануды профессора, другая – в экзистенциальных условиях, на границе между смертью и жизнью, в условиях не «максимально» приближенных, а таки в настоящих боевых ... Так вот...

На дисплее засияло: «Хочется повеситься... Значит, я человек... Еще могу улыбнуться, представив, как я вишу на ветке – глупый и трепальный какой-то... Значит, я не механический человек... Животные не самоубиваются сознательно и не смеются, хотя плачут... Повешусь, но:

а) жизнь и так коротка, пойти из неё можно в любой момент каким-нибудь способом, а вернуться (по крайней мере – в человеческой форме) – нельзя; так вот, сама мысль о том, что я успею это сделать когда-либо еще, что это моя первая и последняя свобода – и спасает. Понимаешь: мгновение равняется вечности, а вечность – мгновению;

б) ощущение ведут к смерти, ум – к жизни. Хотя, когда ощущение разбрызганное – тоже смерть (девяностолетнее тело Байрона в его 37 лет: сжег себя на физиологичном уровне через уровень духовный. Ум плюс чувство плюс музыка (ветер) равняется поэзия, которая помогает умирать и жить конкретному человеку, а не массе... Она – жертва, которая задабривает не Смерть, а Жизнь...

– Интересно. А ну-ка дальше... О чем думает это же лицо, попав в тепличные условия? – прохрипело Время.

– А это через три года аж, – подняло телефонную трубку Пространство. – Алло. Простите, Время (в трубку)... Случай?! Ладно, мы тебя ждем (к Времени), вот, читай мировоззренческие мысли 24-X-315 из его мозга:

«Парадокс в том, что в целом пассивная восточная философия больше становилась реальной политикой, чем внешне активная философия европейская, кото-

рая всегда была противоположна политике. Философия почти не рассматривает вопрос избранности одних людей Творцом и не-избранности. При всей нужности, например, Сократа и Сковороды, лишь последний не различал бедных и богатых... потому что у Сократа о «благее» знают лишь аристократы, те, кто не работает. А почему они избраны? У Сократа вместе с диалектикой появляется ирония – что-то среднее между слезами и смехом, пессимизмом и оптимизмом, наукой и религией. Выходы из формулы «философия равняется наука плюс религия»: если бы Дерево Познания Добра и Зла действительно росло, была бы лишь наука; если бы человек создал человека, философии бы также не было, или она равнялась бы науке. В действительности же философия равняется Робот плюс Что-то. Вот Что-то – вечно неуловимое. Вот Что-то мы все и ищем. В Библии, мне кажется, есть лишь Бог и Человек. Животные приносятся в жертву... Я не соглашаюсь. Что-то не так! Искать, искать и еще раз искать. Это не противоречит замыслу Лоа, очевидно, поскольку он меня такого создал. Какие там несчастья в этой жизни! Но уже сам факт, что я ро-дил-ся из какой-то там миллионно-миллиардной вероятности слияния именно того (моего – Я) сперматозоида с яйцеклеткой) – наибольший подарок Судьбы, Случая, Пространства, Времени, Лоа, в конце концов. Ведь бесконечно много не рожденных ожидает своей очереди. Придут ли они увидеть, почувствовать, понюхать, полюбить этот мир? Боже, я божественно благодарен Тебе, что я есть! Что я был! Здесь... А уже как был – дело мое с тобой и с собой, миром. Извини, когда я нагло самонадеян, и пожалей, когда растерянно-нежный, маленький и незащитный, ведь я – немножко Ты, следовательно Ты – я... Трава не растет вниз... либо сохнет, либо – к небу...»

– Здесь остается лишь помолчать, – сказала Время.

И возобладала тишина.

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

Случай бежал, летел на кофе-разговор со Временем и Пространством. Неожиданно навстречу ему – Судьба... Он давно дал себе твердое, как алмаз, слово: не встречаться с ней – гордой, капризной, вечно юной и нетронуто чистой, как сама мудрость, счастье... Более того, быть вместе им запрещал небесный Закон Жизни. Но ужасная невиданная сила тянула их друг к другу, смотрела их глазами, двигала сердцами, звенела, как высоковольтная струна от наименьшего прикосновения. ЛЮБОВЬ. Компьютер Лоа предусматривал прощение всех грехов, если она во имя этой ужасно необходимой для создания нового Бога энергии. И – вместе с тем – наибольшее лицемерие также было связано соответственно с этим чувством. Лоа больше всего не любил ФАЛЬШЬ. Для ее выявления, фиксации Временем и Пространством были созданы самые совершенные программы, ведь фальши всегда было больше всего там, где ее совсем не должно было быть: в искусстве, в любви, в дружбе – то есть во всем, что объединяет мир ради Бога. И наибольшая фальшь – это измена Богу во имя антиангела, который очень любит опекаться именно этими сферами, измена за славу, деньги, любовь, покупка душ, максимально приближенных к алмазному состоянию. Но потому, в конце концов, Лоа и не уничтожил сразу одного из своих архангелов, чтоб он

стал последней границей, контролером истинной и фальшивой сути душ-алмазов. Очень уже тоненькая, незаметная пленка на высоких регистрах определяет божественную алмазность или псевдоалмазность, угольность той или другой души.

Так вот. Радуга, которая встала между Судьбой и Случаем, не могла быть сатанинской, потому что Программой Лоа предусматривалось уничтожение Случая и Судьбы, даже Пространства и Времени, если бы они хоть ноготок-мизинчик продали Сатане. Они это знали... Здесь была гарантия. А вот относительно своекорыстной... От нее не мог быть застрахован, наверно, даже сам Лоа, поскольку отдых для субъекта – это уже фальшь, ведь душа переходит временами даже не на нулевые, а на минусовые регистры, особенно тогда, когда она только что находилась на безумно высоких плюсовых скоростях...

Выгоды в любви Судьбы и Случая не было никакой, наоборот было законное запрещение, предусматривалось осуждение... но когда все и все догадываются, чувствуют, что любовь настоящая – возникает зависть, а если очень настоящая, очень сильная и очень яркая – сдержанное благословение.

Судьбе и Случаю лукавить не было смысла. Они оба чувствовали, что за все в этой Вселенной есть плата. Дело лишь в том, кто платит. Во Время, когда они горели друг к другу, становились маленьким сгустком божественной энергии, кому-то из людей, животных, растений... наверно, жгучим нужно было их присутствие, вмешательство, помощь... Кто-то проклинал Судьбу, кто-то просил у Бога лучшей, кто-то благим матом ругал черного кота, который случайно перешел водителю автобуса дорогу (а он просто спешил к белой кошке), а водитель вез тридцать людей и дома у него было пятеро детей, а у каждого пассажира своя Судьба, свои родные и близкие, маленькие дети... Вся эта просто сложная и сложно простая Машина Вселенная-Лоа крутилась и крутилась ради выращивания определенного количества алмазов, которые, объединившись в огненно невидимый клубок чувственного сознания, должны были стать Новым Богом, или – по-другому, – поддерживать существование Вечного Бога, которого человек может себе как-то представить-канонизировать. Не дано нам лишь «представлять» бесконечность, то есть конечность бесконечности. Этого не дано... ау! – в даль... даль... даль... – все здесь.

Включен лишь «ближний свет сознания»...

А между тем Судьба со Случаем плыли небесно-земными парками, боялись коснуться мизинчиками, потому что искра, возникавшая от прикосновения, рождала целые миры – Галактики. Им было бездонно тяжело и счастливо...

– Знаешь, Судьба, а счастье, оказывается, тяжелее всего пережить, – сказал Случай.

– Я тоже это чувствую, – прошептала одними ресницами в глаза-душу Случаю Судьба. – Я не вытерплю долго на такой высоте! Я не имею права сказать тебе... Любимый.

Случай ничего не понимал, но все-всемирно чувствовал.

...«Не смотри так на меня? – А разве тебе не приятно? – Очень приятно, поэтому и не смотри!.. – Ну как, как же мы будем?..» Шепот становился лиственным-

звездным, волновым, соленым, настоящим... Блеснула белая перчатка – и они опять были не вместе, потому что Судьба была очень обязательная и ее ожидал Лоа, а Случай только что звонил по телефону Пространству и Времени, договаривался о встрече.

Такая жизнь. Такая суета. Такой драматизм. Такое счастье-боль.

«Только очень сильные могут быть очень слабыми» – записал в своем «Дневнике» Лоа и прибавил: «Случаю и Судьбе еще нужна немного набраться силы, высоты, чтоб не бояться падать. Падение с надеждой на подъем – это и есть СЧАСТЬЕ».

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

Пространство и Время отобедали – доели торт со вчерашнего дня рождения и туго молчали. Слова были лишними. Такое ощущение-чувство часто овладевает творчески самодостаточными объектами Вселенной. Тем более, на экране другого компьютера как раз высвечивалась ситуация не для беседы: хоронили женщину-академика, которая умерла внезапно в расцвете сил, от рака груди. Коллеги – научные работники по-седому и по-разному стояли возле ямы, один из них выступал – читал с бумаги перечень заслуг и чинов женщины, которая лежала в красивом гробу; слова, чувствовалось, были лишними, тем более для ее теперешнего тела; чуть поодаль занимались любовью собаки, молодой мужчина захотел тихо и страшно отпугнуть их, но в результате они просто-напросто склезились и начали болезненно кричать, таща друг друга в противоположные стороны. Абсурд телесного существования плюс формальных заслуг был настолько откровенным, что делалось жутко и неудобно, усиливалось ощущение, что тебя закапывают с покойной в землю, с покойной, еще не так давно красивой, женщиной.

– Время, что там за нашим с тобой главным компьютером?

– А вот то же почти, что и на вон том, – показало Время на похороны. – Самоубийство с помощью виселицы, стрижка зеками-солдатами мест, где заводятся мандавошки, пидарство между мужчинами в замкнутой системе – зоне-армии... Одним словом, темные стороны людского существования, шлифовка алмазов в борьбе с природой и другими камнями (далеко не алмазами, или фальшивыми алмазами). Вот такие-то дела.

– Вон, взгляни, взгляни, Простор, библиотека. На красном кумаче большими белыми буквами лозунг: «Все не перечитаешь, но стремиться к этому надо!» Замполит роты Туксумаков Нурланбек слюнявит тряпку, чтоб быстренько вытереть под этими словами написанные мелом: «Всех не пере... любишь, но стремиться к этому надо!», – Время почесало за ухом. – Глубокая философия в этих словах. Действительно несчастными являются субъекты, которые не удерживаются и становятся рабами Знания, Любви, Славы, Богатства... Это вещи, которых никогда не бывает человеку достаточно. И мудрость человеческая, наверное, в том и заключается, чтоб из всех этих чаш попробовать, даже, возможно, испить, но не упиваться ни одной, не стать алкоголиком.

– Что-то мы с тобой, старик, зафилософствовались. Смотри, как вон объеда-

няет солдатские души песня в каптерке. Поют под гитару – и летят души, летят...

– Я лучше помолчу о песне в неволе, – ответило Время, и они действительно без слов, фрагментарно, как монтажеры, досматривали дежурный фильм-жизнь-бытие, определенной группы точек-людей, среди которых был и 24-Х-315 – с генами, которые (по данным компьютера и их интуиции) были потенциально алмазными, то есть материалом для подзарядки Лоа: парадоксально детьми, сильными, грешными и святыми в то же время, такие, что рождали искру – интуицию.

ЗОНА

По закоулкам бараков-казарм ломались челюсти и ребра, любили во все дырки более слабых духом, отламывались отмороженные пальцы, уши и носы... Попадались посылки из дома, читались письма от родителей и любимых, вспоминались-лелеялись мысли о колыбельном детстве... Кто-то спасал свою душу и тело (через душу) жестокостью, кто-то слабостью, кто-то песнями, кто-то поэзией, зубря ее себе наизусть, добывая из мозга и пропуская через душу как забвение, как наркотик. Так становится легче, потому что так быстрее проходит время. Мысль несется и фиксирует больше всего душевно-внутреннее состояние, а внешнее (общее) убыстряется соответственно внутреннему...

Из космоса души выходят вечно юными, потому что скорость души бесконечно большая.

Для тех, что пережил зиму в тайге, весна – небесна. Чистая, звонкая, прохладная. Лимонно-ветренное Солнце и розовый багульник. Белый цветок багульника – очень редок, тот, кто найдет его – будет счастлив... Это что-то среднее между цветом папоротника и пятилепестковым цветком сирени...

Утром идешь по весенней тайге, как по большим звездам, воздух – как в эпоху динозавров. Классно, если ты человек свободный и богатый, ужасно, если раб – людей, природы, болезни, себя самого, своего страха и тому подобное...

ДНЕВНИК ЛОА

В таких условиях очень хорошо видно, что человек – существо общественное. Характерный пример – шекспировский «Король Лир». Я создал неблагородное существо... Король Лир был героем, когда вокруг него было войско, охрана, прислуга... титул!.. После того, как его предали дочки, и он сидел в грозовой степи полуголый, безоружно-беззащитный, его мог съесть волк, например... Лягушка спряталась в норку, мышка – тоже... Все животные и растения пользуются для защиты лишь тем, что дал им я. Они БЛАГОРОДНЫ. Человек же, выходя на тигра, например, с могучим ружьем, одетый в кожу, содранную с любимой этого же тигра, сытый, защищенный – герой! А раздень его, как раздетый тигр, забери ружье (как нет его у тигра) и посмотри, что оно такое – ЧЕЛОВЕК! Жалкий Король Лир в пустыне... Он не может противопоставить природе ни-че-го. Он, как и все ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, НЕБЛАГОРОДЕН. Человечество ежедневно убивает миллионы животных. А если где-то какая-то собака укусит человека, или конь, вырвавшись на волю из цирка или зоопарка, копытом заце-

пит сторожа насмерть – об этом будут сообщать в температурной лихорадке чуть ли не все средства массовой информации мира.

Шекспир хорошо показал Короля Лира, который чувствует свое ничтожество перед миром природы и миром как таковым, когда он уже не Король, а просто человек, отвратительнее всего и (временами) самое божественное создание. Так вот, это божественное в этом гадостном состоянии и интересует меня... цветок в куче дерьма... Душа-алмаз. Но это больше Гамлет, а не Лир, обычно. Гамлет... ищущий, такой, кто сомневается... скрипит, звенит... «Я должен быть жестоким, чтоб не быть добрым...»

...Так вот, Шекспир. «Король Лир»: «ЛИР. Лучше бы тебе лежать в гробу, чем стоять голому против этого обозленного неба. И неужели вот это человек? Присмотрись-ка только к нему. Он не благодарит червяка за шелк, зверя – за мех, овцу – за шерсть, горную кошку – за мускус. Здесь нас трое поддельных, ты – настоящий человек. Неприкрашенный человек – это же и есть такое вот нищее, голое двуногое существо. Прочь, прочь все одолженное! Иди-ка, расстегни здесь! (Рвет на себе одежду)».

Лоа поднял телефонную трубку: мыслью связался со Временем и Пространством, поинтересовавшись новостями, связанными с экспериментом. Попросил перевести на свой компьютер их файл. Они перевели.

На экране была зима с 24-Х-315, который то бил ломом мерзлое дерьмо, то процеживая сквозь зубы осколки зубов со свернутой кровью, не подчинялся домогательством крутых, нахальных и несчастных солдат-зеков. Упорно, болезненно и глубинно молчал, грудной улыбкой реагируя на карточную игру «дедов», цена проигрыша в которой – заставить 24-Х-315 материться, то есть довести его до такого состояния... Невзирая ни на что, он был невозмутим. В душе, как зародыш плода, развивалась музыка, которая была Богом. Легче было убить 24-Х-315 физически, чем вынудить убить внутри него эту музыку, которая почему-то боялась матерного слова. Чем больше она боялась грубости, тем больше Ничего не боялся сам 24-Х-315 как живой человек. В такие минуты он принадлежал к тем, кто готовы умереть каждую секунду... каждую минуту, есть – каждый час, день, отдать жизнь... Вообще, бояться смерти – смертельно... Отсюда и шкала духовной силы человека. Животная сила другого порядка, поскольку она лишь интуитивно чувствует смерть, наверное, так, как человек – Бога.

Так вот, Лоа взял в свои руки 24-Х-315. Слишком много подобного было между ними. Он начал невидимо подстраивать ему возможности-минуты для написания музыки на листиках с надписями «Боевой Листок». Эту музыку он пересылал своим родственникам в родной лесной край. Листы с музыкой, обычно, проверяла местная служба безопасности, которая безуспешно пыталась расшифровать нотные знаки и скрипичный ключ скрипяще-свинцовым ключом болезненно государственно-зековской любознательности – находила лишь дулю с маком... Наивный и мощный симптом ребенка 24-Х-315 авантюристически обходил полицейские ловушки и поэтому был еще страшнее, опаснее и вызывал злобу у тупорылых и всячески никаких: «Ишь ты, зараза... лукавая аж... не лукавая, хитрая аж простая как двери, тайная аж открыта до головокружения...»

«Дам приказ Судьбе и Случаю, чтоб устроили свидание 24-Х-315 с Сатаной. Этот алмаз стоит наибольшего испытания. Если выдержит его и не скурвится, добрый будет материал для Бога...» – записал Лоа в своем «Дневнике» и набрал координаты влюбленной парочки – Случая и Судьбы... Он – субстанция максимального единства слова и дела – как критическая граница всякой гениальности – БОГ, одним словом...

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

Волна их любви то росла, добираясь до наивысшей своей точки – когда уже: ну его все к бесу! То спадала – когда наступала какая-то злая пустота и тоже – все к бесу, в конце концов! Где-то интуитивно они любили периоды, когда имели общее горящее задание от Времени, Пространства или же Самого... В этот раз их нашел именно Сам. Они соскучились за настоящим делом, которое (или единственное?) давало им возможность забыть душами-нервами их солено-сладкое, больно-оргазменное, не черно-белое, тихо-звонкое, несказанное, которое было «если не любовью, то чем же?..»

Так вот, задание: незаметно устроить встречу 24-Х-315 с Князем Тьмы – Судьба и Случай взялись выполнять как-то очень усердно. Они были объединены этой редко интересной и ответственной, романтической идеей.

– Ну, и как мы придумаем все это? – спросил Случай, жуя жвачку и приняв глубоко деловой вид.

– А, очень просто. – Судьба была ужасно умным существом. – Как настоящий Художник, 24-Х-315 в глубине своего естества, так сказать, хочет попробовать всего. Так вот, невзирая на его уже возмужалый дух, нужно подвести его к попытке самоубийства... Ради любопытства.

– Возможно. В такой момент Вельзевул может действительно заинтересоваться этим субъектом, ведь его компьютер не хуже компьютера Лоа, и там, наверное, загорается лампочка при таких делах, или же звуковой сигнал какой-то прорезает черный свет безграничности... – изрек Случай. – Так вот, это дело... случая.

– Ну, да-да, давай, посмотрим, на что ты способен, – кокетливо сыграла собой Судьба, и, не попрощавшись, изгибаясь, пошла прочь.

«И почему так: от нестерпимой нежности – к какому-то дерзкому безразличию? Действительно, один маленький шаг. Замахался я. От огня лед плавится. А вот огонь ото льда крошится...» – подумал сердцем Случай, сжав зубы и кулаки, в сердцах плюнул и пошел делать свое дело. Потому что любовь уже свое сделала.

Иван Пузач со сломанным пальцем ноги начал вешаться. Здесь Антилоа подлетел. Банально искушать, чтоб он стал им? Не хочу... Я достаточно гордый для этого, чтоб из всякого га...на... Лоа все равно уничтожит?.. А может, есть надежда на Царство Сатаны все-таки... Если он соберет материалу побольше для

себя? Вот здесь и начинается наибольший выбор, наибольшая драма. Какая разница?..

Бог или Антилоа. Бог первобытный?.. Без Сатаны, в конечном итоге, Бога классного не создашь.

АНТИЛОА

В санитарной части таежной военной части-зоны белорус Иван Пузач нес ведро тяжелой воды и... сломал большой палец ноги, который был отморожен. Внутри, оказывается, сгнила кость – хрустнула. 24-Х-315 близко общался с Пузачем, поэтому почувствовал ему как-то позвоночно, электрически.

Мимо окна санчасти начальник штаба со своим заместителем несли убитую из автомата козу. Предполагалась оргийка. А как не ополоуметь здесь без капитальных отрывов? Из казармы позвонили, сообщили, что 24-Х-315 пришло письмо. Какая-то добрая душа даже принесла недобрую весть: умерла бабушка.

В голове 24-Х-315 зароились сомнения-упоминания какого-то фиолетового цвета: «В Пилиповке 1092 г. в Киеве мор взял 7000 жертв. А сколько же народу погибло от бесконечных войн, а еще больше – от нападений степовиков» – это из какой-то давней, как сама давность, книжки... «Выиграл мужчина в лотерею машину – начал сразу в Бога верить»...

Какой-то полный абсурд существования, словно цветочный базар, крутился в голове и по капельке, словно сок из березы, падал на сердце. «Почему в землетрясение, когда рушатся дома, погибают младенцы?! Ведь они ангелы! Значит, жизнь ЕДИНИЦЫ ничего не стоит. Делай, что хочешь, какая там мораль?! В конечном итоге, исчезают и виды. Туры, например...»

24-Х-315 духовно восстал. А где гордое духовное восстание, там начинается АНТИЛОА, который, вообще-то, и является не кем иным как гордым Архидухом, выступающим за независимость. Но, созданный Богом, он не мог быть сильнее Бога. В противном случае – неумный и несовершенный сам Лоа... «Хотя... человек смог создать технику, которая в миллионы раз сильнее его самого физически, а компьютеры и интеллектуально... Лишь по силе духа нет равных человеку среди животных, как Лоа среди людей. Лоа для развития, борьбы сам пошел на гениальный риск: создание ангелов, что предусматривало ВОССТАНИЕ. Но восстание – это и есть жизнь! Лоа, наверное, понял, что без Сатаны, как противопоставления себе, он тоже смертен, потому что не сможет создать достаточно надежного алмазного фонда для самозамены, для самонаполнения, обновления, одним словом – для создания Нового Бога. Без Сатаны Бог конечен, с Сатаной есть два варианта: Антилоа его уничтожит или подготовит для него испытанные ДУШИ-АЛМАЗЫ, закаленные в настоящем огне...» – так думал 24-Х-315. Он нашел какой-то медицинский жгут, привязал его к трубе над дверьми комнаты медсестры и начал вешаться. Его душа и тело созрели для этого. Были какие-то нездешние...

И снова внутри звоном какой-то адской цепи зазвучала мысль: «Люди – рак на теле Земли. Они ее домучают вместе со всем живым, животным и растительным миром... Отсюда Гитлер – самое богоугодное существо, потому что он унич-

тожил огромное количество людей... Нет. Это сатанинское существо, потому что Творцу нужно не количество а качество, качественное количество, в конце концов. Без людей Лоа погибнет, Антилоа же хочет уничтожить людей, потому что они Божье творение, материал, чтоб самому стать Богом и создать свое царство, свой материал. Правда, есть еще вариант перетягивания на свою сторону людей, но пачкать руки дерьмом... Более интересно забирать алмазы у Бога из-под носа его самого, так сказать, из рта... зрелые, сильные духом и творчеством, бесстрашные и чистые, которые со СМЕРТЬЮ, как и с совестью – в согласии...»

Такие мысли молниеносно-компьютерно обвеели 24-Х-315 перед тем, как он засунул голову в петлю. Но это была голая, как голая елка, теория. Практическая мысль была простая и сильная: «Это я успею сделать и завтра... всегда... а назад дороги нет. Потерплю».

Творцом самоубийство не было предусмотрено. Хотя не все так однозначно: не все самоубийцы становились собственностью Сатаны, далеко не все. Это опереждал компьютер, или, как в этом случае, сам Лоа через Случай и Судьбу.

– Ну, ну, чего же ты? Неужели тебе нравится быть со Стариком, посмотри на его слуг – духовенство, толстое, глупое, как правило, самоудовлетворенное. У меня же ты будешь гордым бунтарем. В конечном итоге ты сможешь восстать и против меня, и против Лоа после того, как я включу тебе дальний свет сознания. Ну, вешайся – и падай в темный свет моих дремучих крыльев, – дышал снизу и сверху Князь Тьмы.

И опять ужасно простая, а следовательно и гениальная, мысль пришла до 24-Х-315:

– Я безумно уважаю всякое восстание, но еще больше я уважаю РИСК. В первых, Лоа был, ПЕРВЫМ, он СТАРШИЙ, в молодости – он также невероятный повстанец...

– Так я тоже иду на риск. Завербованные мною души тоже могут восстать и сбросить меня! – смеялся просто в большую душу, словно из души, Антилоа.

– Если так, зачем мне приставать к тому, кто меня просит? Я, бунтарь по натуре, возможно, могу против самого Лоа непосредственно выступить? Как и Ты.

– Ты – гордый. Но Лоа БЛАГОРОДНЫЙ. Он не зовет к себе. Он дает право выбора...

– Не зовет?! А что делают миллиарды служителей храмов и разных художников – посредников между религиями мировыми?

Антилоа, казалось, во всем прав. Но почему-то внутренне 24-Х-315 был против. Оно, внутренний протест, как железное дерево, вросло в позвоночник корнями и цвело в черепной коробке, рождая одну, какую-то яблокопохожую мысль: идти к Лоа, или восставать как Человек против их обоих – Антилоа и Лоа.

Антилоа прочитал мысль и выдал:

– Ты не сможешь. Ты муравей без дальнего света сознания. А его имеют и могут дать лишь Старик или Я. Дается оно после смерти, но выбор, у кого его получить, нужно делать при жизни, тем более перед смертью... Кстати, ТАЙНА и после смерти открывается лишь избранным. По данным генеральных компьюте-

ров. Так вот... – не утихал прежний архангел.

– Ты искушал Христа... Он не поддался. Мне интуитивно более близок он, чем ты. И нечего мне советовать! – почти закричал 24-X-315.

– Его распяли. И откуда ты знаешь, где он есть сейчас. Ты же во всем сомневаешься. А здесь конкретное предложение. А может именно это хорошо для Лоа. Может быть, он хочет, чтоб ты его предавал! Ведь разделил же он людей по половому признаку для большего осложнения жизни. Так бы ты мог сам самооплодотвориться... А теперь страшную работу душевную должен отработать, чтоб кого-то... трахнуть.

– Ты прав, но... я желаю восставать против ровесников, или молодых и сильных, тех, Лоа, которых ты сам называешь – Старый. А старость (душа мне подсказывает) нужно уважать. Не большое геройство деда отлупить. Вот против молодого Лоа я мог бы восстать. Гордый я человек. Лоа же воспринимаю как своего деда. Жалею. Уважаю. Люблю...

– А ты, оказывается, бываешь логическим. Ну что же, берегись... – искренне и ласково засмеялся Хозяин Тьмы...

Громыкнули входные двери. 24-X-315 инстинктивно дернул шнурок. Когда подошла медсестра – сдобная женщина с почти неестественно голубыми глазами, парень уже стоял с раскинутыми руками:

– Очень нужен листочек бумаги... Вы уже простите, что я к Вам без разрешения... Какая у вас красивая доченька, – что-то подобное мурлыкал, не слыша самого себя на стыке Вечности и Суеты 24-X-315.

Медсестра мило засмеялась, на что не обращая внимания, но через день 24-X-315 из санчасти выписала, на прощание посмотрела в глаза парня и спросила:

– Как ты думаешь, Бог есть?

– Да. Однозначно, – ответил тот.

– А докажи, – спросила она украдкой, как только могла.

24-X-315 показалось, что искушение Сатаны продолжается.

– А докажите, что его нет... – ответил 24-X-315 и усилиям душевно-физической воли закрыл дверь с противоположной стороны. А у самого компьютерголова продолжал работать... Или, может, это и не компьютер, а Антилоа дальше задавал ему нахальные, как жизнь, вопросы: «А где был Христос с двенадцати лет до тридцати? Может, разбойником был, может, отгулял уже свое с женщинами и с вином?.. Почему он, проповедуя любовь, не имел по-настоящему женщины, в ученики набирал лишь мужчин – несправедливо. Может, он извращенец был – относительно мужчин? И вообще – научно, исторически и т.п. не доведено, что он ВОСКРЕС НАЯВУ, уже в этом мире...»

Вопросы были действительно интересными. Для возмужалого духом 24-X-315 они показались лишь продолжением его умственно-душевной жизни, то есть благодарным, достойным грунтом для размышлений, проверок, борьбы. СМЕРТИ ОН УЖЕ НЕ БОЯЛСЯ, поняв, что сам есть смерть, если захочет... в какую-нибудь минуту. Для себя и для других. ... Богу тяжелее: он заботится не только о людях, но и о животных и растениях, каждой клеточке... Антилоа же лишь под-

стерегает людей, лучших людей...» – последняя гипотеза, как спичка, погасла в 24-Х-315 – ему навстречу вышел начальник штаба. Было солнечно и морозно.

– Собирай вещи, старый. На тебя из Москвы пришел приказ – освобождение... Так вот, давай, – похлопал по плечу 24-Х-315 бывший афганец.

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

– Вот так будет лучше, – обрадовался Случай. – Это уже вмешалась Судьба, потому что я все, что смог, сделал. – И он побежал ее искать.

– Молодец, Случай, я даже не ожидала от тебя такой филигранной работы. Ты все прекрасно подготовил для 24-Х-315. – Судьба чмокнула Случай в щеку. Оба зарделись.

– А напоследок, ты также классно закончила все это, – собрался с духом Случай. – Думаю, Лоа будет доволен.

Случай несмело взял Судьбу за руку и... Их звал к себе Лоа, который как раз записывал в своем «Дневнике»:

«24-Х-315 выдержал. Теперь перед ним, живым, наибольшее испытание, длинное, тягучее, острое – битва с самим собой, самошлифовка. Это самое тяжелое. Единственное спасение, единственный выход – вера в меня и в дух, в ПЕСНЮ-БОГА. Он уже дает для меня колоссальную энергию. Что же, пусть попробует еще одну форму мира – свободное творчество среди подобных себе. Шлифовка алмаза алмазами. Заведу его за руку в большой город его народа, интересный город».

Лоа похвалил Судьбу и Случай. Еще что-то доверительно им приказал. Они с трудом переживали такое СЧАСТЬЕ: за себя, за 24-Х-315, за Лоа. И полетели, полетели, помечтали...

24-Х-315 провожали. Закаленные Сибирью мужики пла-ка-ли. Недаром эту породу людей по-настоящему полюбил Достоевский (вспоминал Ницше). Они – зеки, где-то глубоко, до вечной мерзлоты, были самыми человечными из людей. Они достали 24-Х-315 новую шапку, сапоги, шинель... пояс. Они целовали его, а некоторые плакали – страшными мужскими жесткими слезами. Те, кто ненавидел... плакали.

С тех пор и на всю жизнь 24-Х-315 божественно полюбил людей.

Офицеры собственной машиной отвезли 24-Х-315 на самолет.

КАЛИ

С тех пор не только не умерло, не погасло, не утекло, как с гуся вода, нежное в 24-Х-315, но появилось еще и стальное. Он стал сильным и обнаженным, как сабля. Он, казалось, сделался МЕДИУМОМ. Глубокое прошлое и далекое будущее объединилось в нем. Современное стало лишь фоном, которого он совсем не боялся и над которым властвовал даже в самые грустные секунды своей жизни.

Сильный и обнаженный, как сабля, и чувствительный, словно слеза на сабле... Таким прибыл 24-Х-315 в Кали. Хотел, планировал в другой, более славянски-солнечный город, но голодно-холодное увлечение представительницей Кали

незаметно и упрямо завлекло его к себе. Был этот город экзотичный, мещанский, занудный, красивый, духовный, старый и юный, словно камень...

Словно капля камень, точили его естественно сильные, божественные души. Как сигарету, ломали духовные позвоночники даже тех, кто не сломался от резко-крутых испытаний зонами и морозами.

ИСПЫТАНИЕ СЧАСТЬЕМ – НАИБОЛЬШЕЕ ИСПЫТАНИЕ.

Сверхчеловеческое счастье – сверхчеловеческое испытание, ведь СЛАВА – кусочек божественного, кусочек вечности, милостиво брошенный Творцом своим людям.

Байрон к славе добавлял еще ЛЮБОВЬ, ПУТЕШЕСТВИЕ, БОГАТСТВО. Упившись вином из этих трех бочек до рвоты, человек сгорает, теряет интерес к БЫТИЮ на физиологичном уровне (когда после смерти разрезали того же тридцатисемилетнего Байрона, сердце, печенька и мозг у него были уже девятнадцателетние – это при том, что сам Божий избранник (не нам судить в конечном итоге...) не злоупотреблял спиртным и табаком). Духовный-ветренный полет с нарушенным моральным законом в себе к звездному небу сделал свое дело. Здесь логически было бы добавить и «РАБОТУ», но огонь для того и рожден, чтоб гореть. То есть человек – обладатель сильного Духа – обречен на работу этого Духа. Дух не может не работать. Принудить Дух не работать – нужно тратить... неизвестно какую энергию. Нужно физически убить человека, иначе абсурд говорить об ОБЛАДАТЕЛЕ ДУХА (например, Ивана Франка): «Он был ужасно работоспособен». Это то же, что стихии природы...

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

– А видишь, Время, Лоа таки сам занялся нашим подопытным 24-Х-315, – поправляя резкость на мониторе, выдало Пространство.

– Ага. Теперь мы можем лишь наблюдать и учиться. – Легкая, как свет дневного Месяца, ирония тронула детски-седое лицо Времени. – Лоа устроил 24-Х-315 испытание городом. И это после того, как он справился с Сатаной.

– Женщины, Слава, Путешествие и Деньги могут сделать свое дело, – лукаво-тягуче блеснуло Пространство.

– Ну, увидим...

– А Судьба со Случаем и дальше в этом проекте будут задействованы, или Лоа полностью на самообслуживании? – спросило Пространство.

– Думаю, что задействованы, но незаметно. Иначе очень бы уже нежизненным было бытие души-алмаза, который шлифуется.

– Действительно...

Время с Пространством начали фрагментарно пересматривать жизнь 24-Х-315 в Кали.

КАЛИ

«Наихудше чувствует себя Дух там, где тяжелее всего разделить, распознать Добро и Зло. В сплошном дионисийском каком-то карнавале-действе почти все в масках, в приросших масках, за которыми лишь божественная натура способ-

на различить лица-души, но именно они менее всего защищены, обнажены перед ними. На карнавалах нужно быть в маске. Обнажение – лучшая маска для окружающих, но смертельная для ее владельца. Духовно-психологическая энергия, выделяемая при ее усвоении, – бесценная находка для Лоа. Борьба Добра со Злом – это, в конце концов, – отношения ФАЛЬШИВОГО И НАСТОЯЩЕГО.

Дерьмо от колбасы отличит каждый. Но чем выше духовная сфера, тем тяжелее различать. Настоящий алмаз от искусственного, и отличить его может лишь наилучший ювелир, наивысшей пробы – Лоа.

Город – большая старая посуда, где все фальшивое и настоящее безумно перемешано. Душа-алмаз, Художник, чувствительный, как струна, как раз и ДОЛЖЕН выбрать из дерьма алмаз, сконденсировать, отшлифовать его собой – алмазом (потому что алмаз лишь алмазом и шлифуется) и подать Творцу. Скалки и пыль от шлифования еще и людям перепадает.

В Кали пыли и скалок было много, поэтому считалось он духовным Пьемонтом НАЦИИ ПОЭТОВ, которая что было мочи тщила была такой, как Америка, хотя по своей природе была не БЮРЖЕРОМ, а ПОЭТОМ со всеми последствиями. И беда этой нации, возможно, в том, что она хочет стать, казаться: а) взрослее, чем она есть; б) хуже, чем она есть.

Это же так психологически просто: не можешь себя изменить через ненависть, попробуй через любовь. Поэтическую любовь – настоящую, а не искусственную...».

24-Х-315 скомкал и рванул этот листок из своего «Дневника», вышел в вечерний парк – и поджег. Огонь был РИТУАЛОМ для 24-Х-315. Огонь – это святое. Огонь – это СВОБОДА. Все другое, – включая славу, – зависимость.

– Почему ты не говоришь людям, что ты гений? – спросил у 24-Х-315 один еврей-музыкант. – Если вот я чувствую себя гением, так почему стесняться? Это лживая скромность людей, которые боятся самих себя. А посмертная слава, она ведь... А! Короче, советую тебе больше заниматься саморекламой. Можешь вместе со мной на Нобелевскую выдвинуться...

Такие убеждения сначала вызывали у 24-Х-315 лишь ироническую улыбку – в качестве самозащиты, но незаметно стимулировали размышления, сомнения. Слишком много в этом городе-муравейнике людей было разнообразного антиискусства, пустых бочек, которые очень громко гудели, фальшиво, но сильно, мощно себя подавали, превращая все это в шоу. Сомнения не могли не зарождаться. Постепенно приходило понимание, какое-то ощущение на печеночном уровне, что ТАЛАНТ не заслуга человека, заслугой является то, как он этим талантом распорядится – ссучится или нет. Ссученность – это продажность.

– Олег, если представить себе большое поле, большое и длинное, которое заканчивается пропастью, бездной, то нетрудно представить тысячи людей, сделавших по этому полю к бездне сотни, тысячи шагов; десятки из них людей стоят уже на самом краю бездны – в шеренге. И только единицы, редкие единицы, предпринимают еще один шаг, капля на каплей, подобный на другие шаги – по форме, но по содержанию... Сделать этот шаг дано ГЕНИЯМ. Помнишь, «кому больше дано, от того больше спросится...». Это, по-видимому, правда, что Лоа,

мучает своих меченых, кусает их. Так, кажется, любят кони – кусая и пиная своих избранных, – говорил музыкант Остап Шаблий своему коллеге – талантливому театральному художнику Олегу Ромодану за бутылкой какого-то кровавого вина в каком-то задымленном претензионном подвальчике Кали.

– А... – только и ответил тот.

– Я тебя понимаю, старый, – ответил Шаблий. – Все думающие люди в конечном итоге доходят до красивого молчания, потому что нет ничего худшего, как старые говоруны и старые падлюки, но искусственно оборванное развитие – тоже как-то глупо. Эта замуравленность нашей жизни тот самый БЛИЗКИЙ СВЕТ СОЗНАНИЯ задалбывает, но против нее нет отрады. Наибольшая мудрость? смиряться.

– Да, – ответил Ромодан. – Но все пережить нужно...

– Ну, конечно. Если ты, например, женился пацаном двадцатилетним, мальчиком в прямом и переносном значении слова, то физическая измена жены имеет совсем другое оправдание, нежели бы ты женился в тридцать, пройдя сквозь десятки девичьих ног. Творческие личности живут до тех пор, пока им интересно.

– Согласен, – допил вино Олег, – но есть еще обязанность перед детьми, например.

– Теоретически – да. Но почему тогда идет практически на самодуэль Пушкин, стреляются Маяковский, вешается Есенин... множество примеров. Нельзя иметь много большого счастья. Человек физически не способен нести в себе много Бога, – лихорадочно, будто молитву, шептал и шептал Шаблий.

Он вдруг встретился глазами с адски красивой, тонкой, словно черный луч надорванной струны, Девушкой. Скользнул с болью по узелкам этой струны и первобытно почувствовал себя самцом. Она наивно-зверино направила ему навстречу, но физически осталась где-то в палеозое. В крови двух вчерашних детей заревели голубоглазые, чистые как снега, динозавры требуя запаха и вкуса.

Художник Ромодан поймал эту биоэлектрическую дугу между Остапом и дамой, показал демонстративно пальцем на ручные часы, извинился и побежал. Остап и Девушка были благодарны ему. Их еще больше объединила эта благодарность.

Дама подошла (почти через весь зал – звонко и сильно, неуловимо, уже почти не физически, а так, как ходят, наверное, в раю) и попросила прикурить папиросу. У Остапа задрожали руки – как-то независимо от самого себя.

Ему захотелось. И его понесла опять к ПОСТУПКУ та невидимая сила, которую он чувствовал в себе лишь несколько раз в жизни в самые ответственные, какие-то узловыe моменты.

Девушка была тоненькая и гибкая, в белом на выпуск свитере и темных лосинах, которые упруго прилегали к стройным, как месячные лучи, ногам. Что-то мягкое, ласковое, мятное и вместе с тем стеклянno твердое излучала эта фигура с прозрачными, ночными, морскими, какими-то материнскими, волосами.

«Так возбуждают обнаженные статуи манекенов» – подумал Шаблий, – классно, это самый прекрасный, самый редкий случай, когда для акта не нужно тратить душевно-духовной энергии. Все оказывалось легко и просто...

Красные уста – соприкосновение холодного льда и снежинковых пальчиков с искрами ледяного огня... Лебединый пух со скалками цветного стекла – это была Девушка.

Они БЫЛИ в старой художественной мастерской... одном из самых старых уголков Кали. Она не захотела вина. Она казалась неопытной жрицей, земной тоской, капелькой Вселенской любви.

Шаблей казался себе глупеньким и диким. Его несло и несло... Когда она взяла дело в свои пальчики и белые чайки ее трусиков, лифчика, взгляда, коленей, словно капельки звездного дождя, задрожали в цвете нездешнего мира, Шаблей зафиксировал лишь одно: «КАКИМ ЖЕ СИЛЬНЫМ НУЖНО БЫТЬ, ЧТОБЫ... ПОЗВОЛЯТЬ СЕБЕ БЫТЬ СЛАБЫМ!» Он, как мог, старался перехитрить самого себя.

На его живот и выше и ниже расплескалось что-то липкое и душистое... Это было оно – вино, которое она начала пить, пить, пить... его самого. Это было БОЖЕСТВЕННО.

В ушах звенело, от живота что-то упиралось под грудь. Состояние крайней космической невесомости и крайнего – вплоть до ядра земли – углубления. Рай и ад одновременно.

– Ты расслабься, расслабься... – цветом купальского папоротника, ветром-дыханием шелестела она и сбивала всё в синие клочья.

Искорками старого-престарого скрипящего дерева вспыхивали перед глазами Остапа очертания его жены и детей, как иконы в зеницах пьяного в дупель сельского дьяка.

«...Я грешу, чтобы познать Бога. Я грешу, чтобы познать Бога...» – спичкой черкала по нему обсосанная со всех сторон его же фраза.

Большая Пустота этой Девушки-Женщины была маленькой, тоненькой, красивой, она как-то излучала мотыльковую нежность (потому что была похожая на розовый рот белой бабочки) и разнузданную, первобытную силу динозавра. От такого закала-накала не то что сталь, алмаз может раскрошиться. Наверное.

Это был АКТ ДИКОЙ НЕЖНОСТИ.

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

– Слушай, старый! – глубоко дышало Пространство, – почему на шкале Духовной энергии так низко стоит столбик, ведь перед нами Событие?

– А ты посмотри на АЛМАЗНУЮ ШКАЛУ, – стер пыль с нее Время.

– Ого-го!

– Алмазная шкала – парадокс, искра, энергия шлифования личности. А тебе сейчас найду файл по относительности чистой Духовной и чистой Физической энергий. История связана с коллегой-кумом 24-Х-315 (Остапом Шаблем). Вот, вот, смотри, – и Время нажало соответствующие клавиши. На мониторе появился Коля Воробель – жгуче альтруистичная, тонкая, хаотично работающая личность, литературный редактор по специальности. Сутуловатый телом и стройный духом, словно тополь, он опознал Шабля с момента его появления в Кали и помогал ему, как только мог: ввел в разные общества, познакомил с интересными людьми.

ми, которых уже сам знал, таскал его по лесам и горам.

Одержимый, не любивший еще в свои тридцать лет, он как-то встретил (случайно) женщину в библиотеке – и полетел, но не от несказанной страсти, а от Любви.

Передача приветов, цветов были подкреплены таким внутренним полетом, что аж расширились Зрачки-Вселенные, улыбка становилась слезами, а слеза смеялась.

Ее звали Оксана Галайда. Умная, неюная, самосожженная, вольнолюбивая женщина. Она мудро уловила чувство Николая – и выразительно вызываяюще, грубо, и вместе с тем женственно, предложила ему коечную любовь. Мальчик от неожиданности и от внутренней боязни осквернить божественное (так он чувствовал эту Женщину) непуतेво отказался, то есть, перевел разговор в другое русло. Она улыбнулась всем телом, сбросила с себя готовность – и уехала в соседний Большой Город.

Он шизанулся. Настоящая (на которую способны редкие люди) Духовная любовь и мириады естественных, общественных, культурных КОМПЛЕКСОВ слились в нем воедино – и втянули в глубину себя. Дно, которого он достиг, вытолкнуло его обратно в одиночество, замешанное на монастыре (куда он ходил ночевать) и зорях в Большом Городе. С Кали – в Большой Город. 600 километров он убежал от себя и догонял себя – одновременно.

Хоженными и нехоженными дорогами двигался моральный закон к себе. Сверху было сентябрьское звездное небо. Одержимый ЛЮБОВЬЮ этот физически маленький, худенький человек стер три пары обуви, ночевал в полях, скирдах соломы, питалась кукурузными кочанами, грушами-дичками, да чем придется! Ночевал Коля Воробель с каменными бабами, душами предков. Для каменных баб он был уже МУЖЧИНОЙ, а вот для себя еще нет. А для Нее? Нетрудно догадаться, что делалось в его душе, что-то невозможное, что далеко не каждому дано. Дошел до он Старого Большого Города своего народа. Переночевал на могиле одного из славных рыцарей старины своего народа, на берегу Большой реки, умылся росой, позвонил Ей по телефону, назначил встречу на центральной Площади Большого Города – и пешком пошел на эту встречу.

В спортивном костюме, прибитом-иссеченном звездной пылью Млечного Пути, небритый, исхудалый за пятнадцать суток путешествия, он купил винограда целый целлофановый кулек и белую, длинную, как Дорога, колючую розу...

Она пришла на ту встречу с другим мужчиной.

Это было жестоко и мудро. Клин выбивают клином. Любовь – ненавистью, ненависть – любовью... Но это уже – крайность ...

Он улыбнулся – и вернулся поездом в Кали. Она осталась САМА, она была сожжена, она ничего не хотела. Он обжегся о золу. Он очернился ею.

Он попал в больницу с психическим расстройством. Он сделал ПОСТУПОК ДУХОВНЫЙ.

– Видишь, Простор, какая высокая шкала Духовности у этого мужчины, – сказала Время.

– А почему же низкая Алмазность?...

– Риторический вопрос. Неужели не чувствуешь?

– В этом случае – нет. Ведь этот человек Лоа-художник высокого регистра. Он не тот, что соединяет Слово с Делом... Он вообще не сеет слов. Он делает духовный подвиг через физическое тело, через убыток для тела (как это почти всегда бывает), – не утихало Пространство.

– Знаешь, Простор, честно говоря, я и сам этого не понимаю. Возможно, у нас неправильная шкала. Возможно, Лоа даже для нас закрыл это ЗНАНИЕ, – ухватилось за волосы Время.

– А может, ответ очень простой: этот подвиг Коля Воробель осуществил ради Любви к Женщине... а не к Богу...

– Лукавит тот, кто говорит, что Бога любит, хотя ближнего своего ненавидит, – как-то так звучат слова Бога в человеческой Книге. Любовь – это и есть самый существенный признак Бога. У ЛЮБВИ НЕТ ЗАКОНОВ. ЛЮБОВЬ САМА ЗАКОН. Вот, смотри еще один файл. – Время подало на монитор следующий кусочек, фрагмент человеческой жизни.

Ее зовут Светлана Гармаш. Она милая, звонко симпатичная девочка с двумя хвостиками в разные стороны. Выросла и почти созрела на диковато легком берегу лесного озера – наивная и сильная, как забытые боги предков.

...Вот она, семнадцатилетняя, выходит замуж... Вот она через восемь месяцев рождает беленького мальчика. Вот едет на романтические заработки в Сибирь. ...Чья-то, дождевая, ветренная свадьба... Танцы на водке – словно щепки на воде... Дремуче душевный сибиряк, одинокий и несравненно не уравненный, как волк. Светлана танцует с ним, горячая, сексуальная, молочно юная и тугострунная, как всемирная тоска. Между ними, как сабля-месяц, блеснула молния – и все загремело. Загремело тяжело и глубоко, пропаще. И полетело, позвенело. Оба были уже достаточно сильными, чтоб быть достойными любви, чтоб быть слабыми и беззащитными, как небо на земле и Земля в Небе-Вселенной... Вот бегут, соленые и желающие... вот какое-то сено... вот они до рева хотят друг друга; вздрагивание, всхлипы, О боже!» Скончаемая конченость всего. Вот он, момент творения Вселенной, что подобен глазам черного аиста с правильно круглым Солнцем-зрачком посередине. «Может, в тех зрачках тоже есть марсы и сатурны, вены и земли, на которых живут... просто микроскопов еще таких не изобрели, чтоб увидеть. Бесконечность в микромир, бесконечность в макромир. А что оно такое? Не дано!» – миллионный раз прокручивал такую комбинацию в своей голове-компьютере Иван Волков и миллионный раз чувствовал естественно здоровыми фибрами души и тела: главное то, что произошло между ними – отцом двух сыновей, другом жены – и этой настоящей девочкой. Он был загорело, перегорело опытным, но здесь... Сухие поленья, в конечном итоге, быстрее вспыхивают, чем те, что наполнены собственным соком.

Это была ЛЮБОВЬ. Внешние законы морали христианской, как ее понимают ханжи и климактеричные импотенты, были взволнованы, разболтаны, нарушены до самого дна. Что высвечивал в том случае компьютер Лоа, по какой шкале греховности-святости оценивал Светлану Гармаш и Ивана Волкова – не знали даже Пространство и Время, Случай и Судьба, ангелы-хранители. Хотя очень

хочется даже людям верить в страстно холодную ВЫСШУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ наивысшего ЗАКОНА – ЛЮБВИ.

– А что там дальше, что дальше с ними? – ухватило Пространство за руку седое Время.

– Фрагменты... Сам можешь догадаться, на что способны и какие есть на земле такие ребячески мудрые натуры как Светлана Гармаш. Все, как люди говорят, пошло-поехало... На вот еще один фрагмент. – И Время опять сменило человека на экране.

Лада Подгорянка. Как Христос, она не в ладах со своими близкими, в свои двадцать ушла даже от мамы. Пишет классные стихи, прекрасно поет разные песни, организует душевно-духовную жизнь Кали. Живет везде и нигде, открытая для всех, как струна и, в то же время, закрытая, как струна нетронутая, как невозбужденный голос струны. Летала она, летала... Даже завела ребенка от кого-то, от кого – никто не знает... Регистрировать семью принципиально не собирается, не хочет. То ли это вызов самой себе, то ли миру. У нее много молока и она живет, живет...

– А! Время, ты мне уже поднадоело с теми бабами, летуче-жгучими, – рассердилось Пространство (где-то в это время случались землетрясения, где-то новые миры и существа родились или умерли – что на каком-то уровне одинаково). У всех действительно слишком разная шкала для оценки. Пусть Лоа сам разбирается с ними. Я уже ничего не по-ни-ма-ю. Забембалось я. Кто святой? Кто грешный? Кто душевный? Кто высокодуховный? Кто алмаз? Кто дерьмо? Кто смертный, кто бессмертный – в компьютере Лоа все это фиксируется. Мы, как и люди, ИГРОКИ...

– Действительно, Простор, – ответило Время. – Поэтому давай играть по-настоящему. Давай, знаешь что?! – Время лукаво улыбнулось. Давай-ка переселим гены нескольких гениев прошлого в современные тела – и посмотрим, как они себя будут вести в другом, более быстром, динамичном времени. Как на них отреагирует толпа и единицы.

– Но их никто не узнает, Время, а если они сами будут заявлять, что они христосы, будды или наполеоны – их просто-напросто отделят от общества в разные заведения – дурдомы, психушки... Даже в самых демократических обществах, – подсластило Пространство.

– Дело в том, что они будут жить совсем под другими именами. Правда, внешность временами может поразительно подсказывать... В Кали живет, например, композитор, даже известный, с генами Бетховена плюс поэт с генами Байрона и Лермонтова (божественная инженерия предусматривает и смешивание свойств), Шевченко еще раз умер... Все искусство (по Аристотелю) – это наследование. Все Большие начинали с наследования, но далеко не все из него поднимались... В конечном итоге, зачем с такой таинственностью подавать вещи те, о которых даже люди догадываются. Нам, Пространству и Времени!.. Вон смотри – реклама: объявление наклеено везде: «Встреча с Моцартом и Македонским в оперном театре». Люди в этом случае не ВЕРЯТ. Одни, относительно умственно уравновешенные, пойдут на «дурку», другие – старые девы, подвинутые иссле-

дователи параллельных миров и т.п. – сами как из «дурки». Их меньшинство. Результат – они ненастоящие.

– Но неужели никто по-настоящему так и не почувствует гения, если это не игра, а правда?

– Кто-то почувствует. Но поверить самому себе – так тяжело! И, в конечном итоге, кто сказал, что людям стоит всю эту ЖИЗНЬ ВОСПРИНИМАТЬ СЕРЬЕЗНО? Можно – как ИГРУ. Сковорода, Пушкин, Шиллер, Шекспир... в конце концов, все это относительно и по-детски. Каждому должно быть дороже СВОЕ... Чем более сконцентрирован заряд снаряда, тем более объемный, более щедрый взрыв... Вот, послушай, как разговаривают в одной ночной корчме «Кафе театральное» два потенциальных гения.

Время и Пространство сменили файл.

РАЗГОВОР В КОРЧМЕ

Оба они были простые, словно сперма коня на лепестке розы, словно зековская тоска-песня перед аналоем. Оба благородно сдержанные, упрямые и естественно расхристанные. Оба были настолько разные, что даже похожи. Одного звали Остап Шаблий, второго – Дмитрий Быковский. Они много покрутились в жизни, в сфере духовной, оба были лентяями и сизифами, чмарями и казаками, жмотами и щедротниками, посевальщиками духовного зерна. Они упрямо сидели, хорошо, глубинно сидели, что-то попивали, жгли и философствовали. Внешнее действие было ограничено, внутреннее – растрепанное до богочертовства. Давно знали друг друга, совместно видели многое, хотя друзьями не были – просто однокурсниками.

Сидели и подводили теорию под свою практику, что-то наподобие этого: «а помнишь то, того... а почему так, а не иначе, почему иначе, а не так...»

– Почему мы мучаемся, почему живем не так, как какие-то американцы! Мы же – НАЦИЯ ПОЭТОВ. Так и живем. И так нам хорошо. Мы расхристанны, мы стихийны. Но это МЫ. Рай, наверное, будет украинский, а не немецкий, – эмоционально говорил Дмитрий, глядя в дальнюю даль сквозь близкие пиратские стены. – У нас есть такие исключения, как они. Им плохо. У них есть такие, как у нас. Им также плохо...

– Да... Главное родность. И не бояться быть самим собой каждую секунду. Вечность состоит из мгновений. И завладеет вечностью тот, кто завладеет хотя бы одним мгновением безраздельно. Так мне кажется... – с дымом выдыхал Шаблий.

– А еще главное – различать фальшивое и истинное. Вот послушай. Например. Художников сейчас развелось, как навоза. Но настоящий поэт, например, такая же редкость как и гипнотизер. Он гипнотизирует человека. А механизм, тайну своего редкого дара и сам себе не способен объяснить, не то что кого-то научить, до своего уровня довести.

– Но шутовство, шоу часто бывает намного эффектнее, чем настоящий талант. Гениальному композитору в миллионы раз нужнее, приятнее сидеть за нотами, инструментом, создавать музыку чем популяризировать уже созданное.

Хотя это не означает, что чем более гениальнее, тем закрытее... Крайности – они всегда болезненные, к тому же парадоксально меняют полюса и переходят в свои противоположности. Рецептов нет, но интуитивные критерии есть. Вот смотри. – Шаблий начал помогать языку – оружию души и мозга, руками – жестами. – На сцене два йога. Демонстрируют номер: зависание в воздухе. Один из них придумал, нашел или выдумал крепкие невидимые нити, на которых можно повиснуть – и никто не увидит, даже рукой не почувствует, потому что очень уже эластичные эти нити. Этот «йог» легко и эффектно повиснет в воздухе – и высоко, и улыбаясь... Ливень аплодисментов и цветов ему награда за муки, так сказать... Другой йог действительно тренировался два десятилетия: изучал Законы Вселенной и человеческого тела, росинки и дождь, зори и планеты. Он тоже повис в воздухе, но явно ниже, менее эффектно, с потом на лице и кровью на прокушенных устах. Его ЧУДО настоящее. Но толпа шла на шоу, а не на правду. Обычно, найдутся люди, которые различат фальшивое и настоящее, но вряд ли будут считать нужным выступить против, разочаровать толпу, людей. Да и зачем. Люди хотят отдыхать, хотят рая, а не ада. ЛЮДИ ХОТЯТ ШОУ, А НЕ ПРАВДЫ. Хотя вечность правдива, шоу – это момент. Это для меня и есть разница между фальшивым и настоящим.

– Ты какому йогу отдашь преимущество, Дмитрий?

Дмитрий Быковский задумчиво улыбнулся:

– Что же, ты прав. Настоящих художников, как и настоящих гипнотизеров, мало. И научиться этому практически невозможно. То есть научиться так, чтоб работать на действительно высоких регистрах. Я с тобой соглашаюсь: «Так много разумников, хоть бы один был волшебник...»

– Правда, здесь есть еще один момент, – продолжил Остап. – Талант не заслуга того или другого лица. В действительности он отсюда, – ткнул пальцем в небо. – Но как распорядиться им – это уже дело выбора той или другой личности. Очень уж мало нескурвленных, не проданных за дешевую славу, вонючие, окровавленные деньги... Очень МАЛО НЕСКУРВЛЕНИХ СРЕДИ ТАЛАНТЛИВЫХ.

– Я считаю, что продать можно лишь душу. Дух – он, в конце концов, бессмертный, если он есть, конечно, – сломал папиросу Дмитрий.

– Благородство художника в том, чтобы было побольше слов написанных и поменьше сказанных, – либо нот, либо красок... На молчаливый вулкан молятся, а от действующего убегают.

– Мне кажется, никаких рамок для гениев существовать не имеет... то есть и не существует. ИСТИНА – ЭТО ТО, ЧТО ЕСТЬ... Что здесь долго мудрствовать! – Быковский выдохнул матерное слово из-под самого своего большого сердца. – А относительно фальши, то согласно Библии, Христос пришел перечеркнуть лицемерие книжников, фарисеев, их фальш, внешнюю, ритуальную набожность.

– О да-да!! – аж привстал Шаблий. – Но теперь с тем же успехом, фетиш сделан с Иисуса. Новоиспеченные («его») попы сделали из него то же, против чего Он восстал, гениальный – гениально восстал... алмазно. О, вечный духов-

ный парадокс, продвижение человечества через возражение возражений. Идолами становятся Будда, Магомет, Христос... еще сотни более мелких божков. Объединенное человечество опять станет ЯЗЫЧЕСКИМ, только идолами будут не старые перуны и даждьбоги, а Христос, Будда – профильтрованные, распятые, разрекламированные. Человечество становится единым... экономически, информационно, духовно... А что дальше – фиг его знает. – Шаблий надрывно заругался первобытным слюняво-кровяным матом врагов своих относительно далеких предков – разных тюрков, турков.

Именно кровь стояла на кону споров: загнет Шаблий матерное слово или нет, если его капитально допечь... Спорили зеки и разные чморики. И старались довести Остапа до белого колена. Бесполезно. Недавно он почувствовал, что физически немного сдал. Или же стал сильнее, настоящим художником, потому что более тонко и смачно может употребить что-то вроде «...дец» или «... твою мать». Как-то легче становится... Правда, выдает он эти матерные слова как-то безадресно, более того – будто себе самому... А! бес его знает...

– Относительно фальши я еще добавлю. Эффект внешний и эффект внутренний. Слезинку можно добыть из глаз, выдернув волос из носа, или лук обнажив, а можно слезой падающую зарю сопровождать. Чувствуешь разницу?... Для Лоа однозначно ценная ДУХОВНАЯ РАБОТА, а не физическая, телесная.

– Ага. А что тогда родит женщина? Тело или душу? – неожиданно, будто сам себя, спросил-ответил Шаблий.

– Если, дай Боже, ребенок жив, а не мертв, то Душу-Тело, а если, то... понятно.

– А когда эта душа в животе появляется?

– Думаю, что сразу же после слияния сперматозоида с яйцеклеткой.

– Действительно, потому что говорят, во время абортот даже очень ранний плод трагически прячется от скальпеля.

– А как ты, Остап, относишься к смертному наказанию за тяжелые преступления, – ни с того ни с сего спросил Дмитрий.

– Гм... Я давно уже внутренне боюсь давать себе ответ на этот вопрос. Здесь вот в чем дело – созрело человечество или другая его общность к такому гуманизму... Слишком уж частные случаи. Однозначно... Если бы мне сказали: «как скажешь, так и будет» – я бы ответил: «Я против всякого суда человека над человеком. Это смешно... Ведь кажется все мы (а может и не все?) предстанем перед высшим Судьей. Решение Его Суда может быть полностью противоположным человеческому... Знаешь, есть такая полесская легенда: шел Христос с учениками тяжелой дорогой, их обогнал богатый мужчина на прекрасных конях, они попросили, чтобы он их подвез, но он – дулю с маком, за ним ехал бедный-пребедный крестьянин на доходяге-кляче, они опять попросили, он их взял.

– А как ты отблаговаришь, Господи, этого бедняка? – спросил апостол Петр Иисуса.

– Завтра у этого бедняка сдохнет его кляча... – ответил Христос.

– О Боже! – удивился апостол.

– Дело в том, что Бог любит не только бедняков, но и слезы их...»

– Ну, как тебе такая парадоксальная истина, Дмитрий? – спросил Остап.

– Истины все парадоксальны. И вообще... Давай лучше напьемся. Ин вено веритас! Истина в вине. Все равно вся эта наша гелготня лишь ГИПОТЕЗЫ!

Дмитрий с Остапом напились и в обнимку, распевая «Стоит гора высокая», попетляли вечерним Сингапуром, встречая знакомых дам и мужиков. Они чувствовали себя хозяевами Жизни.

Правда, это ощущение тоже было фальшивым, потому что допинговым...

– А действительно, старый, – бормотал Быковский. – Женщина рождает душу. А наоборот что-то мы не наблюдаем.

– А! Что там говорить. Все эти мысли наши, человеческие, а не Божьи. И дела человеческие. Человечеством, черт бы его побрал, КОНТРОЛИРУЕТСЯ естественнее всего: половой инстинкт, инстинкт охоты, ЛЮБОВЬ даже... Отсюда и вся деструкция, гниль и фигня. Аут. Давай дальше петь.

И они запели: «А молодость не вернется, не вернется она...»

СУДЬБА И СЛУЧАЙ

– Ой, здравствуй, здравствуй! – не смогла Судьба сделать вид, что не заметила Случая.

Настала тишина.

Тупик паузы нужно было спасти несерьезной улыбкой или суетой наподобие: «Прости, я ужасно спешу...». Ткнуть пальчиком в часы, хотя их, возможно, и нет на руке...

– Ой, что-то мы засуетились... засуетились очень... Как-то так оно все. Какая-то неспособность на поступок. Лишь словесные достижения.

– Хорошо было Христу соединять слово и дело. Он отвечал лишь за себя. У него даже не было детей – в тридцать то его лет... Ему не было чего терять...

– Многим нечего терять...

– Это правда, но...

Судьба нашла в себе вулканическую силу прикусить язык и взяла Случай за руку. Он будто проглотил сам себя и – отдался Судьбе. Они плыли небесными высокими травами, которые пахли самим космосом, а космос – ими... Они ночевали в скирде Космоса. У них был счастливый кризис. Они не могли справиться с собой, как-то совсем забыли о людях, которые собирались на митинги, делили здания-храмы между разными концессиями, священники били священников крестами по голове, политики со своими завышенными амбициями не чувствовали даже, что они смешные и временные.

Вчерашние крутые, слюнявые парторги-украинцы рвут на своей груди «вышиванки» – что они самые большие патриоты... Завтра (не дай Бог!) придут немцы, они с такой же, или еще с большей ревностью, будут лизать задницы им ... и каяться, что не ПРОРОКИ...

Холеные «правильными» семьями попки, мясными рученьками и губами будут исповедовать чистых, как слезы, сельских бабушек и не тронутых даже священными травами девочек... А затем идти в свои, устланные пышными коврами трехэтажные дома с двумя «Мерседесами» в гаражах, добротные собранные благочестивой паствой. Мир и покой излучают их фигуры, а глаза...

Слава Богу, бывают исключения. На них и держится Дух. Исключения парадоксальны, какие-то грешные, временами ужасно неправильные. Но это СВЯТОЕ. ИСКЛЮЧЕНИЯ, как правило, плохие родители, они вообще плохие. Но они ВЫСОКИ. Они нужны нациям, человечеству, Творцу.

...Такие картины-выводы высвечивались на мониторах компьютеров Долли и Случай. Они сломя голову бросались помогать то этому или другому АЛМАЗУ – и впадали в отчаяние. Опять расцветали. Целовались и плакали.

Вдруг над ними нависло лицо, подобное топору. Оно было – отчаяние...

«А, черт бы «его все побрал! Со всем!..» Абсурд! Фигня!

Это было восстание. Это было неподконтрольное состояние. Человек вышел из себя в свет, через который он, собственно, и вышел из себя. Это было восстание в восстании. Буря в душе Вселенной и Вселенная в душе бури.

«Повеситься, напиться, не быть, пропасть!..» – молодая женщина была витрины, рвала и метала все и всех вокруг себя.

– Случай, Случай! Смотри! Эта красавица совсем обезумела! – полунтимно зашептала Судьба.

– Она не способна обезуметь до дна, – ответил Случай, который уже долго-предолго хранил равновесие и был счастливо удивлен этим фактом. – Это Галя. Она только что сделала аборт. Она богемная художница, она и музыкант. Она просто красивая тоненькая особа. Живет с каким-то тоже интересным типом на каком-то чердаке где-то на галерке старого доброго Кали.

– Всем кажется, что она... что очень уж она художественная госпожа... с одной стороны это действительно так, но с другой, мне кажется, что она не имеет той мощности, настоящей мощности, которая отделяет настоящего Художника от очень красивых ночных и дневных бабочек, сгорающих, в конечном итоге, в свете того МОЩНОГО ДУХА, который Лоа называет АЛМАЗНЫМ, – сказала вслух своими красивыми глубокими Глазами-Вселенными Судьба.

– А ну-ка, давай покрутим ретроспективно эту Галю. – Нажал кнопку своего компьютера Случай. – Ага. Умная девочка. Прибыла из провинции. Хочет все познать-понять – и в духовно-душевном, и в телесно-физическом планах. Поступила в универ, робко переспала практически с первым нагло умным мужиком, который «трахнул и заснул», но одержимая искусством, даже не заметила этого. Если бы не музыка, летучая музыка души, все переживала бы значительно тяжелее, болезненнее. Искусство имеет и дает редкую возможность переживать все заранее – и радость, и печаль, и трагизм, вводит в медузное состояние. Вот Галя забеременела... Вот ее безумная борьба с собой: родить или посвятить всю себя искусству... Вот космическим усилиям воли она идет на аборт, одолев в подруги двадцать долларов на эту операцию... А вот она уже после преждевременных родов... Почти обезумела. – Случай взял Судьбу за руку крепко-нежно, таинственно и многозначительно.

Судьба задумалась.

– Она могла родить новую душу, а променяла это на работу своей души. Равновесие во Вселенной от этого практически не пострадало. Душа, которая была смесью разных близких ей генных особенностей, вернется назад – в Ком-

пьютер Лоа, не реализовавшись, маленькое ее тельце практически бесследно сгниет или сгорит – станет землей, Землей.

– Но люди не могут разобраться: аборт – это грех или не грех... – грустно улыбнулся Случай.

– О боже! Грех... Какое это относительное, какое дурацкое понятие! Неужели не понятно, что в основе всего Бытия лежит Любовь. Во имя Любви ничто не грех. Во имя Славы, Денег и т.п. – грех всё. Просто – как музыка.

– То есть – если женщина сделала аборт во имя любви к искусству – это не грех? – лукавил всезнайка Случай.

– Все можно легко вычислить, понять с помощью первобытной логики: допустим, женщина, которая делает аборт, является алмазом – то есть духовно мощным лицом, но плод ее, зародыш по замыслу Творца должен быть в сотни раз мощнее, нужнее Творцу... Как на это посмотришь?

– Если бы это сделала Мария с зародышем Христа... Она же была предупреждена. А откуда каждая женщина знает, что она должна родить, скажем, гения? А если и догадывается, интуитивно улавливает, то готова ли она к его воспитанию, способна ли материально обеспечить? Возможно, она нищенка, самая голодная и босая... Представляешь, сколько на Земле абортировавших гениев-алмазов! Сколько их погибло при землетрясениях, войнах, от несчастных случаев...

– Но для предотвращения этого мы и существуем с тобой, дорогой мой Случай. И на Страшном Суде лишь компьютер Лоа разберется – кто, когда, где прав, а кто, грубо говоря, согрешил – человек или его ангел-хранитель, или Случай, или Судьба... Во время Большой Чистки отребье будет уничтожено, а более-менее алмазы станут Богом – так как волос Бога – это же также Бог... – защebetала внутренне светлая и хорошая Судьба, которая была стихийна и красива, как сама природа: то снег, то солнце, то ветер, то дождь... Прекрасное создание. Кровь с молоком.

– А что будет дальше с этой Галей, которая, кстати, является доброй знакомой нашего старого, вернее давнего подопытного 24-X-315?

– Ты хочешь вмешаться?

– Нет, нет... наверно, пусть выкарабкается сама. Возможно, каким-то образом из нее еще выйдет алмазик?

– Ее судьбу я, обычно, знаю заранее, но не скажу, потому что разглашение этой тайны выбора объекта в Смерти, – наибольший, однозначный мой грех перед Творцом... – Судьба скинула с головы беленькую шапочку и обнажила красивые поэтические волосы. – Если бы люди достоверно знали, что все по-настоящему влюбленные встретятся на небесах, то и тогда в душах человеческих оставалась бы боязнь: а вдруг я останусь один, как в том анекдоте... Да и всем ли пары хватит? Что не говори, а Лоа гениально все это закрутил, теоретически – вечный двигатель...

– Знаешь, Судьба, – как-то объемно перебил её Случай, – мне уже поднадоел этот Кали с его дождями и кофе, с его красивой претенциозностью и неразгаданной душой каменных крестов, в которые стреляли разные завоеватели. Кали имели все, кому было не лень. Давай крутанем что-то другое.

– Давай! – зазвенела Судьба. – ВЫРАЩИВАНИЕ АЛМАЗОВ продолжается...
Как я ненавижу фальшивые!..

АДСКИЙ РАЙ

Судьбе со Случаем после Кали захотелось чего-то полюсно противоположного, здорового, нефальшивого от корней своих. Они опять нашли приметы 24-X-315, пошли за ниточкой Судьбы...

Солнечно пели петухи, грелся под беззащитно-безоблачным небом мордастый кот, пахло полем, естественной свободой, здоровой любовью. Все было наполнено Духом, Богом, все было бесконфликтно и как-то мудрено-спокойно. Посвященное в духовные таинства существо знало – что покой в Лаборатории Творца, как и счастье, очень относителен, – на мгновение, на растянутое, в лучшем случае, мгновение...

...На порог вышла старая-престарая бабушка и начала кормить кур пшеницей. Вышел высокий дед – любовь ее далекой молодости, который еще в семьдесят лет изменял ей с какой-то бабой из соседнего села, куда ездил своими дорогими взлелеянными воронными лошадьми, которых любил, как девушки любят щенков.

Возле церкви – резвый, как смугловатая ртуть, цыганчук выпрашивал у дяди посидеть на его кобыле. «Вот бы меня сейчас мои увидели! Вот бы сейчас меня цыгане встретили таким, на коне», – аж пенился, аж звенел и гудел цыганчук... Рукавом в муке вытирал непрошеную слезу из наивно-жесткого взгляда сельского дядька.

Вдруг к ним подбежала девочка-подросток. Тоже цыганской крови, потенциально страстно красивая, как черная роза, гибкая, как пламя свободного степного цыганского костра.

– А дай мне свою сестренку, так я тебе коня отдам! – разыгрывал дядька цыганчука.

На детском, но уже тронутым тяжелыми житейскими вопросами борьбы, личике мальчика мелькнула молния какого-то генетического сомнения.

– Не, не, – в конце концов громко прошептал мальчик, – не могу... нет-нет...

Он не сказал, что будет ссориться-бить мама, папа... он не оправдывался – было слышать, что решение принимает именно его маленькое и естественное как природа сердце: цыган не отдавал сестру за коня...

Такие картины сельской (далеко не идиллической, кто знает) жизни наблюдали Судьба и Случай. К ним через свой электронный или какой там канал, присоединились Время и Пространство.

Все они решили не быть в этом случае пассивными наблюдателями, а проявить свои способности относительно влияния на бытие жителей Лаборатории Творца, вернее, одной из его Лабораторий под названием Земля.

Вот возле сельской корчмы, как незабудки, валяются пьяницы.

Вот мужчина пашет поле.

Мальчишка босоногий гонит табун с поля.

Качаются в сене, которое пахнет большими звездами, влюбленные.

Одинокая бабушка возле ветхой хаты неумело рубит дорогую родную курицу-несушку.

Ее сосед – старый дед, о котором сельский учитель языка и литературы написал в своем интеллигентном «Дневнике» «наибольшая подлость – это подлость старых дедов», читал газету, которую нашел на своем огороде. Поправляя очки с одним разбитым стеклом, он бормотал: «Астрофизики утверждают, что где-то 20 миллиардов лет назад из какого-то сгустка родилась наша Вселенная и сразу же начала расширяться в разные стороны. Этот разбрызг Вселенной продолжается. Так вот, наша Галактика – Солнце, мириады звезд, Земля – все отдаляется друг от друга. Что будет дальше, никто не знает. Или это расширение будет продолжаться, или остановится в конце концов. Тогда Вселенная опять начнет сжиматься...»

Дед Евтух добавил от себя: «Как большое сердце. – Это сжатие и будет началом «конца света». Но при таком варианте он наступит не скоро. Ведь Вселенная бесконечна. Даже ближайшая Галактика, которую можно увидеть с помощью современной аппаратуры, находится примерно за 15-17 миллиардов световых лет от Земли. Не только это расстояние человеческий мозг не воспринимает, но даже расстояние, которое проходит свет за одну минуту. А здесь миллиарды! (Скорость света за одну секунду – 300 тысяч километров)».

Дед зажег трубку и посмотрел на небо. Ему вдруг очень захотелось пойти на сельское кладбище к Бабе, где та уже пять лет спала вечным сном.

Евтух действительно казался многим (почти всем) односельчанам жестко-жестоким, бесчеловечным, скупым, даже безбожным. В действительности же... он ни одному живому существу не делал зла умышленно. Он уже лет двадцать был просто нездешний. А люди не любят нездешних, высоких, они их наделяют чертами чертовскими, характерническими. Трава, в конечном итоге, сама тоже навязчиво людям добра не делает, и зла, хоть люди часто ее сорняком считают.

Так вот, дал дед своим трем курицам зерна и почапал. За ним поплелся его старый, как и он, кот.

Пришли к крестато-крылатой могиле. Присели. Евтух опять зажег трубку, достал пожелтевшую газету и продолжал бормотать, но уже не себе, а будто бабе, с которой пробыл, протянул всю свою жизнь, с войной, похоронами родных, близких... дочки. «Была и кровь, было и молоко женское» – любил выражаться его фронтовой друг Алексей – царство ему небесное.

«Серьезную угрозу жителям Земли могут создать также большие астероиды и метеориты при столкновении с нашей планетой. 23 марта 1989 года большой астероид пересек орбиту Земли в точке, где она находилась лишь шесть часов до того... В последнее время озоновый слой значительно потончал, а в отдельных местах появились вообще озоновые дырки. Угрожают людям и землетрясения. Существует и еще одна огромная угроза жителям планеты. Это – известные и неизвестные болезни. Несколько веков тому чума и холера считались наказанием Божьим. В 1347 году чума уничтожила в Европе сорок миллионов человек. В 1980 году впервые заговорили о новой страшной и пока еще неизлечимой болезни – СПИДЕ. Сколько она заберет людей на тот свет – неизвестно. ...Как

видим, причин, чтобы наступил «конец света», есть немало и все они достаточно серьезные. Так вот, человек сам себя способен уничтожить...» – дед поджег спичкой желтый лист газеты и послал по ветру. Спокойно улыбнулся, достал из кармана кусок булки, дал коту и бабе... Сидел здесь и сидел... Сидел и сидел.

А между тем, на полную Луну начал капать дождь. Остро запахло свежестью, почками и еще не совсем исчезнувшими прошлогодними листьями, в общем – прошлым...

Девятилетний Остап спрятался под перину, потому что селу отключили «свет», и баба засветила лампу. Было сказочно и уютно. Неполноту жизни дополняла бурная, возможно, даже безбрежная, бескрайняя мечта-фантазия-сказка. После сказочников в духовной сфере нечего делать философам, церковникам и даже поэтам.

Так вот, Остап (или 24-X-315 для Лоа, Времени, Пространства, Случая и Судьбы) почему-то до боли живо представил себя с моторчиком за спиной, как у Карлсона. Он летает по ночным лесам, живет в теплом дупле, помогает птицам, зверям и травам: вот он перевязывает крыло аисту, подбитое браконьером, вот – приживляет сломанную дикую белую розу, разговаривает с ней о ветре, зоре и морском дне, которого он еще не видел, но которое живо представляет – с затопленными атлантидами, греческими амфорами и римским духом... Все божественное очеловечивалось, травяное, стеклянное оживало. Большим и нежным казался мир, хоть в действительности такой была душа, подаренная, созданная Творцом. И не вина это была и не заслуга... Не вина и не заслуга.

Не вина и не заслуга Остапа была в том, что был он не таким, как все дети, что дети это сильно чувствовали, что всегда отделяли его от себя, что хотели его бить, но почему-то боялись, боялись и стремились к нему. Удивлялись его самостоятельности и тяге до книгам старые сельские учителя. Но жизнь есть жизнь: рождение, смерть, увечье, праздники, будни... круговерть, крутоверть, таинство, солод, соль, трава, туча, Бог, черт, кровь, пыль, самогон, песня... полет.

Вечный полет, как во сне, – это единственное, что по-настоящему подходит душе Лоа, Художника, – полет, быстрый и вечный – чтоб за окном разнообразие лиц, цветов, звезд, а в душе песня и ветер, песня и ветер...

Остап в детстве три раза утопал, два раза падал на кирпич, горел в хлеве, который подожгли соседские дети. Одним словом, игру Случая и Судьбы сильно чувствовало его сердце. Сильная, нежная невидимая рука вела его по жизни и закаляла душу, ВЫРАЩИВАЛА АЛМАЗ, бросая незаметно в крутые виражи испытаний и за волосы вытягивала из крылатых объятий красивой (и не очень) смерти.

Со своим троюродным братом и близким другом Андреем Вереском он целыми летними днями пропадал на пруду, ловил рыбу. Однажды ребята заметили, что крючок без червя интересуется зеленых прудовых лягушек, которые принимают его за муху. Андрей подыграл наиболее голодной лягушке – она и клюнула... Раскрутив горемычную по кругу диаметром пять-семь метров, он стегнул ее об дуб. Лягушка сползла по стволу к корню – и «врезала дуба».

С чисто спортивно-охотничьим азартом тоже самое начал делать и Шаблий.

Его эмоционально глубокая натура настолько прониклась этим, как и всем, за что он брался, что он убил, наверно, вдвое больше наивных созданий, чем его товарищ. Потом, ночью, ему было очень плохо душевно – вплоть до физической рвоты.

На следующий день Андрей опять продолжил лягушачьи игры. Какая-то безумно небесно-земная сила-интуиция ЗАПРЕТИЛА это делать Остапу. На него будто был брошен сноп нездешнего света и свежая, жесткая складка, словно улыбка странной звезды, легла между его бровями. Правда, мало кто это заметил.

Потом еще был случайно убит голубь, застрелена ворона и воробей. Всех их было очень жаль Шаблюю. Все они мертвые телом заставляли дремуче глубоко ЧТО-ТО чувствовать и невнятно понимать. Это «что-то» было каким-то большим ЕДИНСТВОМ: все – часть души, душа – часть Бога, так вот, все равняется Бог... человекообразные мартышки, богоподобные люди...

Судьба забирала у 24-Х-315 родных – друг за другом, друг за другом... Он вырастал погребая. Случай давал ему почувствовать и понять, что есть КТО-ТО, ЧТО-ТО, к чему, к кому мы придем в конце концов. Пространство показало ему мир в количественном аспекте, Время отрегулировало, распределяло количество закалок в той или другой АЛМАЗНОЙ ПЕЧИ. Лоа, наверно, лишь по-дедовски улыбался и думал себе: «Какие разные есть дети! Одному скажешь: Петрику, не лезь туда, потому что там Баба Яга – и ребенок боится, слушается, другому тоже скажешь – не поверит на слово, пойдет робко, крадучись, но пойдет, и убедится, что там действительно Баба Яга. Тогда поверит. Есть, правда, и такие, которые никогда не поверят в Бабу Ягу. Таких я не люблю. Такие не АЛМАЗЫ. Алмазы – другие, которые сомневаются, но идут, верят, чувствуют... «духа правды, что Его мир принять не может, потому что не видит Его и не знает Его»...

Читая книги и впитывая мир, как губка, 24-Х-315 понимал и чувствовал, узнавал, что есть растения-вегетарианцы, что в природе нет понятия милосердия или жестокости, что через 20-30 лет СПИД может уничтожить половину населения Земли, что «свободному воля, блаженному рай» (рай – неволя, что ли?), что предки потомкам помогают как-то... что бывает такая красивая осень, что аж самодостаточная (деньги или любовь парадоксально превращают ее в несчастье); что человек, как правило, помнит лишь своего деда, в лучшем случае – прадеда, дальше – вне границ памяти, как и боли.

Остап Шаблюй едва не сломался на познании парадоксов наподобие такого: через добро можно делать зло – и наоборот, то есть вопрос фальшивых и истинных ценностей-алмазов. Можно верить в Бога и ненавидеть попов – и наоборот... То есть, опять вопрос истинных и дутых ценностей.

Миллиарды книг написаны человечеством, биллионы афоризмов составлены, а каждую секунду человек должен ошибаться заново, смеяться заново, плакать заново, бороться заново, родиться и умирать заново. Заново ЛЮБИТЬ.

В более зрелые годы, размышляя сердцем над природой общечеловеческого Добра и Зла, святости и греха, Шаблюй пришел к выводу, что грех тогда грех, когда думаешь, что это грех. Настоящая ЛЮБОВЬ будет оправдывать ВСЕ. А

подлинность ее может фиксировать лишь алмазное человеческое сердце и сверхточные компьютеры Лоа, Пространства, Времени, Судьбы и Случая... которые, собравшись вместе, как молодые ученые-исследователи, изучали-закаляли алмаз под кодовым названием 24-Х-315, фрагментарно бросая его то в одну, то в другую высокотемпературную печь. Тело его старело, а ДУХ закалялся, становился Богом, потому что становился частицей Бога...

Слишком уж маленький срок отводился на Земле Лаборатории телу Остапа Шабляя, чтоб поместить в него вечность Лоа духа. Бог – дух. Люди – носители духа. Следовательно они – частицы Бога, следовательно они – боги потенциальные. Но не все. Лишь – АЛМАЗЫ. Наверно, есть еще лаборатории, где другие разновидности душ выращиваются и закаляются.

Лоа нажал кнопку – и на экране предстал 24-Х-315. Он стоял в лесу, над муравейником. Рядом – его автомобиль. За плечами – ружье. Он вышел на охоту за своей душой, то есть за равновесием. Он ничего не хотел убивать и уничтожать. Но он был первобытный и далеко будущий. Он мог плеснуть на муравейник ведро бензина и бросить подпаленную зажигалкой сухую ветку калины или ели. Он мог остановить этот мир МУРАХ, как может человек уничтожить мир людей – нажав «пуск» ракеты с ядерной боеголовкой, но создать он мог лишь ПЕСНЮ. Хоть и в этом творении было вечное, тягучее, болезненное неудовлетворение.

«Как же мало можно высказать, выразить!» – кричало его в нем.

– А знаешь, Остап, последние слова Дарвина перед смертью? – подошла к нему и взяла за руку его любимая, с которой он впервые был вдалеке от людей, размножившихся в прогрессии...

– Не знаю, но помечтать, наверное, не грех.

Остап взял любимую на руки и понес в высокие, аж до звездного неба, травы, которые пели песню о главном.

Судьба, Случай, Время и Пространство засмеялись.

Лоа поцеловал Судьбу в чело и тоже засмеялся.

Выращивание алмазов продолжается.

Время вывел на экране другой фрагмент.

II. ОХОТНИКИ И ЖЕРТВЫ

– Все. Все. Все! Табула раса. Прошлого, моего личного прошлого – нет. Завтра начинаю все сначала, – почти кричал Тарас Криштальский, стараясь, чтоб его слышало побольше людей: стыдно будет слова не сдержать. Так упорные курильщики «бросают» курить. – Нет ни титулов, ни заслуг, ни поражений, даже ошибок нет...

Медитация, ритуал действительно нужны были ему (чтобы изменить себя), а не миру, деревьям-людям, людям-деревьям, которые одинаково скорбно стояли над могилами своих детей: вишни и женщины. Изменить себя, чтоб изменить что-то, кого-то. Сделать революцию взрыва или покоя, разбрасывания или сбора камней.

Слуги-обладатели мира – Пространство (тело) и Время (дух) – жестко-творчески делали свое дело. Они были вокруг Тараса, в нём – везде и всегда. Когда сливались между собой в нём, Криштальский считал себя счастливым.

Так было и здесь, среди сибирских охотников за пушным зверем, в общество которых он попал, когда приехал в гости к стюардессе, с которой познакомился в журналистской командировке будучи завотделом религиозной газеты.

Прежние политические узники – старые родители девушки, просто и хорошо приняли внука политических узников, следы которых уже давно замечены синими мехами норильских, забайкальских вьюг.

Дед Иван посоветовал, какое ружье купить, сапоги, одежду, шапку, рукавицы.

Охотники за метелями были открыты, беззащитны и естественны, следовательно – сильны, как дети. Напиться, набить морду друг другу, а затем с готовностью отдать все, даже жизнь свою за ближнего, каяться и без слов делать дело с глазами, полными ежевичной тоской. Говорить правду – кровно и горько, просто и сильно.

После городской, желто-седой лукавой суеты, погоней за... в конечном итоге, самим собой, эта свобода правды и правда свободы пьянили. И так было хорошо. Укрываться шкурами медведей и рысей, жарить на благоухающем огне большую рыбу, варить чай из гордых трав и, главное, знать правду: белое – черное, огненно-ледяное, любовь – просто: «Я тебя хочу. Да? Нет?».

Земля – огонь – дыхание – вода, первобытно-христианские отношения охотников за мехами... метелями не исключали еще другого квадрата: водка – табак – женщина – зверь. О Боге старались не говорить. О детях – трепетно.

Сибирская природа быстро сбивала искусственную наивность или маску жестокого мужества гусениц, куколок, бабочек. Азбука радости жизни здесь действительно состояла из десяти, возможно, христианских заповедей, паролем, ключом к которым было одно понятие: честность. Честность в самообмане и обмане ближнего – человека и зверя. Честность – как открытость души и тулупная закрытость тела, которое особенно жгучие свято-грешные любовники изучали, как Родину, как звериные тропинки.

Здесь долго не задерживались снобы и карьеристы, моралисты и сальные патриоты, как и хитрые пьяницы и подозрительно здоровые диетчики.

Есть сухой спирт или пить жидкие дрожжи, спать с козой и подобные экзотичные штучки казались негреющими фантазию цацками-игрушками для людей, которым было скучно даже под взглядом смерти, что напоминал стоячую тысячелетиями воду таежных джунглей.

– Тарас, а та девушка, которой ты так часто звонишь, любит тебя? – спросила стюардесса.

– Любовь – дар небесный, а взаимность – вещь десятая, – улыбался Тарас. – Тем более, что мужчины различают секс и так называемую любовь. Для них это могут быть совсем разные вещи. Это даже...

– Не измена?..

– Да. Что-то такое.

– А если правда?! – настаивала небесная сибирячка.

– Хочешь снимем маски? – на иронию не хватало силы.

– Я знаю, что это больно. Знаю, что люди шарахаются от таких, уважают их и боятся – в то же время. Как и гениев.

– Какой ты там в беся гений, если тебе не надоело жить и ты в скучности своей не переступил через себя, плюнув, и мозг твой придумал песню, которая называется «Теория относительности» или «Таблица химических элементов», «Происхождения видов», в конце концов? Дело должно быть, а не помпа, реклама. Дело – детское и глобальное.

– Так ты любишь ее?.. – отодвигала уже почти прозрачную завесу стюардесса. – Только не философствуй, без психоанализа, черт бы тебя побрал!

– Да, – без оклика ответил посвященный в настоящие охотники человек, оставив в глубине себя право на ритуал: он боялся всего, поэтому, когда было нужно, не боялся ничего: основное – принять опасность как жест Судьбы, чем часто пользуется Случай на том или ином пространстве.

Молодая стюардесса почти сыграла безразличие. Лишь немножко запотела маска из влажной коры столетней пихты:

– А что, если я повешусь и напишу записку: «В смерти моей обвиняю Тараса Криштальского?»

– Мне не останется ничего, как тоже повеситься, застрелиться. А потомки – археологи, шекспиры новые – напишут, что были какие-то вот високочокнутые... Но достаточно. Пора ложиться спать, потому что мне завтра, вернее, уже сегодня, на охоту, на зверя.

Они задули керосиновую лампу и прижались друг к другу, нервно подчиняясь природе. Без анализа. С сопротивлением, которое лишь усиливает желание.

Жесткая, временами жестокая наивность резко континентальной природы многим стоила отмороженных пальцев, а то чего-то и более важного. Иногда охотник с жертвой менялись местами – и тогда тигр вязал мертвые петли своих следов, подстерегал своего самого ожесточенного врага – человека. По большому счету все было справедливо. Убийца – убитый. Убийца страдал больше... как бы то ни было.

Замешенный на первых лучах Солнца, туман нежился, прикладываясь к заплаканым стеклам окон. Перепугано рыдал будильник.

– Так что, таки пойдешь? – взяла за руку Тараса стюардесса.

– Призыв крови! Ау-у!

– А мне сегодня дети снились.

– И что будет? – обливаясь холодной водой, спросил Криштальский как можно отрешеннее.

–хлопоты...

– Какие там хлопоты! Хлопоты – в больших городах, или в глупых дремучих селах. А здесь – деревья-люди, люди-деревья...

Семья снаряжала охотника как подобает. Дед чинил лыжи для зимней охоты, баба молилась. Стюардесса дремала на еще не остывшем месте «охотника за метелями». Абсурдно сладкие марева клубились в полусонных клетках мозга

ее, рождая фантастические картины: трепетная, звонкая, почти юная пара занималась любовью в мартовском лесу. Семя разбрызгивалось, растекалось, размазывалось по цветам, деревьям. Когда они через год снова пришли сюда, их окружили со всех сторон странные голоса-вздохи. Это были голоса детей: людей-цветов, людей-берез, людей-кленов... Какие-то странные мутации состоялись в этой радиационной Зоне. Скрип-стон стоял на месте любви – и не было на то ответа. Кто-то придет сюда с топором. Сказка становилась действительностью – и наоборот.

Стюардесса целый день молчала.

Вечером прибежал Коля Евтушенко, сдержанно-подготовленно сказал: «Ваш гость – там. На высоковольтный провод наступил!»

Беда всегда банальна.

Банально и восприятие ее, невзирая на разные внешние формы проявления.

Несчастливая, кажется, безвольная цивилизация. Прикосновение цветочной пыльцы к железу, току, к продолговатому сердцу буйного дерева – и все... Не за тем синеглазая ностальгирует время, не за тем – пространство.

Все – убийцы. Все. Добро тоже: оно убивает зло.

Энергетики-наемники отовсюду романтически, натуралистически рвали крылья деревьям, которые, как бабочки, стремились к Свету, рожали и воспитывали детей, делали с ветром мелодии растерянного мира, не любили истерики, а возможно, любили революции, революции, которые делали бы они сами, а не над ними... под корень, с корнем. Пусть сок сосны пьют волки и олени. Только не люди, потому что они не имеют меры. У них вместо ощущения единства со всем живым – совесть. Они такие совестливые, что им ум и не нужен, им кажется, что смеяться и обещать умеют лишь они. Но последними будут смеяться крысы... Самые хитрые из людей специально теряют, чтоб потом опять долго искать истину. Многие возможности. Многие искушения, грешные страхи, привидения сознания.

...Тарас наступил на электрический провод, небрежно оставленный энергетиками, которые проводили здесь высоковольтную линию.

Ток, как и смерть, душа, Творец, был невидим, неумолим, могуч.

Проникнутые горем до мозга костей, сибиряки закопали Криштальского в крутую Землю, даже не заноса в церковь, в которой было все-таки меньше золота, чем в осеннем лесу, и «за усопшего» батюшке приходилось давать меньше «зелени», чем росло их на весенних, летних деревьях.

Стюардесса коснулась устами чела Тараса, и её проняло током. Тайна двух тоже имеет свой ток.

Девушке хотелось спрятаться от всего, даже от Бога. Горе действительно возвращает человека к логически-магическому единству первобытного племени.

– Ничто не умирает. Все просто изменяется, – утешал стюардессу охотник-философ.

А местный поп:

– Да, не верит, не верит человек, а скрутит горе – и клиент созрел, сразу нашим становится!

Как Эоловы внуки, роились думы тех, кто уже успел полюбить нездешнего странного охотника.

Тараса Криштальского мудрено закопали в землю. Тризной над ним было эсхатологическое время.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЛОА

– Малый, ты совсем обнаглел! – улыбнулось поцарапанное последними рождениями сверхновых звезд Пространство. – Бросай свои компьютерные игры-фигли, пора заниматься делом: выращиванием и поиском алмазов для продолжения Сущего. Последние наши надежды-зародыши не оправдались. Одних соблазнил антилоа-деньги, других антилоа-слава. А лепить алмаз из дерьма – неблагодарное дело. Среднестатистическое лицо... Сумма среднестатистических лиц даст большую среднестатистическую личность, на которой много мяса, но мало Духа.

– А как там 24-X-315? – оторвался от своего Вселенского Компьютера Мальчик-Время.

– А я не хочу знать. Он уже принадлежит Старику, а не нам. Лоа старается таких к себе забрать побыстрее. Мы должны хранить естественный нейтралитет.

– Так что, умываем руки и выбираем другую жертву?

– Если охотники мы...

– А кто же мы? – Мальчик-Время потер ручонками.

– Кто мы? К сожалению, переменные, как и все. В черных дырах мы, Время и Пространство, меняемся местами. И когда технически умные существа придумают, вернее, сделают наконец фотонные двигатели и полетят, полетят... то, попав в черную дырку...

– Мгновенно об-ал-ма-зят-ся?

– Возможно...

– Как интересно! Давай скорее помогать умным существам покорить Космос?

– Меня? – спросило Пространство.

– Почему только Тебя? – перебило его Время.

Они с Пространством засмеялись свободным смехом.

Они не боялись ни бедности, ни смерти, ни болезни, ни безверия, или преследования за веру. Они были свободными. Имели цель, здоровье, относительно красивую наружность, одежду... Как-то так. И все это – не вина и не заслуга.

– Ну что же, будем искать новые алмазы и выращивать их. Делать гадости, – сказала Пространство.

– Мы – убийцы и врачи.

– Мы – вечные и временные.

– Ми – лентяи и мужи.

– Которые знают как идти в Ничто.

– Нам служат лишь рабы...

– А помогает черт... – размахивало руками в такт рифмам Время.

– Сам придумал? – муркнуло Пространство, привычным движением поутю-

жив лысеющую голову.

– Экспромт. Да...

– А почему нет строчек о Судьбе? о Случае?

– Просто еще нет. Не успел.

– Они нам не слуги, как понимаешь...

– Да и мы не слуги.

– Никто никому не служит, если сам не хочет. Кто-то на кого-то молится, кто-то кому-то подражает.

– У Судьбы и Случая своя жизнь-бытие. Они наши коллеги. Правда же?

– Конечно. Ну, давай, запускай Программу.

Время, как летучий пианист, коснулось пальчиками клавиш. С экрана повеяло запахом ночного амбара, в котором хранится зерно, отруби, старая сбруя. Зашуршали крысы. Их было так много, что бедный старый хозяин, казалось, всю жизнь свою боролся с ними и побороть не мог. В последнее время у него развился склероз. Он брал топор, шел в лес – запасать дрова, хотя дровами был завален целый двор.

– Слушай, Время, он явно неадекватно воспринимает тебя.

– Это кем же у него двор завален? Мной? Разве я сосна, ель, осина?

– Нет, обычно, все это – я: море, звезды, ветер!.. Хоть и говорят: «ветер времени»... Лишь я отвечаю за это!..

– Давай не будем делить полномочия серьезно. Разве что воспринимать это как игру.

– А ты что, разве Бытие не как Большую Игру воспринимаешь? Может, хватит нам сидеть за теми Компьютерами, может, выйти и кости размять?

– То есть пойти в черную дыру? Хочешь боли?

– Угу. Что-то такое.

– Но сначала давай досмотрим этот фрагмент.

И они смотрели.

Дед возвращался из леса, молился. Ссорился с бабой, на которой держалось все хозяйство. Поснимал все иконы со стен и спрятал у соседей от бабы: чтоб не «продавала». Так ему казалось. Дед почему-то вдруг очень полюбил большеголового, приземистого кота Бумбу. Кормил только его и не выгонял из дома. «Бумба обнаглел», говорила баба. На крыс не реагировал. На бабу тоже. Чувствовал опекунство. Щеки его все больше надувались, носик смягчал.

Время случайно нажал еще одну клавишу. На экране появился Тарас Кришталевский, закопанный в землю.

– О, смотри! – вскрикнуло Время. – Родственник деда.

– Все люди, все живые существа – родственники, свояки, – скептически молвило Пространство.

В МОГИЛЕ

– Опля! – простонал Кришталевский, до тошноты привычно протирая слепшиеся глазки. – Какой-то «бред сумасшедшего». Такое причудилось, будто мяса с грибами накушался и молоком запил. – Чего же так душно? Твою...

Попробовал потянуться – головой ударился о твердое, перекатиться вправо-влево – берега. Сонливость сняло, как серпом по... нервах. Тело, как вечернюю землю, укрыла солоноватая роса, то ли водка, честная, а значит – святая.

«И что же меня так мучает? – подумал Тарас. – Наверно, совесть. А чего бы ей мучить, если она была чистой?» Чтоб совесть была чистой, нужно было меньше ею пользоваться... Пробовал смеяться, но смеяться болело. Заеды души.

Считал, сколько имел женщин... Не владел пока еще собой... силой духа бездеятельности.

Дернулся еще раз. Почувствовал себя, как в трубе, или в лоне – будто вот-вот должен родиться. Родиться из лона... Земли.

«Я в гробу!» – аж захлебнулся мыслию Криштальский – и не вскрикнул, а будто уже умер, отключился.

Смешная ситуация была в том, что даже самоубиться он не мог, чтоб долго не мучиться.

Время остановилось, а мысли засеменяли со скоростью, превышающей скорость фотонов, со скоростью мысли, самостоятельно, каламбурно, калейдоскопически. Как сновидение.

Душно души, не только телу. Было душно душе.

С молниеносной скоростью мозг прокрутил самое существенное в жизни Тараса: земное, липкое, словно яблоневого цвета, тепло материнского тела, первая обида на мир, ощущение глубокого, холодного одиночества, образ белокурой кареглазой девушки, почти девочки, бабушка в гробу, луга, лесная солнечная опушка с легеньким ветром, от которого легенькие, аж воздушные цветы кланяются деревьям.

Вспышки... опять вспышки – назад, ретроспектива: колыбель, аистово крыло, дно какой-то большой воды – как туман. Вспоминается не самое счастливое, не самое болезненное, а так как-то бессистемно. Будто человек привык уже к счастью, к горю, к привычке, но еще пригоден для полета, хотя с большим разбегом, а то и лишь на сам разбег. Это неважно. Лишь бы стремилась душа.

«Главное – меньше дышать, – клюнула мысль, – кричать нет смысла, но периодически – можно»... Крикнул «Спасайте!» Представил лицо человека, который шел мимо его могилы. Улыбнулся самим сердцем.

Вспомнился Гоголь, которого якобы нашли в гробу перевернутым, разные газетные «желтые» историйки-истерийки. Зачем-то подумал о людях, которых уважал, которых, казалось, чувствовал, от которых чему-то учился: опять дед, баба, учитель Евгений Кириллович, учительница... Шелли, японец Такубоку, Сервантес, Блок, Франко, Булгаков, Есенин, Леся Украинка, Ницше, Хемингуэй, Гюго, Стус, Гете, Меркури, Байрон, Бетховен, Шевченко... их духи звали за собой, к себе. Казалось, счастьем становился сам страх. Поток сознания, экзистенции клубился в черепе и спускал наземь мокрые косы... Инстанции личности – Я, Над-Я, Оно – в этом Ожидании слились в одну и ожидали черноты трансформации.

Кони в масках, мотыльковые красавицы, несусветные кажаны из параллельных миров, запахи, цвета, звуки – и не «тратьте, куме, силы, спускайтесь на

дно».

Температурное состояние то пронимало естество Тараса совсем, то отпускало, словно коня к водопою, и тогда он опять начинал считать женщин, девушек, которых «имел». Набралось, будто яблок.

Представил себя ребенком в лоне Матери-Земли. Пуповиной были эти фрагментарные воспоминания. Жаль, что родиться можно было заново лишь душой. Если такая субстанция вообще есть. Потому что даже сейчас вера боролась с иронией, сарказмом, цинизмом, Большой Пустотой.

Обмануть себя даже в этой живой могиле было не легче.

Крикнул еще раз. Все показалось простым-простым и родным: одноглазый пес на улице города, курка на яйцах, золотые листья, что летят вверх, вода, что течет вниз.

Захотелось молитвенно рыдать.

Шептал в глубь себя, что знал: «А все-таки я имел мало женщин: либо они были слишком красивыми (это не их вина), либо слишком никакими. И это святое. А я был ленив. А зря. Я боялся. А страх – это грех». Поймал себя на мысли: «Я уже привык к такой жизни». Естественно улыбнулся.

Ощутимым становился недостаток воздуха.

Представил себя скелетом. Над собой – осину. Почему-то осину именно, трепетную, чувствительную, последнюю, юную, старушку.

Потянуло плакать. Свое дело делало то, что, наверно, называют совестью. Безумно жаль стало детей, по-волчьи – от росы до зари.

«Когда же я рожусь? Сколько еще? Время идет совсем не так, как мы о нем думаем, – будто поменявшись местами с пространством в черных дырах нашего сознания», – Криштальский повернулся лицом к ядру планеты.

Ему даже показалось, что над ним закаркали вороны. Именно вороны. Накатывалась большая очистка земель. И даже вопрос «почему меня закопали?» появился только теперь. Вспомнил, что шел с ружьем, что съел, налитую летом, сякую-такую звездную ягоду. Что-то шархнуло – и почти сладко поплыло, холера ясная...

Все до неприличия прояснилось. Никакой мистики. Но Главное спряталось от человека, еще тогда... ну и черт бы его побрал!

Закричал протяжно и светло: «Я жи-во-ой!»

Опять поплыли фрагменты – словно на экране компьютера: крестьяне носят зерно в амбар, лес, грибной запах, молочные нити второго бабьего лета, муркотливый кот Бумба «чешет лапкой живот», разлитое старое вино в давным-давно покинутом кем-то крайнем доме села, пустота – и весенний луг. Еще не было осени, а уже хочется весны. И мелет, мелет, мелет муку мельница человеческой души! Проклятое страдание, проклятое старение любимых! Какая-то пронзительная ностальгия за ностальгией, в борьбе – за покоем, в покое – за борьбой. И – все по кругу, по кругу, по кругу. Даже мудрая Земля и та – вокруг Солнца.

Мысли, как беспутные, но родные дети, роились и нигде не фиксировались.

Никому не были нужны, не материализовались.

Салоны, белые перчатки, нездешняя музыка, заморские вина, честные и простые, как самогон, отношения между людьми, зверями, молекулами, зорями. Стонут чайки, плачут сельские деды и старые академики.

Легли на душу казаки с трубками, за дубовыми столами. Захотелось закурить. Как последнее желание перед чертой вечности. Как ни странно, но в кармане оказалась зажигалка, пластмассовая, фиолетовая, и пачка американских сигарет. Сама мысль о курении в гробу показалась смешной. Но... Вот если бы еще двести грамм врезать! Все равно же один раз... Люди умирают от болезней, от земных и небесных катаклизмов, от зверей, а больше всего – уничтожают друг друга... Болезни – от микромира, все другое – от макромира.

Страх охватывал гексаметром – в такт морского прибоя. Как ни странно, но дышать было чем. Не известно лишь – хорошо это, плохо ли. Лучше погаснуть от голода, или от духоты?

И опять, как чернобровая вода, вспыхивали мысли-воспоминания, мысли-фантазии, мысли-анализы-впечатления. Цвета, звуки, запахи. Сладкие боли и болезненные приятности. Сенокос, одноклассники – Яша, Костя, Миля, Богдан... Некоторых уже не было... Витя Моргаенко утонул. Леська имеет двенадцать детей.

Вырезался, словно из месячного скрипучего и тугого луча, образ Русланы. Это был праздник. Помогало, словно подорожник. Целовал землю. Еле-еле. Словно половинка нашла именно свою половинку.

Слышно, словно будильник, медленно спешило сердце.

Тарас Криштальский опять дико закричал.

Сверху (или, может, снизу?) зарыдали журавли. Земные-земные, небесные-небесные.

В горло вполз древний запах то ли ежевичной крови, то ли днепровской воды.

Сверху что-то засмеялось.

По отсырелых венам Криштальского прошел ток.

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

Случайная судьба, судьбоносный случай – как псевдонимы Бога. Так может быть. У Судьбы и Случая не может быть детей. Как у железа. Даже слов им не нужно. Жесты, мимика. Любовь-ненависть – неприсутственные категории. Натуралистические, психологически-философские. Деструкции без конструкции нет – и наоборот.

Случай любил Судьбу. Тонко чувствовал взаимность. Они то расставались, то опять встречались, пили вино под романтическим названием «Молоко любимой женщины»... коко хановой инки... Но дальше дело не заходило.

За всей логикой построения атома-вселенной детей они иметь не имели права? Кто будут эти дети?.. Ангелы? Бесы? Божки? Возможно, все духи и являются «внебрачными», внебогозаконными детьми Случая и Судьбы, Времени и Про-

странства, или же духи – результат скрещивания Случая, Судьбы, Времени, Пространства со смертными: высокими и ничемными, разными?

Никто этого не знает. Все живут. Прекрасно и грустно. Выращивают Время, а оно – личности.

Личности (алмазы) не «боятся быть справедливыми; они философы, которые не колеблются быть добрыми; поэты, которые желают быть гуманными». Так считал Оливье Перрен.

– «Ох ты ж, судьба, судьба, что же ты наделала?» – так, кажется, поется в известной песне, – сказал Случай.

– Ты здесь утром не очень пой, дело делать пора, – как среднестатистическая банальная жена, крикнула Судьба.

– Что, опять шарф на колесо мотнуть для Дункан? Сошенко к Шевченко в Летний сад отправить?

– Принцесса Диана? Мать Тереза?.. Потому что, видишь-ли, ты так решила! А не пошла бы ты, баба?!.

Судьба улыбнулась, как женщина. Такое было не первый раз – капризы... Борьба. Как закон.

– Я даю тебе полную свободу, парниша, – полусонно ответила она, артистически. – Я без тебя обойдусь, но каждый твой поступок автоматически решает мои проблемы, хоть и путает иногда карты. Давно живу по принципу: нет худа без добра.

– Ага. С вами хорошо, а без вас еще...

– Хуже... – засмеялась золотая, как струйка меда, девушка.

«Сладкая парочка» расшалилась. Оба делали вид оскорбленного. Но милые ссорятся...

Им было грустно – то ли от осени на земле их героев, то ли просто так задумано. Чашу нужно выпивать до дна, чтобы она не бездонной оказалась.

И не помнили даже: направили пулю в Лермонтова, или просто не вмешивались в его судьбу.

С экрана вопили канонизованные всеми церквами, сектами, учителями, жрецами, святыне: молодые одержимые женщины, туманобородые старцы, бляди и философы, стервы и настоящие монашки. Разнообразие бытия во всех его проявлениях поражало и успокаивало. «Я знаю все, но не понимаю ничего», – вздыхали те, кто думал над жизнью, выпивая вино из собственных черепов.

Не понимали мира и Судьба со Случаем, Время и Пространство тоже – не до конца. Основные законы диалектики были не клеткой-схемой для истины-птицы, а зернышком в ее легеньком желудочке.

И крутилась Мельница. Кто в ней ветер, кто камень, кто зернышко, кто мука – решать каждому самому. Да и что там философствовать всуе, ведь даже Артуру Шопенгауэру «его философия ничего не дала, зато многое забрала». А относительно психологии, то все, говорят, очень просто: чтоб раскрыть человека,

нужно его полюбить. И не стремиться к вечной жизни, а постараться исчерпать то, что возможно, из жизни этой. Эти, приписанные Пиндору, слова действительно не самые мудрые ли со сферы глобальных духовных завещаний. А все другое – и верующие марксисты, и палачи – инквизиционеры-церковники, и Спартак, который хотел забрать власть у патрициев, а передать плебсу, и вороны, которые летят ключом, – лишь константы, о которых интересно знать, которые учат, чтобы в повторе не было нудно...

– Ты совсем не думаешь о наших детях! – Переборов себя, неожиданно сказал Случай. – О наших духовных чадах – гениях.

– Хорошо, что о них беспокоились всегда (как о внуках) деда – Пространство и Время, – банально закрыла за собой двери Судьба.

– Вот курва! – бросило ей Время вдогонку. – Хочется творить мифологию? Духов наплодить разных болотных? Да? С разной нечистью связаться? Дождешься обновления! Время уже опять мальчик. Скоро и тебя Творец девочкой сделает. Не срывайся! Не зарывайся.

Блаженный шторм между Случаем и Судьбой действительно повлиял на жизнь существ, круто изменив, а то и перечеркнув их корявые, а кое-где и глубоко художественные биографии.

Судьба умела прятать страсть за неприступностью, грех за блаженностью, боль за улыбкой.

Космическая ночь между Судьбой и Случаем длилась столько, как давно уже было задумано Программистом – Творцом. Наконец они опять горько взгрустнули друг за другом. Опять вспоминалось наиболее нестерпимое – нежные прикосновения, искорки взглядов, красное пенное вино в тонких и высоких бокалах, «несказанное, синее, нежное».

Чисто, празднично, обжигающе-нестерпимо, грешно хотелось встретиться с тем, кто так реально, по-настоящему казался твоей половинкой, самим тобой, Вселенной, всем – соленым, горьким, медовым, смертным и героическим.

Случай осмелился позвонить по телефону.

– Ты что, любишь врагов своих? – кокетливо, почти иронически, ответила Судьба.

– А ты мне не враг... – даже не подумав, отжег Случай.

– Так ты не любишь меня?! Так я никто?..

– Люблю, – аж крикнул он, и почувствовал, как долго складывалось это слово из букв в глубинах его гармоний-дисгармоний, конструкций-деструкций. Стало легче. – Ты мой враг, враг, враг! Если хочешь...

– А, так ты хочешь власти надо мной?!

– Над собой хочу...

– Так я же твоя половинка...

Случаю становилось хорошо, вот-вот, казалось бы, должно было затошнить, потому что телесная оболочка не способна выдерживать такую перегрузку сча-

сьем.

– Все хотят власти, – продолжала Судьба. – Кому ее недостаточно – тот кричит в Космос, ища отголоска.

– Любовь – это также власть?

– Подсознательное ее желание.

– Что-то ты очень умная.

– Мозг костей не ломит.

– Какими бы умными мы не были, а от Бога не спрячемся.

– А он от нас?

– Особенно от женщин... Зачем-то «главным» богам умные существа научились давать мужские имена: Перун, Аллах... сын Божий Христос.

– Это, может, для того, чтобы их женщины больше любили. Как они к Христу прикладываются, ты не замечал?! Как они его вылизывают! – артистически импровизировала девушка.

– Что-то, наверное, в этом есть. В церкви действительно больше женщин, чем мужчин. Особенно много женщин, тех, что уже готовится туда, за предел...

Судьба со Случаем встретились взглядами. Он несмело взял ее за пальчик. Золотой октябрь Земли был их. Фиолетово вечерело. Они опять были едины. Заговорили об общем деле.

МОГИЛА

– Ну, ну, давай, Каленик, копай. Здесь. Эта проклятая сибирская земля не то, что ток, душу из человека вытянет, спинной мозг высосет, – говорил дядя Михаил своему старшему коллеге – такому же, как и он, гробокопателю.

– А канечно. Сыро, – сдержанно ответил тот. Чтобы он только в лотерейный сон не упал.

– Летаргийный...

– Ага. А что душа его к делу, к телу вернется, то сомнений нет. Он же крепкий мужик.

Криштальскому совсем отобрало вспотевшую мечтательность. Он опять закричал. Громче, громче... не совсем веря, что его слышит кто-то, кроме того, в кого он так страшно поверил со страха.

Гробокопатели действительно ничего не слышали, эмоционально занятые собой.

– Слушай, старик, а, может, его еще рано отрывать? – горько-насмешливо выронил Каленик.

– Может. Сбегаю за бутылкой. Без сто грамм здесь не разберешься. Это называется: «либо крестик в бане сними, либо трусы надень».

– Ну идем вместе.

Криштальский услышал тоненькое звяканье над собой: кто-то из шекспировских героев отрясал из лопаты землю о камень или железо. И все утихло.

Неоплаканная, большая Пустота опять налегла на Тараса. Стало еще ужаснее. Как всегда после убитой надежды.

Впервые почувствовал, что не хватает кислорода.

Ожидание чуда длилось.

Человечная ненависть то ли к своей судьбе, то ли к случаю, а в конечном итоге, к себе, ударила в грудь.

«В мире каждое движение, сдвиг, мистический жест – либо конструктивный, либо деструктивный. Нейтральности, покоя, действительно нет, – практически подтверждал пассаж зарытый в Сибири охотник, – или развиваешься, растешь, или же деградируешь. Часовая протяженность мертвой точки – насколько она долгая при разных общественно-сердечных температурах?»

Упорядоченность мысли терялась все чаще, чаще. Кардиограмма Тараса напоминала бы, наверное, сельский плот после свадьбы у его радушного хозяина, а уставшее тело – искренние сельские подушки.

Он философски, по-йоговски настраивался распасться до молекул. Вспомнились пронзительные слова песни: «Вы первый миг конца понять мне не позволите».

Каленик с другом встретили поэтессу, маму которой недавно закапывали навсегда, и она надорвано, аккуратно взялась разливать им в стаканы свое горе. Водка была с перцем, доброй, силы отказаться хватило бы разве что у большого атеиста. Вмазали они душевно.

Кажется, так, по-земному, пить могут лишь настоящие попы, поэты, глубокие гробокопатели – дремуче, талантливо, без тостов словесных. Только они могут жалеть львов в клетках, не обижать людей и не убивать мух, потому что это также – Вселенные, потому что их не сделаешь, вернее не создашь, а уничтожить так просто...

Золотая осень, золотое Солнце, золотое блаженство окутало их естества, пригласило к почти божественному равновесию куколки в коконе, которая уже не гусеница, но еще не бабочка, ей хорошо и так. И не знает она, возможно, будущего своего. И не знают ближние, и не понимают, что она начинает клевать еще инфантильными, но уже перспективными крыльцами ее. «Самодурство, черт знает что!» – хрипло шепчет мещанское кодро. И не вина, и не заслуга бабочки в том, что она покинула уютный кокон.

– Старик, – икнул Каленик, – ты не забыл, что мы должны?..

«Старик» кивнул, обхватил голову руками, как глобус. Указательные пальцы двух рук угодили на «Италию» и «Японию».

Идти они уже физически не могли. Хотя мысль диффузировала. Куда там фотонам.

Криштальский почти все это имел в гробу. Он представил себе, кто и как будет плакать по нему. «Пусть меньше – но искреннее». Вместе с отчаянием пришла вера в высшую справедливость: истинно так, как есть...

Почувствовал, что тело и Он-Я, начинают быть отдельно. Сердце и мозг, например, упрямо перебирают свято-грешный, грошевый праздник, фиксируя на выводе: «я подсознательно издевался над девками, доводя их до желания, и оставял в момент фиксации готовности к процессу слияния плюса и минуса, мужского и женского начал...». Желания выразительно, мертво делились на простые и сложные: есть, спать, любить... С другой стороны – слава, богатство, власть... «похвала от людей», которые «лишают нас похвалы от Господа».

Тело же, физическое начало, брало свое. Энергия его, наверно, имела другую природу. Оно сжималось, как черная дырка, чтобы расправиться в последнем отчаянном призыве – с кокона в гусеницу или в бабочку.

И не вина, и не заслуга...

Еще не рефлексивные конвульсии, уже не поступок.

Тарас Криштальский ломанулся, что было мочи расправил каждую соленую линию мышц и – встал на колени. Этот подъем дало ему надежды больше, чем там, на земле, дали бы крылья... Закричал, как зверь. Еще раз, еще раз и еще раз напрягся. Зеницы сузились. В них заплакало пожованное землей, что была на лице, Солнце... Нет, это Луна. Это полная Луна.

Криштальский стоял на земле.

Яма оказалась совсем не глубокой!

Страх свободы опять дал понять ему, что он Есть. Но это была уже иная свобода. Здешняя, понятная. А не та, с другого мира, к которой он так философски-психологически привыкал – и не мог, и вырывался к другой, словно к маме. Так две руки при рукопожатии – противостоят и обнимаются одновременно.

«А бляха-муха...» – только и вымолвил Тарас, истинно, истинно почувствовав слабость Слова, невзирая на то, сначала оно было или напоследок.

Вспомнил, что, по выводам американских ученых, когда Луна у нас над головой, то все вещи становятся легче на какой-то там грамм. «И то уже хорошо, – подумал. – Все достоинства – результат борьбы со страхом перед неизвестностью».

Деланно засмеялся. Не улынулся, а именно засмеялся. Деланность переросла в искренность, как материальное (физическое движение губ) порождает движение души. Только – не наоборот. «Мы собираем не свои камни, разбрасываем не свои плоды», – вспомнилась сентенция из собственного стихотворения.

Ухватившись за крест, как пьяный за друга, Тарас напоминал гоголевско-булгаковский персонаж.

Гробокопателей забрала милиция, которая именно в это время помогала службе безопасности государства «брат» какую-то международную наркомафию, вожаки которой где-то здесь, недалеко, имели пикничок.

Самонадеянные, смокингованные кагебисты значимо делали иронические физии, будто боясь случая, пренебрегая судьбой.

А поскольку Каленик уцепился одному из них в грудь, отбивая «девушку», –

как потом оказалось, свою сестру, то, замаскированный почти под поэта, агент сделал жест милицейским. И в тени его, того жеста, что становился мистическим, исчезли гробокопатели, рьяно отрезвев, они пантомимовали фатальность их ситуации.

Поскольку отрезвление после резиновых палок приходит неестественно быстро, то не без интереса профессиональный майор с двумя сержантами повел их к месту, которое вполне случайно было возле кладбища, чтоб откопать «мужика».

Восприняв такую информацию за пьяное откровение головорезов (что в трезвого на уме...), спецслужбам опять же профессионально щекотало честолубие.

Майор дал Калениковому другу пинка, на что сам Каленик отреагировал: «Чё те нада?»

– Чё те нада? Он же безгрешен!

– Ха-ха-ху, – засмеялся майор. – Безгрешные лишь святые, а у вас «гроши» найдутся, когда «вышка» улыбнется. Не у вас, так в родных ваших.

– А про кокон, гусеницу плюс бабочку – это ты хорошо, – сказал один из сержантов. – Действительно, приходит время, когда мы должны либо увеличивать кокон, либо подрезать крылья, либо – свобода, за которую нужно платить страхом лишиться жизни.

– Угу. За пространство рассчитываются временем, – вздрогнул гробокопатель со шрамом и мимолетной на нем пьяной слезинкой, который шел за Калеником.

– Давай, давай, убоище! – пинал младшего майор. – Добровольное признание... Показывай, где, так сказать... собака зарыта.

– Па-ни-ма-е-те – он должен быть жив. Его, это, током... трахнуло, – словами-жестами пробовал изобразить ситуацию Каленик.

– Ага... На электрическом стуле... – иронизировал второй сержант.

Чем ближе подходили они к месту закапывания Тараса Криштальского, тем быстрее и жестче стучали сердца гробокопателей. Словно действительно шли на место преступления, а не к своей святой работе.

Горизонтом ухватило за горло потайное: они могли «пропить» пробуждение Криштальского – и он задохнулся...

Вот кресты видно, седую каплицу. Напротив третьего ряда.

ДНЕВНИК ЛОА

«Пока молчишь – кажешься философом. Это правда. Молчишь – не значит говоришь. До-вавилонски или после. Молчишь – значит спишь без храпа. Говоришь – значит действуешь, убиваешь. Истина – адекватность мышления бытию. Нужно соединить логический плюс магического полюса бытия. Для этого нужна мыслящая, творческая материя – хотя и не «трогайте музыку руками» и «только звук способен отделяться от тел». Энергия, Дух, юноокий старец... Кем только не представляют меня мыслящие существа, белковые существа, а я... любовь,

родина, водка, одно слово, обман, обман, обман, наркотик. Кто Есть, тот обманывает – себя, либо кого-то, либо что-то – только не смерть, только не сперматозоида. Он, сперматозоид, хитрый и нахальный, как Я, как Лоа. Упрямый. Сильный. Но без яйцеклетки – он никто, хоть в сперме и много золота. Все актеры. Все играют. Душевно больные притворяются душевно здоровыми – и наоборот. Как бы то ни было... чтобы раскрыть творение, нужно его полюбить. Ох, не переведут меня даже самые мудрые из существ на свой язык. Не поймут самые гениальные, хоть подсознательно и чувствуют. Пусть будет теперь так, как есть. Потому что даже Пространство и Время, Случай и Судьба не понимают меня до конца – как часть не понимает целого».

Приблизительно так переводил компьютер ассоциации Лоа, знаки, символы, Образы. Заранее договоренный обман, ритуал. А Творец – Правда.

Слишком очеловеченными выходили переводы. Читать их – все равно, что смотреть, как растет трава, или разговаривать с техникой. «Хошь-не-хошь», а временами думаешь: «Если «поэзия должна быть глуповатой» (Пушкин), то какое блаженство быть преднамеренно глуповатым и верующим, простым – и прозрачным! Кому-то – блаженство покоя, а кому-то блаженство Движения.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР

Время и Пространство чувствовали себя в черной дыре сознания, где, как известно, они менялись местами: время двигалось по кругу, а пространство – прямо. Одинокий, словно пуля, которая еще в полете. Времени поднадоело быть мальчиком и оно приняло подобие благородного седого философа. Так было естественно, а потому комфортно, переживально, ведь, наверное, Время и Пространство тоже имеют свои судьбы. От случая зависят. «Хошь-не-хошь», а приходится любить этих умных, любящих диктаторов. Всем. Даже Смерти яко материализованному воображению. По крайней мере, в пространстве она перемещается, чтоб творить дело свое: освобождать время для пространства, для Бытия. Так как все и везде одновременно быть не может.

И время, и Пространство не были для себя, а потому в мгновенные приступы отчаяния автоматически опускали руки на компьютерные клавиши: искать картинку, искать судьбу, искать и отмывать алмаз, помогать шлифовать его.

– Смотри, старый, как классно считывается язык трав, звезд, травы и монастырской воды из мозга вон этого чудака, – назовем его 24-У-315, – оживилось Пространство.

– О, музыкальный, душевный кадр! Вижу, это мутация гена 24-Х-315 под воздействием радиации и цивилизации. Даже боги, чтоб воскреснуть, должны сначала умереть... И что же там?... – по-деловому наклонился над коллегой округлое Время.

24-У-315 – это мутационный 24-Х-315! Интересно. Вот кот Бумба разговаривает с березой, в которую загнал топор какой-то дядя Филипп. Береза плачет

молча и обо всем. Кот хранит естественный нейтралитет. Он думает о еде. Вот вынюхал, выслушал мышонка. Съел. Второго, третьего. Выбежала из-под старого пенька мама-мышь и ринулась просто на кота – отвлечь внимание. Сынок-мышка спрятался в золотые листья. Крупная, настоящая мама спасала своего малого кретина как могла, осложнив свою жизнь до грани, за которой Нечто.

– Ты видишь, – сказала Пространство. – А все-таки она счастлива. Была. Ведь она стала мамой... Недавно подумалось, что самое большое несчастье для существа – хотеть и не иметь детей. Какая пустота! Никакие вина, никакие неба и сексуальные фантазии не стирают ее, не гасят, набивая оскомину, в лучшем случае. И боятся этой пустоты, как боятся нежности солдаты...

– О, а мышь съел кот-узурпатор.

– Почему узурпатор?

– А рифма подходящая: солдаты – узурпатор.

– А почему 24-У-315 не вытянул топор из дерева? Ему же болит береза? – спросило Пространство.

– А тогда кровь еще больше потечет. Парадокс, но...

– О родине плачут журавли. Этот язык всего живого уже и не язык, а гул сладкой, полетной боли. Крик совести, соединенной с инстинктом.

– Люди расшифровывали язык животных, зверей, растений, птиц уже давно-давно, еще в пещерах, засыпая под мясистую музыку аж фиолетового огня. Фантазировали – и попадали на правду, которой сами не видели, о чем не знали.

– Ведь правда одна, и в то же время – у каждого своя.

– Ага. Правда abortированного плода, его мамы, его отца, Лоа...

– Справедливость закона сохранения энергии все равно торжествует: совесть-ливую работу прорабатывают души... в первую очередь матери, потому что плод еще никому ничего не сделал. Забрал, правда, немного энергии, здоровья у мамы своей.

* * *

В мире умирали-взрывались и рождались-взрывались галактики и атомы. Все пульсировало, стонало, светило, боролось с самим собой и со всем. Где-то росли какие-то небожьи храмы, бродили между душами пьяные проповедники: «пейте вино – кровь мою»... Распадались империи, сгребались новые. Полибожье сменялось монобожьем – и опять становилось поли-, только в другом измерении, масштабе: Перун, Велес, Стрибог, Дажьбог... Христос. Христос, Аллах, Будда...? Наверное, коммуницированное, объединенное человечество придумает или вылепит себе Одного из них. А затем (по логике) встретит умных братьев из других миров, с другими, своими, богами. И опять будет поли-. И так – без предела. Если безгранично Пространство. Если безгранично Время. Если они конкретны. Если над ними не властны Судьба, Случай, Все, Всё.

Человечество становится богом (злым демоном?) для своих меньших братьев-

ев. Какие-то развитые более умные существа – для него. И – в конечном итоге – мы ни-че-го не по-ни-ма-е-м.

Мы можем лишь представлять, что не стареем, что есть параллельные миры, что души бессмертны. Богоискательство. Самородство. Юродство. Банкротство христианства.

Одни больше доверяют судьбе, другие – случаю. Еще другие – пространству, времени. А тяжелее всего стать умным, мудрым пофигистом... Потому что «я часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно творит благо» – (слова самого Мефистофеля). И В ЭТОМ ОПТИМИЗМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

– Если брать глубоко, то в конце концов скучно становится... людям, – зевнуло Время.

Кому-то было слышно, как оно, Время, течет песком в стеклянных часах.

– Так вот, давай конкретнее. Вернемся к нашим баранам, – как всегда сдержанно, тонко улыбнулось Пространство.

– Предлагаешь слушать разговор молекул?

– В дерьме искать... вернее, из дерьма лепить алмазы.

Учиться у людей, во всем. Что-то давать всему. Вот, например, большие писатели, их высказывания о творцах: «Цель художника не в том, чтоб беспрекословно решить проблему, а в том, чтобы принудить любить жизнь в бесконечных ее проявлениях» (Л.Толстой). Художник – это несчастный человек, в чьем сердце скрыты глубокие муки, но уста имеют такое строение, что когда стон вырывается из них, он превращается в прекрасную музыку (С. Кьеркегор). Творчество значительных художников – это всегда прекрасный сад с цветами и сорняком, а не красивый парк с ухоженными дорожками (О.Блок). Злоба и страстность. Эти качества я считаю теми достоинствами писателя, которые принуждают его писать серьезно (Г.Гейне)».

Время пересело за свой компьютер:

– Вот таблица «Распределение гениальности в пространстве и времени на планете Солнечной Системы Земля». Такие данные выдал компьютер.

На экране светилось: «На 250 лиц рождается один потенциальный гений (то есть четыре тысячи на один миллион). Другая версия: шесть гениев на один миллион. Гении во времени распределяются таким образом: до нашей эры – 65 лиц, наша эра: I век – 13, II – 8, III – 8, IV – 10, V – 4, VI – 4, VIII-X – 4, XI – 3, XII – 9, XIII – 13, XIV – 22, XV – 66, XVI – 113, XVII – 106, XVIII – 258, XIX – 290. И опять высказывания: «Гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или обезуметь» (Ю. Лермонтов); «Гении нередко инфантильные, беспутные и несчастные люди»...

Что же касается вековых периодов повышения и снижения производительности гениев, то компьютер выдавал такое: «Возраст от 20 до 30 лет – бронзовая декада, от 30 до 40 – золотая, от 40 до 50 – серебряная, от 50 до 60 – железная, от 60 до 70 – оловянная, после 70 – деревянная. Абсолютная кульминация прихо-

дится на 35-40-летний возраст. Средний возраст гениев – 65,3 года. Дольше всего живут среди гениев ученые-историки, юристы, философы, церковные деятели, государственные деятели. Менее всего – драматурги, актеры, композиторы и поэты.

Гении всегда стремятся Быть, им свойственна реверсивность мышления: транспонировать цепочку доказательств в обратном порядке, с малой инерционностью. Им присущ лаконизм мышления, четкость и определенность, умение находить нестандартные решения, а вместе с этим – нечеткость определений и мыслей, способность переходить от конкретной ситуации к «свернутой» формуле и символическому ее изображению, быстро мыслить, не подавляя подсознательный (инсайтный) способ решения».

– Это все теория, друг, сухая, а дерево жизни... – выключило компьютер Пространство, потому что к ним забежала Судьба. Блондинка. В джинсовом костюмчике, в красных туфлях на высоких каблуках, в темном, как ночное небо, гольфе. Симпатичная – сдуреть можно. Нежно-гордая, упрямо-покладистая, влекущая и недоступная, она не могла не нравиться. Притягивала и пугала. Чистотой и мнимой греховностью, земной космичностью, космической земельностью.

– Здравствуйте, добрый день, – сдержанно стыдливо поздоровалась она.

– О-о-о! – простонали деда.

– А чем вы здесь...?

– Траву слушаем... – улыбнулся Пространство.

– Мух, – скривился Время. – Все в целом совершенное, бессмертное, а каждый организм – в частности... Достаточно кусочка металла в органическом сердце, чтоб оно остановилось.

– Так вот, так вот, за что и боремся. Создать бессмертное органическое существо, совершенное, как Лоа. Справедливое. Создать Бога нового. Правильнее – помочь ему создаться: чтобы тело его не брали ни огонь, ни вода, ни кислота, ни время, ни пространство, чтоб забавлялось духовное существо с Судьбой и Случаем, как ребенок с истиной, потому что и Она – ребенок: кричит, кричит – а что кричит – никто не понимает. Она не имеет собственности, лишь будущее и себя, – почти медитировало Пространство. – Легче глупому притвориться умным, чем наоборот.

Он устал от прозрачной логичности, лаконичности. Он захотел быть пьяным от себя, от разнообразия, единства плюс борьбы противоположностей мира.

Из каждой твари брать наилучшее, самое живучее... – говорило Время.

– Старый, не мути воду. У нас уже все просто и понятно было, а ты опять все взбалмошиваешь. Стыдно было бы тебе перед девушкой.

– Когда не зайду, вы все философствуете, – зазвенела Судьба.

– Ну, в твои годы мы тоже...! – захлебнулся собственным соком один из «старых пердунов».

– И это тебя не сломило? – допытывался второй.

– Что не сломит меня, то закалит, – сыренизировало Время.
– Давайте просто выпьем вина! – Пространство достало какие-то гранатового цвета, ажурные бокалы.

– За что пьем? – грустно улыбнулась Судьба.

– Ну-у, за сынов... за дочек, – растягивало Пространство.

– Что сделал дочек? – почти вскрикнуло Время.

– За дочек, говорю, за сынов... – речитативно повторило Пространство.

На экране Компьютера падали звезды.

– Старик, а найди-ка село, хлебороба какого-то простого. Чтобы он в теплые края не хотел, чтобы какое-то «Оно» его не манило, – как от пропасти прячась, сказала Судьба. – Устала я суету любить.

Пространство щелкнуло клавишами.

Запели петухи. Последний журавль порвал крылом одинокую нить «бабьего лета», которую, возможно, вязала Мойра.

Пахло сеном и навозом, конским, коровьим, соломенным. Хотелось лететь или пахать землю. Щекотать ее. Иметь. Золото пропащее валялось, красивое, всех, а значит – ничье. Все было объемно-отточено. Тысячелетиями. Тысячами сох. Понятно – и прекрасно. Проклятое совершенство. Тошнота. От боли и пустоты, святости и греховности, трезвости и пьяности. Огненной воды и подводных огней.

Лететь и самосовершенствоваться, или зарываться в землю – и ... опять лететь; или не быть. Верить. Во что-нибудь. Чтобы верить. Любить. Кого-либо. Надеяться. Чтобы...

Телесики и душесики. Все. Мы.

Разделяем и властвуем. Боги – тоже.

Пропахли яблоками и лекарствами. Сладко-соленые. Как кровь. Как именно органическая жизнь. Как стихотворения, записанные после третьей... Как поцелуй любимой. Настоящий. Взаимный. Разрывается сердце.

Судьба умела создать уют.

Два уюта – на экране и в комнате – создавали блаженство, в котором, словно на дне источника, рождалась драма. Так задумано.

Диффузируют молекулы, вселенные-галактики, отдельные их скопления. Все ездят, плодятся, расширяются. Хотят. Стремятся. И хорошо так. И нет конца-края. Эх... Лишь игрой, самообманом может защититься чувствительная субстанция от преждевременного небытия.

Судьба, Пространство и Время закурили. Судьба – неумело, мечтательно. Ничего неделание показалось наибольшим блаженством.

– И все-таки. Где наш-24-У-315? – Нажало клавишу деловой начальник-Время.

Засветилось кладбище. Возле него – старое тюремное захоронение.

Компания перешла к работе: выращивание конкретного алмаза по старым рецептам.

Позвонил по телефону оскорбленный Случай.

24-У-315. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Гробокопатели в сопровождении милиционеров подходили к своим лопатам. Почти трезвые от ветра и стресса.

– Ну что? Где ваш труп, а? – Хитро потирал толстым пальцем в правом уголке губ майор.

Каленик обомлел. Настойчиво-нежная нить бабьего лета прилипла к глазам. Спокойная. Нервная.

– О, о. смотрите! Яма пустая! – глуповато всхлипнул друг Каленика. – Подойдите, посмотрите на место, где он был. Нет его здесь...

Майор с сержантами стояли никакие.

– Земля, роди меня обратно! – Выпорхнул из себя Каленик, который уже прояснел совсем. Глаза сделались большими, как подсолнухи.

Почему-то запахло церковью. Хрипловатый свет дневной Луны завораживал, кокониловал душу в нездешность, соленую, словно кровь, подогретую на все-таки уже седеющем огне.

– Вот вам, тудда-расстуда, и логика! – Прорвало майора. – Родился – жил – умер – ясно. Воскрес – вне логики.

Один из сержантов замолчал, казалось, надолго, другой крестился.

– Между вдохом и выдохом мы свободны, а так... – майор толкнул гробокопателей в спины со словами: – Идите, куда хотите, делайте, что хотите.

Но никто никуда не шел. Все сбивались, тянули время.

Первым встрепенулся друг Каленика:

– Мужики, берем след, или как там его, идем извещать...

– Мир?.. – Улыбнулся майор.

– Апостолы... – показал из-под полы наполовину надпитую бутылку водки Каленик. И вдруг его спитая морда засияла, как майская мальва. – Мужики, а чё вы так спужались то? Все в натуре! Клиент созрел... я же говорил, что его током газануло. Мы закопали, пьяненькие. А он орёл. Отрыл. О! – почтенно закончил гробокопатель. – И пошел себе в тайгу к своей любимой стюардессе, любить на природе... Стюардесса фигурная такая, в штанишках в облипку, ах! Пахнет соной и вечно молодым огнем.

– Да-да-да, – майор.

– Кто-то боялся жить, поэтому не умирал. Кто-то боялся умереть, поэтому не жил. А закопанный мужик явно на «личность» замахнулся, – Каленик.

Все, молчаливый сержант тоже. Потянули с горла – и пошли за Калеником к стюардессе.

– А мне почему-то мертвые запоминаются по носам задраным, если смотреть со стороны ног, – не выдержал напряженной пустоты немолчаливый сержант.

– Мне – по медякам на глазах. Как правило, кладут пятьдесят копеек, вернее, по пятьдесят, – поддержал разговор гробокопатель.

– Ага. Как раз нам по сто грамм. Чем больше задранных носов, тем нам... А, – привычно махнул рукой Каленик.

Группа беззащитно шла. Естественно. Потому что беззащитность сыграть невозможно, ведь она не имеет выключателя, тумблера.

– А покойный, прости Господи, даже следов никаких не оставил. Ну, не то чтоб мочи... ноги никакой, носка, – проснулась профессиональная совесть майора милиции. – А вы, алкоголики!.. – Уже к гробокопателям.

– Лишь у больших людей бывают большие, скажем так, изъяны, – поплескал по плечам Каленикового друга немолчаливый сержант.

С деревьев, как материки, падали листья. Сонно и много. Опять бесцельно метались мысли. Слышен был шум подземных рек, которые, словно поэты, есть, но не всегда нужны, невидимо настоящие.

Они знают язык трав и оленей, которые умеют говорить. Все растения и животные умеют говорить, но не хотят разговаривать с людьми, убийцами, самоедами. Не умеет говорить железо...

– Добро не проходит бесследно. Инициатива карается, – уже бурчал сам себе друг Каленика. – Хотели, как лучше, человека воскресить, а нас в милицию...

– Не ной! Видишь, за что боролись, то и произошло. Клиент воскрес, шо ли? – сказал майор.

Молодая грусть целовалась со старой радостью, и тени улетающих птиц, как замки, плыли по более светлой воде.

Все казалось сном калины. Осень – не смерть, а сон.

– Ты, Каленик, через свое хроническое недержание правды беды не наделай, а то еще скажешь какой-то бабе, глупой гусыне, про воскресенье, так она крышей упадет. А глупость заразная, – смешно мямлил гробокопатель.

– О, это блаженство – быть глуповатым. Верить... – ответил Каленик.

Пьяные простачки тягуче, ветрено-временно, но уверенно перерождались в философов-психологов. Но к адекватности мышления бытию было далеко.

– Я шрамов не боюсь, – прорвало молчаливого сержанта. – Боюсь, когда еще раз по шрамам... боюсь заходить в родной дедовский дом-пустку, а так... нет... кладбища, смерти, воскресенья...

Все замолчали.

Естественное равновесие все равно хранилось. Это если бы заговорил с хозяином какой-то пышномордый кот Бумба, то хозяин бы дар речи потерял...

* * *

Все мужики, наконец, подошли к дому стюардессы. Здесь уже играла музыка. Простая и глубокая, какая-то модерновая, в хорошем понимании, обработка «Как умру, то похороните» или вроде того.

Сибиряки праздновали Воскресенье.

Круто. Тулупно. Широко.

Криштальский ничего не рассказывал сам, лишь отвечал на вопросы, иронически, здорово.

После третьей, обычно, все забыли об имениннике.

Кто-то стрелял из ружья, кто-то обнимал гробокопателей и милиционеров.

Пьяная светлость Воскресенья пронимала каждую человеческую незащищенность.

Лишь блестящий кот Бумба невозмутимо лежал на печи и мурлыкал себе о чем-то. В кринке нежно-снежно цвели японская вишня и суданская мальва.

Осенняя Пасхальность бытия, его органическая оргийность ничего не значила и была мудрой в открытом признании этого.

Слова действительно были не нужны, но и без них было нехорошо.

Куда-то звала томная музыка скрипки.

Старый отец стюардессы фотографировал.

Кто-то позировал.

Охотники знали, как позировать перед ружьями, наведенными на них.

Но никто не знал, как позировать перед вечностью.

* * *

Одни были узниками или любовниками Судьбы; других едва лишь постиг Случай, который, в конечном итоге, изменил их Судьбу. Все были подвластны Пространству и Времени как те, что телесно стареют.

Майор предложил пойти на кладбище – к разрытой могиле, но его или никто не услышал, или просто уже было поздно организовывать стихию, но тризна не состоялась.

Плакали и смеялись. Врали не конкретно, а глобально.

– А ты сильно кричал? – Обнял Криштальского Каленик.

– Знаешь, есть притча про это дело: мужик в лесу кричал-кричал, а тут медведь пришел. Мол, чего кричишь, мужик? – А тот: «Хочу, чтоб меня услышали». – Ну, услышал я тебя. И что, легче тебе стало?..

Каленик горько кивнул: «Сик транзит gloria мунди».

И – пошли танцы. Танцы без слов.

«Важно, куда падаешь лицом, то есть, куда идешь, а не то важно, что не падаешь», – говорил сам себе молчаливый сержант.

СЛУЧАЙ И СУДЬБА

– «Я частица той силы, которая вечно хочет зла и вечно делает благо», – надиктовала я когда-то старому Гете для его «Фауста», – вместо приветствия сказала Судьба Случаю.

Он чмокнул ее в щеку.

– Ты прости, у меня сегодня совсем нет времени: в восемнадцать ноль-ноль у меня бальные танцы, – продолжала она.

– Не удивляйся. На меня нашло. Я теперь Олеся Соколовская. Я в Сингапуре. Там классный оперный театр.

– От оперный театр! – развел руками Случай. – А я хотел тебя... пригласить, графиню Соколовскую... с такой фамилией.

– Слушай, старый, давай по-простому. Разве еще мало на свете разных духов? А ты все стремишься меня сделать женщиной... с ребенком, с плодом.

– Так я же по любви, – игриво, высоко лишался глубины Случай.

– Я сейчас занята, мне очень интересно отбить у одной стюардессы 24-У-315. Воскресший, можно сказать, мужик. Вот я и притворилась девочкой Соколовской. Понял?

Случаю нечего было сказать, кроме как: «Хочешь все начать сначала? Это легко и тяжело».

Судьба услышала и тоже сказала себе: «Хочу вырастить алмаз, прости Господи, собственными руками. Думаю, что Лоа не обидится. Да и спит Он, Оно, Она. Хочу му-зы-ки!.. Музыки, не тронутой руками. А может, и тронутой?!»

СУДЬБА И ТАРАС КРИШТАЛЬСКИЙ

– Как ты меня... испугала!

– Чем?

– Красотой...

Таким был первый монолог второй случайной встречи Тараса Криштальского с Олесей Соколовской. Первая – встреча-знакомство – была на фестивале поэтов, где они тусовались.

Теперь Тарас поцеловал юную леди в щеку, почти в губы. В жилах его, словно рыба в подземных реках, блеснул чешуей небесно-интимный поезд. Олеся была красивой и душевно-духовно возвышенной, тем алмазом, найдя который, забываешь обо всем.

Магия-мистика волос, журавлиный взгляд сердца, дымовая грация молочно-тугого тела... После всего пережитого, по возвращении на порог Европы Тарас почти не боялся жизни. Стюардесса писала ему оскорбительно-крикливые письма, а он не отвечал на них. Только сильные признают свои ошибки, не боятся смеяться в пустоту и делать то, что нравится. Старые вещи такие же магические, как неоткрытые земли, но нужно выбирать.

Тарас с Олесей прошлись городом, выпили соку. Начали было говорить о делах, чтоб заполнить известные паузы, но вокруг танцевала осень. И хорошо было, словно без души.

Криштальский читал свои и не свои стихотворения, Олеся захватывалась их музыкой. Они по-детски хвастались друг другу своими достижениями: в театре ставили пьесу Криштальского, Соколовская танцевала «Лебединое озеро», им

так естественно и нелегко было соединить реальное и художественное, кесарево и...

Оба представляли себя в сене, вместе, оба далеко-далеко обходили намеки, подсознательно полагаясь на Случай.

А он, Случай, ревновал «старушку» – Судьбу, и сам решил «переселиться» в земных существ, чтоб быть рядом со своей Судьбой, потому что Судьба действительно есть и у Пространства, и у Времени. Вместо себя, оставив свой Компьютер, как и Судьба.

Теперь Компьютеры Случая и Судьбы работали вместе, объединенные, а их владельцы роскошно жили на одной из планет, где Лоа выращивал себя – духовные алмазы, которые, как и натуральный алмаз, должны были быть чистыми, правдиво параллельными (адекватными), крепкими, бессмертными – и (невзирая на все это) жи-вы-ми, способными к воспроизведению, то есть рождению себе подобных, как и Лоа.

Жемчужину морские фермеры научились выращивать (она созревает на протяжении шести лет), а Творцовы фермеры – Судьба, Время, Случай, Пространство, Смерть – тоже делали это, празднично, грешно.

Криштальский с Соколовской уже держались за руки – так космическая музыка сливается с морской, так симпатична ошибка мудреца, Колумба, так путь важнее цели, так красивы лягушки и нецелесообразны павлины...

Судьба с Тарасом хитро ожидали Чего-то и забавлялись, забавлялись, забавлялись прохладно-волосяными мячиками из собственных дыханий, которые приближались, мигая.

Люди, в которых вселялись Судьба со Случаем, вздрагивали сразу, чувствовали в себе какую-то перемену, но, как правило, сваливали это на погоду, простоту, вековой рубеж, то есть практически ничего особенного не замечали, спихивая все на случай, судьбу... блеск глаз, ускоренный ритм сердца.

Авантюристка-Судьба обманывала себя, что она любит эту Игру. Главное – не плеснуть много воды в огонь, а капли, глотки лишь будоражат его, потому что он должен с кем-то бороться, потому что он – Мужик, Художник... Есть разница между Художником и Творцом?

Криштальский был готов к встрече с Судьбой уже хотя бы потому, что, разложив гармонию алгеброй, понял, что «ничего не понял», соскучился за гармонией – и отдался ей, уже более сильный и более простой.

Парадоксально безпупые, бездетные боги становились верующими, а не компьютерными, девушки – красивыми, а не стареющими. Он чаще улыбался и принимал все таким, как есть, спокойно, без желания правды, «которая не нужна нам». Почти так.

Госпожа история шептала чувствительно-упрямыми устами об эволюции народов с их богами, фетишизмом, анимизмом, духами, демонами. Ашшур был Богом ассирийцев, Ягве – племенным Богом Израиля, Мардук – главным Богом

Вавилонии и в Египте (попеременно) – Гор, Пта, Амон, Ра. Деизм, Пантеизм, Деизм... Боги покоренных народов занимали подопечное место в политеистическом пантеоне.

Действительно:

...Умирают умершие.
 Душа опускает планку.
 Колет ноги пришельцам
 Зерно, что растет с пирамид.
 Тот, кто вылеплял нас,
 Идет к зеркалу утром-рано
 И знакомится с Богом,
 Которого вылепил мир.

(Стихотворение Тараса Криштальского)

Вот так... «Поэт не фонтан, а губка»... Ягве был племенным богом, а когда создалось Иудейское государство (объединились племена), то Ягве стал Вседержителем. Трансформация... В Христианстве единственный Бог уже имеет три ипостаси: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух.

Как раз третья ипостась и нуждается в постоянной подпитке духами-алмазами: ЧТОБ ЛОА НЕ ПОГАС. Все другое – дело веры, без которой и зло бывает конструктивным, а добро деструктивным, и вообще – нет равновесия, а значит – жизни, которую вряд ли спасет красота, а вот обман... Только где граница его?

– Это так смешно! – рассказывала Олеся Соколовская. – Села я возле церкви, чтоб отдохнуть, глянула, а на меня крестятся уже...

– Гм...

– То есть, конечно, на Церковь крестятся, но так кажется... Тарас засмеялся, подумав о себе: если человек сядет возле туалета... Обман, обман. Либо себя обманывай, либо других. Метафора, образ. Любопытство. Изучать язык китов, цветов, которые шумят в глазах журавлей, молчание звезд, что ожидают нас, наверно, потому что «вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг».

– «Мы – нити паутины, но не мы плетем ее», – говорил индейский вождь, – Тарас перенес Олесю через ручей.

– Ну, мы или не мы, то еще не известно, – уж слишком загадочно улыбнулась Судьба устами Олеси.

Тарас чувствовал себя на седьмом небе. Он был сам не свой. Еще бы. Ведь возле него теперь вместо ангела-охранника ходил сам Случай, аура которого была сильной, но не гнетущей. Криштальский, обычно, не знал, но чувствовал. Как птичь-марсианский язык, изучал свою душу, особенно интересную во время изломов и всплесков, христианских грехов, которые существовали везде, –

как запад и восток звезды называемой Солнце.

Судьба со Случаем блуждали еще долго, психологически философствуя устами Олеси Соколовской и Тараса Криштальского, которые в конечном итоге договорились, что Криштальский поговорит с режиссером и в его пьесе «Гадание на веках» роль судьбы будет играть она – Соколовская.

Они встречались еще и еще, бывали в салонах и в лесу, пили вино и молоко, но так и не приблизились друг к другу ближе, чем на поцелуй в уголок губ.

Время и Пространство по-отечески заботились о них, понимающе улыбаясь.

Они ходили на репетиции представления. Криштальский завел себе перстень с бриллиантом на мизинчик левой руки, а Олесе подарил бриллиантовые серёжки.

Ссорились с режиссером, указывали, искали средства на костюмы, ведь «вожжичить на веках» не так-то просто, даже волшебникам – когда о них шла речь между людьми.

И имели достойных врагов.

А премьера «Гадание на веках» должна была состояться тринадцатого января 2000 года в конце межвременья, на стыке между старым и новым стилями календаря.

Одиссея... Алмазия... Илиада. Это должно быть, как вертеп, где в масках – боги разных племен и народов, где Смерть, Судьба, Случай, Пространство, Время... где дышит Творец-Ветер, где разговаривают между собой травы, муравьи и звезды. Где все единственное и каждый – Личность, Творец.

Ау!

Ожидайте афиши.

Представление будет бесплатным – по фаустовско-мефистофельским удостоверениям.

Главное – найти душевного спонсора.

Ігор МИХАЙЛИН

ІЗ ЩОДЕННИКА

ПРО МУДРЕЦІВ І БЛАЗНІВ

Давно міряв прочитати роман Романа Іваничука «Мальви» (1968), бо всі інші історичні його твори я читав і високо їх ціную. У романі привабив такий епізод. Головний керівник Порти великий візир Аззем-паша запросив до себе меддаха (у турків: співець, оповідач) Омара для бесіди. Омар не просто співець і оповідач, він відіграє в романі роль мудреця, який розуміє згубність завойовницької політики Порти, веде мандрівне життя, вивчаючи дійсність в різних куточках грандіозної імперії, як-от: у Кафі, у Кримському ханстві. За способом життя й поведінки він дуже близький до нашого мандрівного філософа Сковороди.

І от великий візир, який так само розуміє кризовий стан Османської імперії, надто ж кризу верхів, керівництва нею, виродження імператорської династії, просить Омара: «Говори правду. Бо ж мусить хоч один із владик знати істину. Кожна мить тепер приносить незрозумілі загадки, яких я розгадати не в силі».

З приводу цих слів мені подумалося: і справді, впродовж величезного проміжку історії людства світ був улаштований так, що володарі були настільки відірвані від народу, що не знали правди про його життя. Для репрезентації цієї правди при королівських дворах тримали мудреців і... блазнів. Функція (чи призначення) цих осіб полягала в тому, щоб говорити можновладцям правду (як таку — не лише про життя народу). Ця почесна роль, яку виконували ці дві відчутно різнопланові категорії осіб, відійшла з часом (і зараз належить) журналістиці.

Важко зараз уявити владну особу, яка запросить до себе якого-небудь Омара чи Сковороду й накаже: «Говори правду. Бо ж мусить хоч один з владик знати істину». Для того, щоб знати правду досить увімкнути радіо чи телевізор, розгорнути газету... А це робить сьогодні кожна людина... Хотів пишно-

мовно написати: кожна освічена людина... Але зупинився, бо й неосвічена також. Хоча важко уявити сьогодні якого-небудь можновладця без вищої освіти. Без читання кількох провідних найбільш авторитетних загальнонаціональних газет. Без перегляду щоденних новин. Без слухання аналітичних програм по радіо й телебаченню. Інакше він не зможе виконувати свою управлінську функцію. Без правди, без істини неможливо ухвалювати рішення.

І якщо сьогодні хтось говорить, що такий-то президент недостатньо поінформований у подіях у своїй державі, що його не інформує правильно його оточення, то нормальна людина може лише розсміятися у відповідь. Інакше ми мусимо припустити неймовірну річ: що цей президент не читає газет у своїй державі, не дивиться телебачення і не слухає радіомовлення. А сьогодні — ще й не зазирає в інтернет. Чи ж можна хоча б уві сні уявити такого керівника держави? Звичайно ж, ні. Усі розмови про відповідальність оточення (а не керівника) за неправильну політику й помилкові рішення, про те, що оточення не інформує свого патрона про дійсність — ні що інше, як (вдалі чи невдалі) риторичні фігури, які нормальна розумна людина й буде сприймати як риторичні фігури.

Але є в цих міркувань і зворотний бік. Самій журналістиці варто мати генетичну пам'ять, що вона виконує функції мудреця і... блазня. Вона повинна розважаючи навчати, у невимушеній формі нести мудрість про світ, говорити правду, оголошувати істину. Тільки місія її розширилася: її правда призначена не для «хоча б одного із владик», а для всього народу, населення, нації, світової спільноти, кожної людини, для якої впродовж усієї історії людства завойоване право на правду й істину.

ПРО КОМУНІКАТИВНИЙ ЗМІСТ СВОБОДИ

Я багато читав про основоположну категорію теорії журналістики (і літератури) — яка постає в конкретних виявах, як свобода слова, свобода творчості; набуває характеру політичних свобод, але жодного разу я ні в кого з авторів не читав про комунікативний зміст свободи. І лише Серен К'еркегор недвозначно увів цю тему у філософію. Відповідним чином вона має бути подана й у теорії журналістики. Чому цього не зроблено досі моїми попередниками? На жаль, мушу вкотре поскаржитися на рівень журналістської освіти, яка виховує

верхогляда, який знає про все потроху. С. К'єркегор у це «все потроху» ніколи, очевидно, не потрапляв.

А що ж він написав про свободу?

«Свобода завжди є *communicerende*», — запевнив він. Це латинське слово, яке він використав, означає: «те, що повідомляється». У західній традиції цим терміном позначається також прийняття Святих Дарів під час причастя. Очевидно, тому що через них повідомляються кожній людині таїнства Господні. Філософ додав з цього приводу: «Тут не шкідливо навіть мати на увазі й релігійний зміст цього слова» (с. 215). На відміну від свободи, «несвобода стає все більш зачиненою, вона не бажає ніякої комунікації» (с. 215). І далі: «Зачинене — це якраз німотне: мовлення, слово — це те, що звільняє, те, що звільняє від порожньої абстракції зачиненості» (с. 215).

Усі ці ідеї висловлені в книжці «Поняття страху», яка була опублікована ще в 1844 році. Дивовижне прозріння. Справді, демократичні суспільства, які збудовані на засадах свободи, — діалогічні, комунікативні за своєю природою. Й журналістика в них — це мас-медіа, масові посередники, майданчики для спілкування держави й суспільства, громадян і урядових структур, приватних осіб між собою. У тоталітарних, закритих, зачинених наглухо державних структурах немає свободи, немає й мас-медіа, є журналістика, яка інформує громадян, але не надає їм права голосу, особливо в тих випадках, коли вони хочуть державі висловити своє невдоволення її внутрішньою політикою, донести до суспільства свою позицію. Справді, свобода як суспільна категорія неможлива поза комунікацією й не потрібна поза комунікацією. Свобода повсякчас прагне розповідати про себе як про суспільне благо, до користування яким мають бути залучені дедалі ширші верстви громади. Свобода прагне до оприявнення.

Неволя, навпаки, прагне до мовчання. Це інтуїтивно розумів у своїх пророчих візіях Тарас Шевченко, коли його еретик (Іван Гус) промовляв: «Кругом неправда і неволя, / Народ замучений мовчить». Неволя синонімізується з мовчанням. Неволі не потрібна репрезентація, їй потрібна захованість, зачиненість. Вона не хоче й не може повідомляти про себе, бо вона є суспільним злом; і як тільки вона почала б повідомляти про себе, то відразу б викрила свою приховану злочинність, а відтак і свій шлях до загибелі, бо вся історія рабства тільки й доводить одну неспростовну істину — людина як богоподібна істота замислена Богом і прагне бути вільною.

Але цей грандіозний потенціал комунікації — ведення людства по шляху свободи — залишається неосмисленим у теорії журналістики. Я приголомшений тим, що на цю ідею першим наштовхнувся Серен К'єкрегор — філософ з Данії, європейської провінції першої половини XIX століття.

ПРО МОРАЛЬ У ПАМФЛЕТАХ ПОЛЯ-ЛУЇ КУР'Є

Читаючи багато праць з етики я мало не вперше зустрів погляд, який цілком відповідає моїм уявленням і моєму розумінню моралі. Французький публіцист Поль-Луї Кур'є (1772–1825) за все своє життя написав два невеличкі памфлети. Один спрямований проти організованого вірнопідданим дворянством збирання коштів на придбання для спадкоємця французького престолу замка Шамбор (1821), другий проти заборони сільським мешканцям танцювати на майдані свого села у вихідні (1822). До такої заборони вдався префект під тиском місцевого священика, який хотів бути святішим за самого папу Римського. Можна сказати, що решта творів Поля-Луї Кур'є обертається навколо цих двох памфлетів.

Загалом цей чоловік був видатним елліністом свого часу, брав участь у наполеонівському поході на Рим, довго жив після цього в Італії, вивчаючи стародавні грецькі й латинські пам'ятки, йому належить честь віднайдення до того часу не відомого варіанту роману Лонга «Дафніс і Хлоя»; він переклав його французькою мовою і все життя пишався цим. Пройнявшись головними ідеями античної філософії, яка виплекала культ приватної людини, закликала до єдності з природою, втечі від імператорського двору, він у зрілому віці оселився в своєму маєтку в Турені і зайнявся сільськогосподарською працею.

Тут усе й розпочалося. Виявилось, що у французькій глибинці не працюють закони, панує сваволя префектів, дворяни пригнічують селян. В останні п'ять років свого життя Кур'є перетворився на публіциста. Його ж перша книжка «Немудра промова Поля-Луї, виноградаря з Ла Шавоньер» викликала бурхливу реакцію офіційної й вірнопідданської Франції. Автора заарештували потягли в суд. У памфлеті «Процес Поля-Луї» він виклав історію свого арешту, слідства й судового розгляду цієї справи. Висловлю припущення: звичайно, і раніше неодноразово різні автори зазнавали переслідувань за свою сміливу й правдиву творчість; але мені здається, що саме Поль-Луї Кур'є перший (хіба що після Данієля Дефо) здогадався й захи-

щати себе за допомогою творчості. У «Процесі» він виклав усі подробиці справи, навів позицію обвинувачення, аргументи захисту.

Захищав його знаменитий французький ліберальний адвокат того часу Сент-Альбен Бєрвіль (1788–1868). У промові, яку Поль-Луї Кур'є навів у своєму памфлеті дослівно, адвокат говорив про те, що законодавство не може спиратися на чийсь особисті погляди, взагалі не може бути приватною справою. Писаний закон може спиратися тільки на громадську мораль, яка має глибоку традицію в людському суспільстві.

«Мораль законодавця — зовсім не мораль окремої людини, секти чи школи, — навів Поль-Луї Кур'є слова адвоката, — це мораль абсолютна, загальна, ровесниця самого суспільства, завжди постійна серед соціальних змін; вона походить від Божества і стоїть вище всіх думок, вона продукт не мислення, але почуття, не міркувань, але повчань, вона одна й та сама і в Парижі, і в Філадельфії. Ця мораль санкціонує прийняті зобов'язання, благословляє шлюбне ліжко, зв'язує священними узами батьків і дітей; це вона таврує обман, брехню, убивство, непристойність. Тільки вона має право називатися суспільною мораллю, бо, заснована на схваленні всіма людьми, вона підтверджується й гарантується громадською совістю» [курсив Кур'є. — І. М.] .

Я готовий підписатися під кожним з цих слів Бєрвіля, старанно переданими Подем-Луї Кур'є. Смысл їх зводиться до того, що мораль абсолютна, вічна, загальнолюдська; немає буржуазної й пролетарської моралі, немає французької чи китайської моралі. Є просто МОРАЛЬ. Якщо автори намагаються чіпляти до неї якісь визначення, то це робиться лише для виправдання аморальності, з метою усунути мораль із суспільного життя і запропонувати певним особам чи політичним силам лазівочку для подолання моралі.

Я здогадався про це, ще працюючи над книжкою «Достоевський і Шевченко» (1994; написана в 1991) і лише зараз знайшов споріднене висловлювання, та й то не в творчості письменника, а його адвоката.

Смерть Поля-Луї Кур'є була влаштована правлячим режимом. Його вбив у лісі пострілом з рушниці колишній слуга, звільнений за неодноразові крадіжки. У вимірах сучасних понянь дуже схоже на замовне вбивство. Як і зараз, так і тоді, слідство не знайшло тих, хто вклав зброю в руки убивці.

Усі ті суспільні порядки й негаразди, проти яких воював

Поль-Луї Кур'є, страшенно схожі на російські реалії часів СРСР: сваволя партійної номенклатури, рабство селян у колгоспах, насильство ідеології над життям, знищення свободи слова. Дивовижно, як виникла ідея видання його творів і дійшла до успішної реалізації в 1957 році. Проте організатори видання запропонували безпрограшний ідеологічний мотив, зарахувавши Кур'є до письменників, у чий твірчості, як сказано в передмові, «склалися ранні форми критичного реалізму». Задля відсунення появи критичного реалізму в 1820-ті роки й був реалізований цей видавничий проект, адже головною ідеєю (метою) цього напрямку, за думкою радянських ідеологів, була критика буржуазного суспільства, обґрунтування необхідності насильницького знищення його, чим нібито й займалися російські більшовики впродовж усієї історії свого існування. Наскільки французька аристократія у висвітленні Кур'є є дзеркалом самих більшовиків, вони не здогадалися.

Биографические справки

ВАСИЛЬЕВА Наталья Юрьевна родилась в 1990 г. Член студии «Зав'язь» при Союзе писателей Украины. Лауреат областного конкурса им. А. С. Масельского на лучшее литературное произведение (2014). Публиковалась в альманахах и журналах, автор сборника рассказов. Член НСПУ (2016).

Живет в г. Харькове.

ДАНИЛЕНКО Марьяна Сергеевна родилась 4 марта 1987 г. в Харькове. Окончила филфак ХНУ им. В. Н. Каразина (2009). Автор поэтических сборников «Моя серебристая рыба чешуя» (2008), «Другими глазами» (2016). Член НСПУ (2016).

Живет в г. Харькове.

ДЕРИЗЕМЛЯ Евгения Михайловна родилась в 1984 г. в семье военнослужащего. Экономист. Писать начала в 2014 г. Финалистка международных литературных конкурсов «Книга 2014», «Осенний полет фантазии 2014», победительница всеукраинского литературного конкурса (3 место) «Возрождение» в номинации «Проза 2016». Публиковалась в альманахах, журналах, сборниках Украины и России.

Живет в г. Кременчуг (Украина).

КРАУШ Борис Павлович родился 29 июля 1943 г. в городе Харькове. Член НСПУ (1996) Прозаик. Автор десяти книг.

Живет в г. Харькове

КРИВОРОТОВ Сергей Евгеньевич 1951 г.р. Образование высшее, врач-кардиолог. В 2006 году стал серебряным лауреатом Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Сказка». С 2011 г. целиком посвятил себя литературной деятельности. Публиковался в российских периодических изданиях, журналах, альманахах, а также за рубежом: в Беларуси, Казахстане, Молдове, Германии, Чешской Республике, Австралии, Канаде, США, Финляндии, Новой Зеландии.

Живет в г. Астрахани.

ЛЫСАК Александр Павлович родился в 1983 г. Офицер Национальной гвардии Украины, член НСПУ (2016). Победитель конкурса «Международная славянская поэтическая премия» (2016), автор сборников лирики «Творю свой день» и «Синдром фантомной боли».

Живет в п. Слобожанское (Харьковская обл.).

МИХАЙЛИН Игорь Леонидович родился в 1953 г. в Харькове. Окончил Харьковский государственный университет им.М.Горького (1976), в котором работает, пройдя путь от преподавателя до профессора. Автор 345 научных и научно-популярных работ, учебников по журналистике. Член Национального союза писателей Украины. Почетный гражданин г. Мерёфы (Харьковский р-н, с 1997).

Живет в г. Мерёфа (Харьковская обл.).

ПАВЛЮК Игорь Зиновьевич родился 01.01.1967 г. на Волыни. Писатель, ученый, доктор наук по социальным коммуникациям. Ныне старший научный сотрудник Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины в г. Киеве и профессор кафедры украинской прессы Львовского национального университета имени Ивана Франко. Член редколлегий литературно-художественных и общественно-политических журналов «Золота пектораль», «Дзвін», «Українська літературна газета». Председатель жюри Литературно-художественной премии им. Пантелеймона Кулиша.

Стихи переведены на многие языки. Пять книг лирики вышли в переводе: США (2010), Россия (2012), Польша (2013), Англия (2014), Франция (2015). Автор более 2000 публикаций в периодике, 35 разножанровых книг.

Лауреат Народной Шевченковской премии, всеукраинских литературных премий им. Василя Симоненко, им. Бориса Нечерди, им. Маркияна Шашкевича, им. Григория Сковороды, международной литературной премии им. Н. Гоголя «Триумф», лауреат премии английского ПЕН-клуба.

Живет в гг. Киев, Львов.

ПЕРЕВОЗНИК Анастасия Юрьевна родилась в 1992 г. в Харькове, учится на филологическом факультете ХНПУ им Г.С. Сковороды. Выпускница литературной студии «Зав'язь». Автор сборников: «На живу нитку» (2011), «Дорога одна» (2013). Член НПСУ (2016).

Живет в г. Харькове.

ПОДЛЕСНАЯ Ольга Викторовна родилась в 1960 г. в Харькове. По образованию архитектор, преподаватель Харьковской академии дизайна и искусств. Член Клуба Песенной поэзии им. Ю. Визбора, литературного объединения «Третий цех». Автор трех сборников стихов на русском и украинском языках. Член НСПУ (2016).

Живет в г. Харькове.

РУМЯНЦЕВ Валерий (литературный псевдоним Зорькина Бориса Ивановича) родился в 1951 г. в Оренбургской обл. Учился в Куйбышевском авиационном институте, а также на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета. Окончил филологический факультет Воронежского

государственного педагогического института. Работал учителем, завучем в Чечено-Ингушской АССР. После окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности, откуда уволился в звании полковника. Сфера литературных интересов – лирические и юмористические стихи, басни, литературные пародии, лаконизмы, сказки, статьи; реалистические, сатирические и фантастические рассказы. Печатался в 170 изданиях РФ и за рубежом, в т.ч. в 54 литературных журналах и альманахах, автор десяти книг. Живет в г. Сочи.

РЫНКЕВИЧ (Слободяник) Светлана Юрьевна родилась 05.02.1989 г. (г. Бобринец, Кировоградской области). Окончила Харьковскую национальную академию городского хозяйства (2011). Работает инженером-проектировщиком в энергетической отрасли. Лауреат VIII областного конкурса им. А. С. Масельского в номинации «Поэзия» (II место). Лауреат Областной литературной премии имени Тани Шамрай (2014). Автор поэтической книги «Навзаєм» (2015). Дипломантка Международной Славянской поэтической премии (2016). Член НСПУ (2016). Живет в г. Харькове.

ТИМЧЕНКО Виктор Петрович родился в с. Мануїлівка в Харьковской области (1930). Окончил Харьковскую школу слепых им. Короленко. Директор издательства «Шаг». Почетный гражданин г. Дергачи и Дергачевского р-на Харьковской обл. Автор 16 поэтических сборников. Лауреат двух литературных премий: им. В. Мисика, им. К. Гордиенко. Член НСПУ с 1959 г. Живёт в г. Дергачи (Харьковская обл.).

ШЕВЦОВА Анастасия Сергеевна родилась в Харькове. Высшее образование по трём специальностям: физиология, английская филология, медиа-коммуникации, сейчас работает в сфере IT. Поэт, выпускница литературной студии «Зав'язь». Участница литературных семинаров и фестивалей 2014-16 гг. Участник Восточного съезда молодых писателей (5-6 октября 2016 г., Харьков). Член НСПУ с 2016 г. Автор поэтического сборника «Небесный рок-н-ролл» (2015). Живет в г. Харькове.

ЯКОВЛЕВ Сергей родился в 1986 г. в г. Краснодар (Россия). Получил экономическое образование в Москве. Работал экономистом, преподавателем истории и обществознания, переводчиком с английского языка. Рассказы пишет с 2013 г. Живет в г. Краснодар.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Леонид Мачулин. «Действие должно быть бесплатным...»	3
--	---

ПОЭЗИЯ

Ася ШЕВЦОВА. «Сердце — не просто мышца...»	5
Анастасія ПЕРЕВОЗНИК. «Моя любов викидається на берег...»	16
Олександр ЛИСАК. «Готівкою дзвенить війна в кишені...»	24
Мар'яна ДАНИЛЕНКО. «Важко бути важливим для когось, отак, назавжди...»	38
Світлана РИНКЕВИЧ. «Червивий червня у черешень сум...»	47
Ольга ПІДЛІСНА. «І від Лесі до Ліни вдихаю жіночність твою...»	70

ПРОЗА

Віктор ТИМЧЕНКО. Великдень	13
Валерий РУМЯНЦЕВ. Большое искусство	30
Сергей КРИВОРОТОВ. Чёрные полуботинки	42
Сергей ЯКОВЛЕВ. Искренность	50
Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ.	
Раз на Масленицу	76
Поцелуй мавки	92
Наталья ВАСИЛЬЕВА. Кровать с шишечками	106
Игорь ПАВЛЮК. Выращивание алмазов	118

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ігор МИХАЙЛИН. Із щоденника	210
-----------------------------	-----

АВТОРЫ ЖУРНАЛА	216
----------------	-----

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№32

Гл. редактор Л.И. Мачулин
Редактор отдела поэзии Р.А. Катаева

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 30.03.2017. Формат 70x108 1/16.
Бумага офсет. Печать офсет. Гарнитура PragmaticaCond СТТ.
Уч.-изд. л. 14,70. Изд. №4. Зак. №__. Тир. 300 экз.

Учредитель: ООО «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
е-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: сер. ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331